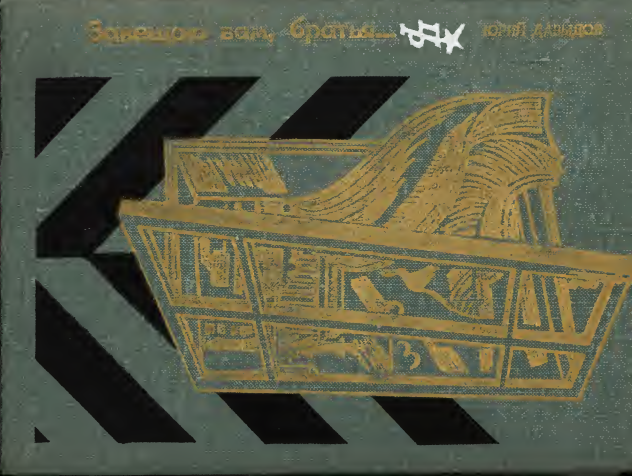

Завещаю вам, братья…
Юрий Давыдов





ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1977



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ПР

Юрий Давыдов

ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ...

ПОВЕСТЬ
ОБ АЛЕКСАНДРЕ МИХАЙЛОВЕ

Второе издание

Р2
Д13

Юрий Давыдов известен читателю как автор исторических романов и повестей.

История давно и серьезно интересует писателя. С первых своих шагов в творчестве он следует неизменному правилу опоры на документальную основу. Его литературной работе всегда предшествуют архивные разыскания.

В центре повести «Завещаю вам, братья...» — народоволец Александр Михайлов. Выдающийся организатор, мастер конспирации, страж подполья — таким знала Михайлова революционная Россия.

Повествование ведется от лица двух его современников — Анны Ардашевой, рядовой деятельницы освободительного движения, и Зотова, ныне забытого литератора, хранителя секретных портфелей «Народной воли».

И новизна материалов, и само построение сюжета позволили автору создать увлекательную книгу.

Д $\frac{10604-149}{079(02)-77}$ 294—77

Спору нет, на восьмом десятке не мешкают. И все же я бы не решился приступить к этой истории, если б главные герои были еще живы. Увы... Последней, и совсем недавно, скончалась Анна Илларионна. Да, очень я с ней дружен был, хоть и громадная дистанция в годах.

Я потому и пригласил вас, друзья мои, что и впрямь откладывать нельзя: на ладан дышу. Да и то сказать: люди вы молодые, что там потерять два-три вечера? К тому же на дворе тускло и мокро и ветер со взморья холодный...

Сознаю, рассказ выйдет рассказом постороннего — я не принадлежал к тайному обществу. Однако судьбе было угодно, чтобы я оказывался на скрещении разнородных жизненных линий.

Не люблю предисловий, но — минуту терпения.

Во-первых, позвольте без кокетства — ужасно смешного в людях моего возраста — объявить вот что. На своем веку я извел бочку чернил и даже знавал успех, но никогда не выступал из задних рядов пишущей братии. Я это к тому, чтоб вы не рассчитывали на блеск и глубину, а уж за достоверность,

за искренность ручаюсь. Во-вторых, наперед извините частое выскакивание моего «я»: это неизбежное неудобство. Впрочем, где можно, стушуюсь. И в-третьих... Понимаете ли, журнального поденщика жизнь сводит с людьми разных слоев. Я к тому и коренной петербуржец, знавал многих. Так вот, в-третьих-то, я по ходу дела отмечу, как мне сделалось известным то или иное, однако не взыщите, не все открою — годы минули, а нельзя-с, рано.

У беллетристов есть манера с порога подцепить читателя какой-нибудь тайной, но тут власть воспоминаний, и бог с нею, с беллетристикой...

Ясности ради придется взять некоторый «разбег».

Видите ли, больше полувека тому, в сорок первом, кончив курс лицея, я определился в канцелярию военного министерства и надел сюртук с красным воротом и светлыми пуговицами.

Среди моих сослуживцев были двое, особенно мне близкие. Салтыков, тоже лицеист, но младшего курса... Да-да, будущий Щедрин, он самый... А еще — Илларион Алексеич Ардашев. Добрейшая душа, немного, правда, сумрачная. Мы быстро сошлись: оба пламенели страстью к театру.

В канцелярию я хаживал вяло. Купил на аукционе вот этот письменный стол да и принялся строчить: на первых порах сделался драматургическим писателем. Мне скоро дали понять, что я негож военному министерству. Спасибо Маслову, однокашнику Пушкина: Маслов меня, как лицейского, пригрел в департаменте разных сборов. И совершенно не обременял занятиями. Так что времени достало и для домашних писаний, и для театра, где мы попрежнему встречались с Ардашевым.

Бывал я и у него дома, в Эртелевом переулке. В особенности зачастил, когда Илларион Алексеич

овдовел. У него были дети: сын Платоша и дочь Аннушка. Платон, красавец собой, с младых ногтей поклонялся Марсу. Что ж до Аннушки, до Анны Илларионны, то о ней еще много впереди, а здесь прошу заметить: я знал ее совсем еще крошкой, когда ее в Летний водили, к дедушке Крылову. Ну, а к моменту, от которого поведу рассказ, она, бедняжка, уже успела побывать в тюрьме. По нашему-то размаху и недолго, месяца три, да ведь совсем барышней, двадцати двух от роду.

Невдолге перед тем друг мой Илларион Алексеич умер. Простыл на Сретенье и быстро убрался, а я с этого времени стал его детям factotum *.

Я многое опущу и многого не трону, а напрямик перейду к одному ноябрьскому дню семьдесят шестого года. Именно в тот день главнокомандующий уезжал из Петербурга в армию. Мне случилось быть на Невском. Толпа кричала «ура». Великий князь мчал в открытой коляске. Он был красив, Николай Николаич Старший...

Последняя наша война, вы помните, конечно, загорелась из-за болгар, измученных Турцией. Ну и эта наша золотая мечта: Босфор с Дарданеллами, Царьград. Брань старинная, еще не однажды ребром встанет.

Я тогда уж года три как сотрудничал у Краевского в «Голосе»: секретарь редакции Владимир Рафаилыч Зотов, вот так-то. «Голос» о ту пору звучал чисто. Мы хотели мирного решения; славянофилы клеймили нас едва ли не изменниками.

Возьмем, впрочем, ближе к тем, о которых поведу рассказ. Тут узел: война и нигилизм... Нет, лучше

* Доверенное лицо (*лат.*).

так: война и революционеры. А то ведь каждый на свой салтык это самое слово «нигилизм».

Да, вопрос нешуточный, доложу вам, господа! Война и революционеры — нешуточный вопрос. После-то громом террора заглушило и вроде бы никакой связи. А если вдуматься, то и приметишь: война, друзья мои, она и затихнув много еще годов продолжается. Так сказать, в поступках, в мыслях продолжается.

Я молодым был, когда Севастополь грянул. Герцен с Бакуниным желали поражения. Да, желали, а душа-то? Душа мучилась нашими поражениями. Вот так-то и во время русско-турецкой войны.

Вы когда-нибудь думали о капитальной складке русского революционера? Знаете ли, была она, эта рельефная черта нравственного облика — со-стра-дание... Жгучее и непреходящее сострадание. И не мечтательное, а деятельное, вот в чем суть. Высокое, скорбное чувство, какое-то женственное, как в русских сказках. Здесь, по-моему, исток, ключ ко всему, что происходило в семидесятых-восьмидесятых...

Итак, главнокомандующий, провожаемый кликами «ура», промчался по Невскому. Толпа разрежилась. Я решил заглянуть в Эртелев, к моей Аннушке. Знаете ли этот дом, где некогда живал Глинка? Вот туда, но только во флигель, через двор.

Пришел, застал дома.

Есть у меня фотографический портрет Аннушки. Странное и роковое происшествие связано с тем фотографом, который этот портрет сделал... Есть, говорю, фотография, а показывать не стану: главное, характерное не схвачено. О, не была она дурнушкой, что вы! Однако и не красавица. Вся прелесть — в глазах. Словно бы однажды и навсегда завладела ею трудная, очень важная, очень серьезная дума.

И напряженная морщинка, тоненькая, вертикальная морщинка вот здесь, над переносьем.

Ну хорошо, пришел.

Анна-то Илларионна, оказывается, и сама только что с Невского. Заметно было, что очень взволнована. Мы еще толком не разговорились, как является молодой человек.

Забыл, как он назвался. В разные времена были разные имена: закон конспирации. Но чтоб уж вас не путать, я сразу и навсегда: Александр Дмитрич Михайлов. Так и запомните: Михайлов, Александр Дмитрич.

Лицо приятное, свежее, с румянцем. Молодой, но степенный. Скромное достоинство и степенность... Анна Илларионна жестом пригласила его не дичиться: дескать, Зотов свой.

Он кивнул и тотчас ей вопрос, как пику: «Ну что ж? Война вот-вот, и вы, значит, решились?!» Анна Илларионна вспыхнула: «Всегда это вы сплеча рубите...»

Этот Михайлов и не улыбнулся, и не сбавил тон.

«Ладно,— говорит,— пусть так. Но вы давеча согласились: царь затевает войну ради идеи, в которую не только не верит, но которая ему чужда. Романовы и свобода... Пусть и болгарская свобода, но Романовы и свобода — разве совместно? Нам за одну мечту о свободе — решетка. А там, за горами, за долами, там болгарам свободу учредят?»

Она ответила: «Как не помочь страждущему солдату?!» Михайлов возразил: «Сестрами милосердия и барыни не прочь, а в деревню, к мужику...» Анна Илларионна быстро, резко скрестила на груди руки: «Война ужасна! Но без нее мы обречены на рутину, застой!» Михайлов глядел исподлобья. Он сказал: «Есть пословица: побежденным — горе. Врет! Побе-

дителям — горе. Победа — вот где застой. Все эти лавры лишь новые цепи».

Я не ввязывался, но душой был на стороне Анушки. Не очень-то он мне приглянулся, этот молодой человек. Я унес впечатление, что он весьма холодный доктринер...

А теперь прошу вас. Вот тетрадь. Тетрадь Анны Илларионны Ардашевой. Прошу читать в очередь и внятно.

Еще два слова. Не удивляйтесь откровенности записей. Они сделаны недавно. Стало быть, друзьям ее уже не грозили кары земные. Не удивляйтесь и тому, что она постоянно возвращается мыслью к Александру Дмитричу: тут отношение особое, сами поймете.

Вот, пожалуй, и все. Читайте. А когда прочтете — продолжу.

Глава первая

1

Занятия в общине св. Георгия кончились, и я, в числе других, получила право на крахмальную косынку сестры милосердия. Хотелось уехать, уехать поскорее.

Пасха в 1877 году выдалась холодная, но последний день Святой был солнечным, с капелью. На станцию Николаевской дороги сестры явились в форменных серых пальто с капюшонами, а начальница наша — в белом апостольнике, как игуменья. Публики собралось немало. Пришли родственники, студенты, офицеры. Нам натащили корзины с лакомствами. Настроение было серьезное, у многих в глазах стояли слезы.

Александра Дмитриевича я не ждала. Мы были недовольны друг другом. Он тянул в деревню, в народ, а я говорила о страждущих солдатах и страждущих братьях-болгарах. Он утверждал, что рабы не могут освободить рабов, что прежде, чем эмансипировать других, следует эмансипировать самих себя, а мне все это казалось ледяной логикой.

Однажды я бросила ему:

— А может, вы попросту трусите армии?

Он взглянул колюче:

— Бывают обстоятельства, когда требуется мужество для «трусости».— И сухо добавил: — Впрочем, если тешит, считайте, что я праздную труса...— И вдруг ухмыльнулся: — А знаете, побольше бы таких — не было б войн...

Поезд тронулся. Скрылся дебаркадер, скрылся Петербург. Стал слышен лязг цепи, соединяющей вагон с вагоном. Черные тонкие перелески то подступали, то отбегали в сторону. У шлагбаумов мужики держали под уздцы лошадей, испуганно задиравших морды. Шли, как по кругу, тусклые снега.

Всякий раз, пускаясь в путь, совершенно независимо от расположения духа или от времени года, всякий раз в поезде, прильнув к окну, я ощущаю безотчетную печаль. Любопытно б спросить иностранцев, испытывают ли они такое там, у себя, или это уж наше, домашнее, русское?

Были ледоходы и разливы, туманы, солнышко, лужи. А вместе с весною, вместе с ледоходами вломилась вторая — после ноябрьской семьдесят шестого года — мобилизация. Говорили, что на призывных участках не замечалось отчаяния, что люди собирались охотно, что крестьяне на своих розвальнях или телегах безвозмездно везли запасных. Готова верить. Но и другое было — то, что высказал на какой-то станции хмурый мужик: «Никто, как бог, а только много народу попортят!»

В Киев мы приехали в сумерках. Из-за неурядиц, вызванных наплывом людей и военного снаряжения, следующего поезда не оказалось. Мы долго ожидали на перроне, разговаривая с офицерами. Уже стемнело, когда нас разместили в Гранд-отеле; там мы и ночевали в последний раз, как «цивилизованные

люди». Утром объявили, что мы отправимся дальше лишь поздним вечером. Все собрались в Лавру, на Аскольдову могилу и т. п., а я улизнула и пошла куда глаза глядят.

Прошлой осенью, в Питере, тащились мы как-то с Александром Дмитриевичем в Лесное, где имело быть очередное собрание. Дорога на край города и длинная и медленная, вагончик конки потряхивало, лил дождь, и Михайлов, призадумавшись, стал толковать о Киеве, о киевских товарищах, о киевской своей жизни. Редко выдавались подобные минуты, а тут и разговорился.

В Киеве я, пожалуй, и не припоминала подробности его тогдашнего, дорогой в Лесное, рассказа, однако меня не оставляло чувство, будто Александр Дмитриевич каким-то чудом тоже очутился в Киеве, и я его сейчас догоню, окликну. Конечно, я не сомневалась, что Михайлова в Киеве нет, что если он, как собирался, и оставил Питер, то вовсе не ради Киева. Это я все сознавала отчетливо, но, признаюсь, были мгновения, когда он будто бы мне виделся. Я себя с сердцем одергивала, однако опять ловила на ожидании, притом любуясь и каштанами, и садами, и кручами, и уличной жизнью, ранней, но уже бойкой жизнью, в которой так и сквозило какое-то лукавое добродушие.

Бродя по Киеву, я, право, не припоминала его рассказ, а теперь пишу, не боясь ошибок, точно бы вчера слышала.

Он явился в Киев за год с небольшим до того, как я впервые увидела Крещатик. На душе у него было скверно. Его изгнали из Технологического института и выслали из Петербурга за студенческую историю, весьма незначительную; вдобавок он и не участвовал в ней толком, а встрял, повинуясь чувству, всегда

в нем живому и сильному,— чувству товарищества. «Выехать в двадцать четыре часа на казенный счет и никаких-с пререканий!» — услышал Михайлов из уст официально-учтивого голубого мундира и действительно выехал под надзором унтера с медным шишаком на каске, что и означало «на казенный счет».

Иногородних технологов, выключенных из списков, «возвращали на родину». Александр Дмитриевич родился в путивльском захолустье. Путивль, по его определению, походил на «флакон с египетской тьмою». Конечно, хорошо полюбоваться Сеймом или погулять на холме, где некогда плакала Ярославна, но жить — тоска смертная, а после Петербурга все равно что и не жить, а разве только дышать.

Путивльский дом оказался пуст: отец-землемер, как всегда, скитался по деревням, а матушка, сестры и младший брат — тот, что теперь архитектор,— все они зимовали в Киеве. Помыкавшись в своих палестинах, где на него, как на замешанного в «историю», поглядывали искоса, Михайлов взял да и махнул, ни у кого не спрашиваясь, на днепровский берег.

Впоследствии, при обстоятельствах мучительных, я узнала семью Михайловых. Мне не трудно представить, как она приняла возвращение сына, «не оправдавшего надежд». Не поручусь, что Александр Дмитриевич не увидел слез, но уж попреков он не услышал.

Но сердце тяготил камень. На отцовские двести рублей серебром в год, на доходец с хуторка близ Путивля не так-то просто, даже при относительной провинциальной дешевизне, взрастить детей, а тут еще прибавился едок. А главное, едок без определенной будущности.

Все это не могло не удручать Александра Дмитриевича. Заботливый сын и старший брат, он серьезно относился к семейным обязанностям. Знаю, что его всегда точила мысль о невозможности помогать семье.

Он, однако, не напрасно устремился в Киев. Работой радикальной мысли Киев не уступал Петербургу, а в некотором отношении, хотя бы бунтарским темпераментом, даже превосходил. Именно в Киеве Михайлов впервые внимательно пригляделся к тем людям, которые народ «возлюбили паче себя».

Тогдашние социалисты делились на последователей Лаврова и последователей Бакунина, это известно. Михайлов вникал в теории, в практику. «Было на что посмотреть,— говорил он,— было что наблюдать». Своим оживлением, своим брожением (конечно, речь об интеллигенции, радикальной и оппозиционной) Киев поразил Александра Дмитриевича. Но он не примкнул ни к одной из групп: партионное дробление казалось ему важным недостатком; следовало думать о сосредоточении сил. Это сосредоточение всегда занимало его мысли...

Долго я бродила по городу, тепло было и тихо, пахло сыростью, но не затхлой, как в Питере, а свежей, приятной; долго сидела над Днепром, сидела, пригретая вешним солнцем, мечтала и замечталась, а о чем и сама не знаю; чудилось хорошее, светлое, доброе, но что именно, опять-таки не умею выразить.

2

В грязном Кишиневе, набитом войсками, нас поместили в здании гимназии. Мы еще не успели дух перевесть, как стало известно, что здесь ждут государя с наследником.

Мы знали, что приезд Александра II и будущего Александра III знаменует начало войны; мы знали, что на смотру объявят манифест и тотчас войска двинутся навстречу сражениям, то есть навстречу смертям и увечьям. Все это мы знали и понимали, однако настроение царило праздничное. И мы разделяли его — мы, сестры милосердия, студенты-медики, присланные Москвой и Петербургом, уполномоченные Красного Креста, врачи в черных сюртуках, то есть люди, самая профессия которых должна была бы, кажется, отвращать от походов и кампаний. Да, мы тоже нетерпеливо ожидали пронзительных звуков рожков, исполняющих генерал-марш.

И вот войска начали выходить на Скаковое поле. Мы, не парадирующие, а, по-здешнему, по-армейскому, «клеенки», штатские, расположились с таким расчетом, чтобы все получше разглядеть.

День занимался плохо, падал дождь вперемешку со снегом. Люди мокли и переминались; офицеры тревожились, каковы при такой погоде будут «стойка и вид». Время шло, высочайших особ не было. Очевидно, генералы усердия ради вывели полки раньше срока.

Часов уже в десять, точно бы электрический толчок: «Едут! Едут!» Все оборотились в сторону дороги. А там, словно бы и не по дороге, а как бы над нею, стелилась, приближаясь, огромная птица.

Потом мы различили конвойных казаков в алых бешметах, улан и лейб-гусаров. За ними покачивался большой экипаж, запряженный четверкой вороных. Дальше и далеко тянулся хвост карет, составлявших то, что называлось императорской главной квартирой.

Царский экипаж остановился. Государь вышел, к нему подвели каракового коня...

 Ребенком я жила на даче близ Павловска. Импе-

ратор ежедневно ездил из Царского Села в Павловск в сопровождении берейтора и черного сеттера; я даже кличку помню — Милорд. Мальчики и девочки в модных тогда красных рубашках «гарибальдийках» поджидали государя и бежали следом. Бывало, он придерживал лошадь, одаривал нас конфектами или, склонившись, щекотал кончиком хлыста, а мы, замерев, любовались игрою бриллиантов на коротком кнутовище слоновой кости; государь, улыбаясь, сказал нам однажды, что драгоценный хлыст — подарок королевы Виктории...

Конечно, теперь, в Кишиневе, я смотрела на этого человека без тени умиления. Я уже знала, что и его отец забавлялся с детьми или просил военного министра назначить пенсион старому солдату, фонарщику Екатерининского парка. Конечно, я давно поняла, что можно одной рукой нежить детей, а другой утверждать жесточайший приговор. И все-таки и те давние, ребяческие впечатления, и впечатления, вынесенные с театра военных действий, как бы мешали мне отождествить этого ласкового, приятного человека (именно этого человека, а не вообще царя, монарха) с чудовищем, загубившим многих из тех, кто был и остался мне дорог.

Я всегда испытывала неприязнь ко всему казарменному, офицерскому, щегольски-армейскому, как к машинальной, нерассуждающей силе, противостоящей народу. Милитаристское увлечение брата Платона было предметом моих насмешек. Однако в ненастный кишиневский день, будто уже повитый пороховым дымом, я была взволнована и растрогана.

Нет, не голосом преосвященного, возвестившего манифест о войне с Турцией, не хоровым пением «С нами бог, разумейте языци и покоряйтесь...». Нет, не этим, а минутой, когда после диакона, пригла-

шавшего к молитве, после команды: «Батальоны, на колена!» — вся геометрическая, огромная солдатская масса с обнаженными головами начала ряд за рядом клониться, как колосья под ветром, и вот уж весь плац, от края до края, опустился на колени. Высоко и плотно переплеснули батальонные знамена, и тотчас зашелестела над Скаковым полем тысячеустая молитва.

Поэт видел рабскую Россию, она молилась за царя. Я видела мужицкую, солдатскую Россию, она молилась за себя. Не жизнью вообще, как высшим благом, дорожит солдат, калечество мужику страшнее смерти: «Куда я теперь? На паперть? Какой из меня кормилец?!» Молились не за царя, не об одолении супостата, о другом: да свершится воля твоя, или пореши намертво, или помилуй без изъяну.

Трубачи собственного его величества конвоя протрубили «кавалерийский поход», и лейб-казаки с лейб-гусарами, открывая церемониальный марш, проследовали красивым аллюром. Глядя на них, я совершенно не подумала про Карла Федоровича, приятеля брата Платона. Между тем Кох, наверное, был среди конвойных офицеров. Впрочем, я не подумала даже о том, что брат Платон может участвовать в кишиневском смотре. Правда, последнее его письмо я получила из Одессы, но теперь войска Одесского военного округа, кажется, квартировали в окрестностях Кишинева.

Широкая, пестрая, движущаяся панорама захватила меня. И этот мерный топот множества людей со штыками; и офицеры, по-походному, без орденов, берущие саблей «на караул»; и это согласное тяжелое колыхание тускло-медных пушек на ярко-зеленых лафетах; и кавалеристы в своих синих и голу-
 бых мундирах, расшитых желтыми и белыми шну-

рами. А главное, пехота со скатанными шинелями, с ранцами и мешками провизии, в заляпанных грязью сапогах, с лопатами и кирками, торчащими на боку, пехота, вид которой внятно говорил, что здесь, на Скаковом поле, не парадный, церемониальный марш, а нечто глубоко-серьезное и бесповоротное: «Мы свое дело сделаем».

3

Бархатные воротники из Генерального штаба изобразили Балканскую войну, как стратеги. Те, что носили нарукавную повязку с надписью «Корреспондент», изобразили ее, как журналисты. Мои записи просто ворох впечатлений.

Вскоре после высочайшего смотра войска двинулись к границе. Погода переменилась к лучшему. Люди шли бодро, песельники не ленились.

Близ границы песни умолкли. Шлагбаум был поднят, чиновник пограничной стражи в жалком мундирчике стоял смирнехонько, путь был свободен, а люди... люди медлили. Солдаты, как один, без команды нагибались за горстью земли и, увязав мокрый комок в тряпицу, прятали за пазухой, снимали шапки и крестились.

Боже, сколько мы наслышались и в Петербурге и в Кишиневе о том, что «все предусмотрено» и «все подготовлено». До берегов Дуная предполагался форсированный марш при полном комфорте: продовольственные склады, ломящиеся от припасов; бесперебойная замена павших лошадей; повсеместно исправные мосты; приемные пункты для отставших и заболевших; готовые к услугам почтовые учреждения с телеграфными аппаратами... Короче, нас уверяли, что «все предусмотрено», «все готово» к стройному

шествию вослед белому полотнищу с восьмиконечным голубым крестом — стягу нашего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Старшего.

Добро бы на все это поддались мы, штатские, так нет, и офицеры. Старые и опытные, которые помнили Севастополь или видели Туркестан, хмурились, но либо помалкивали, либо рассказывали молодым о захватывающих ощущениях, которые испытываешь в бою.

Похмелье настигло скоро.

В продовольственных складах хлеб был плесневелый, затхлый, с зеленью; из каравая вырежешь ломоть, и только; вино было разбавлено до такой степени, что уж лучше было бы пить чистую воду; мосты и гати снес или разворотил паводок; квартирьеры куда-то исчезали, никто не знал, где и как размещаться; солдатам, выбившимся из сил, недоставало подвод; обозы вязли в грязи по ступицы. Прибавьте желудочные болезни, прибавьте простуды вследствие переходов через реки вброд или вплавь на лошадях...

А как обстояло дело медицинское, милосердное? Совсем иначе, нежели в прекрасно переплетенных отчетах, всеподданнейше посвященных государыне императрице. Просто диву даешься, перелистывая меловую бумагу этих отчетов, эти таблицы, чертежи, выкладки: вот уж поистине бумага все терпит!

О, Россия! «Входящие», «исходящие», паникадила, наполненные чернилами. Один лишь наш дивизионный лазарет за один лишь семьдесят седьмой год изготовил 12 тысяч «исходящих». Врачи, изнуренные ампутациями и зондированиями, изнывавшие от холода или зноя, обречены были еще и каторге делопроизводства.

Помню, наш хирург на позициях около Плевны в лютую стужу получил очередную порцию запросов из Военно-медицинского управления, вольготно расположенного далеко в тылу. Сжав зубы, он нацарапал огрызком карандаша: «Непременно отвечу после того, как мы оттаем — я и мой пузырек с чернилами».

Незадолго до войны какие-то изобретательные головушки сбыли армии новые госпитальные линейки. Они приятно поражали обилием металлической снасти — винтов, гаек, цепей и цепочек. Свежекрашеные, расположенные в ряд, с грозно задранными толстыми оглоблями, ковчеги производили внушительное впечатление. Правда, шутники предлагали заранее столковаться с турецкими генералами, дабы те позволили нашей армии двигаться только по шоссейным дорогам, а то, мол, не ровен час, и эти «крейсеры» рассыплются на проселках.

И точно, госпитальные фуры, огромные рыдваны, уже на первых верстах стали терять металлическую снасть и ломаться.

Дальше — хуже. Каждой линейке полагалась четверка лошадей, и лошадей нагнали больше комплекта. Но каких? Разнесчастных одров, бельмистых, а то и вовсе слепых. Как же таким было превозмочь жирную, вязкую, разлившуюся до горизонта весеннюю распутицу? Где им было взять балканские крутизны? Где им было волочить «крейсер», даже и с выносной парой?

Подстать лазаретным лошадям лазаретная прислуга из стариков-запасных. Фельдфебели пытались учить их «по-своему», а в ответ на заступничество сестер милосердия сокрушенно вздыхали:

— Эх, да я об них все руки обколотил! С этаким народом никакого маневра!

Должна сказать, что оно вроде бы и впрямь «никакого маневра». При всем нашем терпении и снисходительности мы, сестры милосердия, нередко приходили в отчаяние от их драк, пьянства, краж, грубого, даже жестокого обращения с ранеными («А тут, барышня, война, — твердили они с каменным упорством, — тут растабарывать неколи, не у тещи...»).

От самых низших перейду к самым высшим.

Некоторое время, накануне форсирования Дуная, госпиталь наш располагался рядом с главной квартирой, то есть обок с центром всего громадного и сложного военного предприятия.

В главной квартире задавались роскошные обеды и ужины. Полковая музыка гремела увертюру из «Карла Смелого», пели солдаты-песельники или румынские цыгане. В глазах рябило от множества «фазанов» — так армейские офицеры окрестили пестромундирную челядь великого князя Николая Николаевича.

И все ж в первый период войны не мне одной, а многим, если не всем, главная квартира казалась действительно распорядительным центром, где все знают и обо всем ведают, где наперед и умно все рассчитывают и прикидывают. Ведь чем же иным могли быть заняты эти генералы в лакированных ботфортах и с нагайками через плечо?

Разочарование, горькое и злое, ждало впереди, там, на Балканах, но об этом я, хоть и бегло, еще напишу, а теперь вот что, по-моему, достойно печального внимания. Я про загадку, для меня не разрешимую.

Генералов, лишенных военного дарования, водилось не меньше, чем «фазанов». Оставляю и тех и
 других в стороне, как предмет бесспорно неинтерес-

ный, очевидный и обыденный. Но были и такие генералы, которые достойно выказали себя во все месяцы кампании.

Имя Тотлебена прославилось еще на севастопольских редутах; его появление на плевненских позициях было встречено общим ликованием; авторитет его стоял высоко, неколебимо; ему верили, на него надеялись все солдаты, независимо от рода оружия.

Гурко иные попрекали за чрезмерную растрату людей. Если это и верно, то нужно прибавить — он и себя ни на волос не щадил. Солдаты любили «Гуркина-енерала».

Ганецкий, командир гренадерского корпуса, был спокойный храбрец. Ему сдался Осман-паша, самый талантливый из турецких полководцев. Ганецкий тоже пользовался душевным расположением, особенно нижних чинов.

Наконец, Дрентельн. Командуя тыловыми войсками, он, кажется, в боях не был, но положил уйму сил на обеспечение действующего войска. И хотя обеспечение шло из рук вон, люди, заслуживающие доверия, никогда не винили лично Дрентельна. Напротив, отмечали его разительное несходство с тыловыми наживалами и жуирами. Он был спартанец и пробавлялся солдатской кашей.

Любопытный штрих. Любопытный как раз потому, что речь о Дрентельне... И в Румынии, а потом и в Турции среди военных потихоньку-полегоньку распространялись нелегальные издания (я еще об этом напишу). Дрентельну доложили однажды о «возмутительных проявлениях», и он, будущий глава политического сыска и политических преследований, отвечал: «Пустяки, не стоит внимания». А между тем было известно, что сам государь требовал пресечь «возмутительные проявления»...

Война кончилась победой. Однако победу — это не секрет — купили потоками крови, горами пушечного мяса. Офицеры, хоть малость способные размышлять, уже там, на Балканах, полагали, что война обнаружила гнилость нашего домашнего устройства. Офицеры высказывались весьма откровенно. Однако не злорадно, а с горечью. Уверена, генералы, названные выше, думали так же и то же, что и обыкновенные офицеры. А может, и отчетливее.

Вернувшись с поля боя, эти генералы заняли опять-таки посты важные, не только военные, но и государственные. Какая сила подвигла их удерживать и поддерживать именно гнилость домашнего устройства, а вернее, неустройства? И Тотлебена, назначенного новороссийским генерал-губернатором, явившего самую черную жестокость. И «Гуркинаенерала», бывшего одно время петербургским генерал-губернатором, а потом неистовым палачом Польши. И Дрентельна, принявшего Третье отделение, обратившегося в обер-шпиона. И храбреца Ганецкого, который на войне брал вражеские крепости, а потом морил узников Петропавловской крепости.

Было бы наивным ожидать от них перехода «в стан погибающих за великое дело любви». Но ведь и они сознавали (исключая, может быть, «крепостника» Ганецкого, которого годы спустя я встретила у собора со шпилем и архангелом), не могли не сознавать необходимость хотя бы гомеопатического лечения наших внутренних болезней.

Допускаю неверие в успех врачевания. Пусть так. Но почему хотя бы не отошли в сторону? Вряд ли прельщались новыми лаврами — хватало боевых. Тогда, может, не достало мужества отказаться от постов, предложенных с высоты трона?

 Понимаю, мужество на редутах не тождественно

мужеству во дворцовой зале; первое встречается значительно чаще второго. Опять-таки «но»: они прекрасно знали, что следствием отказа не будет ни Нерчинск, ни каземат, ибо был пример сравнительно недавний: генерал Обручев отказался участвовать в подавлении Польши; он не хотел обагрять свои руки в братоубийственной войне. И что же? Обручев остался в прежнем чине и остался в Петербурге.

Помню, пыталась занять своим недоумением Александра Дмитриевича. Насмешливо округлив глаза, Михайлов ответил:

— Эти ваши превосходительства не способны подняться выше точки зрения заурядного пристава. Впрочем, все приставы заурядны...

Нет, увольте, это не ответ, не разгадка. А где они, в чем — не знаю.

4

О, как я была уверена в своей сноровке и как я позорно потерялась...

Да, была уверена: ведь практическому исполнению обязанностей сестры милосердия я обучалась под зорким наблюдением деликатного и вместе неукоснительно строгого автора «Военной гигиены» доктора медицины Кедрина. (Кстати сказать, Дмитрий Васильевич, кажется, находился в родстве или свойстве с присяжным поверенным Кедриным, о котором я еще буду говорить, если закончу свои записки.)

Николаевский госпиталь на Слоновой улице, в ту пору окраинной, я не выбирала. Могли направить и в Морской госпиталь, и в Александровскую или Обуховскую больницы, а вот направили в Николаевский. Это случайное обстоятельство позволило мне

сыграть небольшую роль в предприятии, которое наделало шуму летом семьдесят шестого года.

Дело в том, что напротив госпиталя, через улицу, за высоким забором пряталось узкое зданьице тюремной больницы для военных арестантов, заболевших во время следствия. В эту больницу и перевели из Петропавловской крепости известного и у нас и за границей князя П. А. Кропоткина.

Александр Дмитриевич, Марк Натансон и другие народники (в ходу еще не было «землеволец») решили устроить ему побег, спасти от каземата, куда Кропоткина непременно вернули бы после больницы.

В подготовке к побегу участвовали многие. Мне поручили «режим ворот»: я должна была определить, когда, в какие часы и по какой причине отворяются больничные ворота, ведущие на довольно широкий двор.

Палата Николаевского госпиталя, находившаяся на моем попечении в дни визитаций доктора Кедрина, выходила окнами на эти самые ворота, да и весь двор был оттуда как на ладони. Наблюдательный пункт оказался и удобным и безопасным.

Из окон я нередко видела П. А. Кропоткина. Обряженный в долгополый халат зеленой фланели, он медленно прогуливался по двору.

Я не была посвящена в общий план, не знала и назначенного срока, зато оказалась очевидцем побега.

В последний день июня или в первый июльский я, как обычно, закончила в четыре часа и вышла из госпиталя. Машинально отметила, что ворота тюремной больницы распахнуты; с удивлением уловила бравурные звуки скрипки, доносившиеся из какого-то невзрачного домика; приметила и щегольские

 дрожки с неподвижным кучером и небрежно разва-

лившимся господином в военной фуражке. В ту же минуту в глазах у меня ярко, почти ослепительно, вспыхнуло.

Никакой вспышки, конечно, не было, мне померещилось, но померещилось не беспричинно: наискось к воротам бежал Кропоткин, а за ним, почти настигая, мчался караульный с ружьем наперевес.

Когда и как беглец очутился в дрожках, я словно бы и не видела, хотя, несомненно, видела. Вороной рванулся, все исчезло... А вокруг уже толпились зеваки. Все без толку гомонили. Мое лицо, наверное, выдало бы меня, вздумай кто-нибудь обратить на меня внимание. Я пошла к вагону конки. К кондукторам подскочил бледный караульный офицер: «Выпрягай! Выпрягай!» Но кондукторы отказались дать ему лошадей...

Так вот, в питерском госпитале я усердно практиковала, но, когда на берегу Дуная, в Зимнице, у первого моего, так сказать, настоящего раненого внезапно открылось кровотечение, я позорно потерялась и бросилась, как дуреха, будить доктора. А доктором был у нас тогда Орест Эдуардович Веймар, тот самый господин в военной фуражке, который увез кн. Кропоткина на своей молниеносной пролетке.

Орест Эдуардович принадлежал к тем, о ком обычно не без зависти говорят: «Все при нем». Он был молод, собою хорош, богат. Не достигнув и тридцати, Веймар пользовался врачебной известностью, уважением коллег и серьезной практикой. Блестящий и остроумный, он дружил с литераторами. Наш кумир Глеб Иванович Успенский был ему близким приятелем. Жил Веймар нараспашку, весело, а бывало, отличался и совершенно мушкетерскими похождениями.

Короче, он слыл «славным малым». Но все дело-то в том, что Орест Эдуардович щедро тратил свою душу и свои средства не у Донона или Бореля. Достаточная иллюстрация — побег Кропоткина; впоследствии у Веймара скрывалась Верочка Засулич.

На театре военных действий Орест Эдуардович, не в пример многим знаменитостям, не отсиживался в главной квартире, а работал в самых опасных местах, на перевязочных пунктах. За переход Балкан зимою семьдесят седьмого года его наградили орденом, а потом он удостоился и высочайшего подарка — портрета императрицы, украшенного бриллиантами. Но все это не спасло, однако, Ореста Эдуардовича от жандармского возмездия — несколько лет назад Веймар погиб в Восточной Сибири...

В ту ночь, когда матросу Лопатину сделалось худо, а я потеряла голову, на выручку явился Орест Эдуардович. Вид у него был свежий, словно бы минуту назад он не покоился глубоким сном, а готовился к очередной визитации. Быстро и как бы даже мельком освидетельствовал раненого, быстро, изящно, словно играючи, наложил эсмарховский бинт. Переконфуженная и восхищенная, я проводила его. В дверях он блеснул улыбкой и пропел вполголоса: «Мадам, я вам сказать обязан, я не герой, я не герой...»

Дата форсирования Дуная хранилась в секрете, но военные секреты, даже и не сообразишь как, «выпархивают». Мы, конечно, понимали, что нам предстоит, однако до времени жили с бивачной беспечностью.

Но вот вечером тринадцатого июня после пробития зори все затихло будто бы по-иному, не так, как вчера или третьего дня. А в полночь словно бы сползла с места темная, мохнатая, чудовищная соро-

коножка: полки двинулись безмолвно, кавалерия мягко пришлепывала по толстой пыли.

Донеслась пальба. Значит, турки заметили наших. Пальба нарастала. Меня окатило дрожью. Где-то мрачно прошумело, потом резко треснуло — разорвалась граната. Мы поспешно разошлись по госпитальным помещениям. Признаюсь, я приняла двойную дозу нервных капель.

Говорили, что форсирование обошлось без больших жертв. Может, и так, но меня поразил наплыв увечных: везут и везут, несут и несут. Совсем немного времени минет, я увижу тысячи несчастных, распростертых на голой земле, услышу стон, зубовный скрежет: «Сестри-и-ица...», увижу и услышу, но уже, слава богу, не испытаю того чувства, какое испытала в то утро.

Искромсанное, очень белое, неприятно белое человеческое тело, обожженная кожа, кровь с ее сырым, острым запахом — они будто багром вытягивали со дна души отвращение, какую-то безотчетную самозащиту, желание отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши. Правда, это отвратительное чувство было быстро побеждено суровой необходимостью немедленно исполнять свои обязанности.

Есть короткое слово: «надо». У нас оно обладает могуществом. Надо перейти балканские пропасти — перешли; надо замерзать на Шипке — замерзали; надо одолевать турку «заикающимися» ружьями и неразрывающимися снарядами — одолевали; надо терпеть голод — терпели...

Власть этого русского «надо» постоянно ощущалась во всем, что делал Александр Дмитриевич. В московском предместье поздней осенью семьдесят девятого года копали галерею, чтобы заложить под рельсами железной дороги мину и взорвать царский

поезд. Михайлов работал в галерее. Позже он говорил: «Слыхали россказни о заживо погребенных? В подкопе я восчувствовал, чтó оно такое. Склизкая глиняная толща, и черви, и вода каплет, и эта физическая тяжесть. Все так и плющит: грудь, череп, руки и ноги. Но я сам себе твердил: раз надо, значит, надо».

В солдатском «надо» есть покорность; «надо» Михайлова заряжалось силой убеждения, как лейденская банка электричеством. Но при всем различии этих «надо» есть и коренное — дедовское, мужицкое. Кто-то из наших, не помню кто, говорил, что дед Александра Дмитриевича был отставным николаевским солдатом.

Я знала отца Михайлова. Мы познакомились в Петербурге после ареста Александра Дмитриевича. Отцу Михайлова было тогда лет семьдесят. Выходит, родился он в годину наполеонова нашествия. Следовательно, дед нашего Александра Дмитриевича никак не мог быть отставным николаевским солдатом, а был солдатом времен Суворова и Кутузова.

Между прочим, я не умею объяснить ошибку, допущенную самим Александром Дмитриевичем в автобиографической заметке. Я перечитала ее совсем недавно в одном нелегальном издании. Михайлов почему-то указывал, что отец его учился в Лесном институте.

В Петербурге, стараясь хоть немного отвлечь и рассеять удрученного горем старика, я завела разговор о давно минувшем. Отец Михайлова никогда в Лесном институте даже и не числился; он кончил «курс наук» в батальоне кантонистов и стал топографом.

А с материнской стороны, как мне рассказывала — тоже после ареста Александра Дмитриеви-

ча — его кузина, Катя Вербицкая, были запорожские удальцы полковники, храбрые и стойкие. «И от них,— уверяла Катя,— некоторым в нашей фамилии передается способность всецело поглощаться одной идеей...»

Какие бы госпитальные заботы ни одолевали, я мучилась ожиданием известий от Александра Дмитриевича. Я почему-то вбила себе в голову, что если не получу их на левом берегу Дуная, то уж на правом, за Дунаем, и вовсе не дождусь.

Я первая написала ему. Написала из Кишинева, потом из Бухареста, наконец, как ни крепилась, написала из Зимницы. Полевую почту все бранили. Она и вправду заслуживала нареканий, однако кое-как, через пень колоду, а пробиралась к нам. Да и я получила письма от Владимира Рафаиловича Зотова; в первое мгновение, получив эти дорогие мне письма, я испытала досаду и раздражение: я ждала других...

Нет, я и мысли не допускала, что с Александром Дмитриевичем стряслась какая-нибудь беда. Все беды, казалось мне, отныне приключаются у нас и с нами, на театре военных действий, а там, в мирной России, какие там беды.

Спустя годы, когда жизнь, в сущности, прожита, потому что ничего не ждешь и ни на что не надеешься, спустя годы можешь улыбнуться тогдашним терзаниям.

Да, своим девическим подозрениям, пусть и не лишенным оснований, можно улыбнуться сквозь дымку отошедшего времени. Но не улыбнешься, даже грустно не улыбнешься страданиям Ольги Натансон.

Как сейчас, вижу ее, смуглую, стройную, с голубыми глазами; она была, кажется, обрусевшей шведкой. Ей пришлось вынести больше того и сверх

того, что «положено» женщине, однажды и навсегда ступившей на дорогу революции.

Еще совсем молоденькой она добровольно отправилась в ссылку за Марком Натансоном, талантливым апостолом народничества. Они обвенчались. У них было двое детишек. Судьбина нелегальной заставила Ольгу отправить малюток к родителям. Дети внезапно заболели и умерли почти одновременно. Ольга скрывала свое горе. Один бог знает, чего это ей стоило. Никогда не могла она избавиться от гнетущей мысли, что малютки выздоровели бы, будь материнский уход, материнская ласка.

Я встречала Ольгу на квартире Веры Фигнер, где бывали и Лизогуб, и Осинский, и Александр Дмитриевич; встречала в доме на Бассейной (рядом с домом Краевского, где тогда уже жил В. Р. Зотов, да и от нашей квартиры, в Эртелевом переулке, неподалеку). Там, на Бассейной, заседали «распорядители» общества «Земля и воля».

Марк Натансон по праву считается одним из учредителей общества, Ольгу следует признать сердцем «Земли и воли», суровым сердцем, недаром ее называли «наша генеральша».

Ольгу все чуть побаивались. А мы, лица женского пола, правду молвить, немножечко недолюбливали. Но, разумеется, и наши сердца облились кровью, когда Натансон попала в крепость. В каторгу она не ушла, а ушла из жизни, сожженная скоротечной чахоткой.

Ольга Александровна и Александр Дмитриевич были самыми яркими, даже самыми яростными сторонниками организации. Однако я с той прозорливостью, какая свойственна известному состоянию, угадала, что глубокая привязанность Александра Дми-
 триевича к Ольге Натансон отнюдь не исчерпывает-

ся совпадением практических партионных взглядов. И, угадав, ощутила «отклик» вдвойне мучительный, ибо я вдобавок казнилась своей ревностью, как позором, недостойным нигилистки.

Надо сказать, одновременно и без колебаний я уверовала в нравственную невозможность для Александра Дмитриевича и Ольги Натансон перейти, как говорится, границы. Она была предана мужу. Не так, как осуждавшаяся нами «рабыня» Татьяна Ларина, а с последней искренностью. А Михайлов чуть ли не с гимназической восторженностью относился к Марку Андреевичу.

Меня-то не обманывали насмешки Михайлова над всяческими «телячьими нежностями». Люди, мало знавшие Михайлова, даже подозревали его в грубоватом цинизме. Между тем, мальчишески боясь фальши, он как бы затеял собственное рыцарски-нежное отношение к товарищам.

Да, я верила в невозможность «перехода границ» для таких натур, как Александр Дмитриевич и Ольга Натансон, но все это, увы, не избавляло меня от позора, недостойного нигилистки.

В Зимнице я не дождалась от него никаких известий.

5

Война разгоралась пуще. Госпитальные будни (если позволительно назвать буднями сплошной кошмар) забирали все мои силы, физические и нравственные. Я думаю, лазарет близ позиций страшнее самих позиций.

Там, на позициях, в длинных шеренгах идущих в атаку, в этих хрупких линиях, то и дело как бы прогибающихся под напором естественного страха,

там люди сцеплены друг с другом, там действует и пример командира, и пример товарища, и еще владеет мысль, что если всем погибать, стало быть, и тебе погибать, чем ты лучше других. Под огнем, в атаке орудует громадная коса общей смерти, и твое крохотное «я» поглощено артельной участью.

Не то в госпитале.

Раненый, увечный оказывается один на один со смертью. И она орудует в тишине, с глазу на глаз. И если под огнем либо вправду отупеешь и оглушен настолько, что пренебрегаешь смертью, либо истинно храбр, то есть умеешь скрыть страх перед смертью, то здесь, в лазарете, иное. Тут лишь ты да она, твоя смерть...

Помню один вечер; это уж после войны, в восьмидесятом году. Александр Дмитриевич жил в доме Фредерикса, на Лиговке. Мы встретились в сквере. Оба не спешили: нас нигде не ждали — случай редкий; решили попросту пофланировать, погулять, как фланируют и гуляют молодые люди,— это ведь потребность молодости.

Недавно отошел ладожский лед. Петербург, как всегда после ледохода, казался огромнее. Уже смеркалось, и сумерки тоже казались просторными и чистыми. Мы шагали молча. Было хорошо и немножко грустно. Такая легкая, как дымок, грусть; она помоему, непременная спутница полноты счастья.

Потом разговорились. О чем-то, должно быть, незначащем, пустяковом; и опять-таки в самой этой пустяковости присутствовала именно полнота счастья.

Я хоть сейчас укажу тот угловой дом. В первом этаже, уже освещенном, мальчик плющил нос на оконном стекле, медленным пальцем выписывал кривули... Александр Дмитриевич вдруг заговорил

о смерти. Не элегически, не мрачно, не философски. И не с беспечностью молодости. Нет, очень спокойно, очень деловито.

Он говорил о смерти тех, кто повторяет латинское: «Умрем за нашу царицу!» (в данном случае «царицей» не Наука, а Свобода). Он говорил, что и нам не избежать мучительной борьбы с могучим инстинктом самосохранения, но каждый из нас обязан подавить его на воле, чтобы в каземате, на эшафоте душа была готова и оставалась лишь телесная материальная борьба.

Я часто думаю об этом теперь, когда Александра Дмитриевича давно нет на земле, и мне кажется, что за его деловитым спокойствием стояло представление о смерти, как о таинстве. Ибо сказано: «Чтобы и жизнь открылась в смерти плоти...»

И все-таки в готовность «вкусить смерть» я не верю. На войне многие умирали стоически. Не равнодушно, не покорно, а именно стоически. Но душа, бедная сиротеющая душа, билась и трепетала во мгле тоски, для которой в языке нашем нет слова страшнее и нет слова проще, чем тоска смертная. В госпитальных бараках последняя материальная, телесная борьба была обыденностью, но к темному, сухому шелесту этой тоски привыкнуть было невозможно.

А к остальному, пожалуй, привыкаешь.

И к тому, что раненые — прикрытые шинелишками, коржавыми от пота и крови, они кажутся обрубками — разражаются воплями, проклятьями, грубой площадной бранью. И к гнойным поражениям, над которыми даже задубелый военный лекарь не в силах склониться без крепкой сигары в зубах, а ты не разогнешься, пока не очистишь, не промоешь, не перевяжешь. И к каторге операционной, когда доктор,

без мундира, с закатанными рукавами рубахи, в жилете и кожаном переднике, залитом кровью, как на бойне, выходит, шатаясь, и садится, уронив голову и руки, а ты продолжаешь сновать, как челнок, кипятить инструмент, таскать тазы с теплой водой, сносить в сторонку ампутированные руки и ноги.

Захоронение ампутированных конечностей поднимает жуткое, знобящее чувство. Могильная яма, священник в облачении, с паникадилом. В яму вываливают из рогожек почерневшее, скрюченное, крошечное. Человек-то еще жив, а «часть» его уже погребают...

6

Александр II посещал госпитали. Он утешал раненых, крестил, целовал. Лицо его собиралось тяжелыми, нездоровыми складками. Я видела не раз, как он плакал, склонившись над увечным солдатиком. В те минуты он не был самодержцем, властелином, императором, владыкой, а был старым человеком, потрясенным видом страдающего.

Это свое впечатление я высказала впоследствии Александру Дмитриевичу. Глаза Михайлова заблестели мрачно. Он процедил: «Эх, и крепко сидят барские сантименты!»

Но дело не в сентиментальности. Для солдат посещение царя всегда было моментом навечно памятным. Говорю как о непреложном факте, хотя очень хотелось бы подметить иное, если и не совсем противоположное, то пусть бы и в малой дозе иное. Но тут наблюдалась патриархальная, детская, наивная доверчивость и надежды, какие еще долго не избыть нашему народу. Солдат мог ругательски ругать (и
 ругал) и своего полкового командира, и генералов,

кого угодно, включая великих князей, да только не государя. В солдатском представлении царь не был причастен к несчастьям, которые выпали на солдатскую долю. Напротив, царь был единственной надеждой. Недосягаемой, почти неземной, но единственной.

Я не разделяла до конца убеждения товарищей в том, что физическое устранение царя непременно вызовет всероссийский бунт, инсуррекцию, революцию, ибо была свидетельницей преданности и восторга, неизменно возникавших при появлении государя не только в госпитальном бараке, но где-нибудь на дороге, перед каким-нибудь полком, идущим на смерть и сознающим, что его ведут на смерть.

Вот от этого-то и нельзя было отмахиваться. А вовсе не «барские сантименты»...

При госпитальных визитах государя сопровождали свитские. Кстати сказать, среди прочих генерал-адъютантов находился и Мезенцев, шеф жандармов. В его бледной физиономии не было ничего инквизиторского, а была, скорее, некая двойственность — и бонвиван и святоша. Удивительно, меньше года минуло, и я, прогуливаясь по Питеру с Александром Дмитриевичем или с Кравчинским, «показывала» им Мезенцева, удостоверяла его личность, чтоб не вышло ошибки...

Однажды в царской свите оказался некий полковник-артиллерист с флигель-адъютантским жгутом на мундире. Обладатель бородки à la Наполеон III, он, казалось, выпорхнул из гостиной. Кто-то, обращаясь к нему, произнес: «Послушайте, князь», и у меня не осталось никаких сомнений — столичная штучка.

Государь, задержавшись у койки одного из раненых, подозвал полковника:

— Мещерский, а этот не твой ли?

Его сиятельство поспешно выдвинулся вперед и, несмотря на тесноту и неудобство, очутился слева от государя, ибо ведь это так принято — держаться по левую руку от важной особы.

— Да, ваше величество,— ответил князь.

Государь кивнул и двинулся дальше, увлекая за собою свитских, а князь сел в ногах раненого, о чем-то расспрашивая и машинально оправляя одеяло.

Потом Мещерский подошел ко мне и с поклоном представился. Я тоже назвалась.

— Позвольте, позвольте... Вы — Ардашева? По батюшке — Илларионовна?

Я подтвердила.

— В таком случае,— с живостью воскликнул князь,— я имею удовольствие служить с вашим родственником!

В тот же день я обняла брата Платона. Разминулись и в Кишиневе, и в Зимнице, разминулись бы и теперь, когда бы не Эммануил Николаевич Мещерский.

Он приезжал по приказанию государя всего на несколько часов. Не знаю, зачем и для чего, вполне вероятно, по некоторым, так сказать, семейным делам: Мещерский приходился государю словно бы родственником, будучи женат на сестре той особы, которая... Впрочем, об этом в своем месте.

Итак, Эммануил Николаевич свел меня с братом Платоном. Платон служил под командой князя Мещерского в первой батарее 14-й артиллерийской бригады. Бригада входила в состав 14-й пехотной дивизии, начальником которой был поныне здравствующий генерал Драгомиров.

Брат внешне не переменился, не исхудал, не осунулся, разве что загорел. Увы, я должна попрекнуть природу в несправедливости; во всяком случае, со

мною она обошлась несправедливо, потому что я вышла в нашего покойного батюшку, а брат удался в нашу мамулю. Ну и получился братец на славу, а сестричка так себе.

Платон был красавец. Он это знал и этим пользовался, легко покоряя сердца слабого пола. Он был на три года старше меня; девочкой я любовалась братом, но потом меня стали раздражать его манеры записного сердцееда.

Не изменившись внешне, брат как будто несколько изменился внутренне. Начать с того, что он, хотя и не без гордости, объявил о своем производстве в штабс-капитаны и о Станиславе с мечами и бантом, но упоминание было «скользящим», а гордость приглушенной, словно бы мерцало Платону: «А-а, полноте, все это, в сущности, пустяки...» В этой задумчивой сдержанности было нечто новое, непетербургское.

Дивизия Драгомирова первой форсировала Дунай и первой оказалась лицом к лицу с неприятелем.

— Понимаешь ли,— рассказывал Платон,— под ложечкой-то екало. И во всем теле предательская слабость. Похоже... Нет, ей-богу, будто кадетом накануне экзамена, не смейся. А потом нарастает напряжение, тяжелое и вместе колючее — окаянное ожидание кусочка свинца, предназначенного тебе, именно тебе, а не кому-то другому. А вперемежку с этим — злоба. Эдакое непостижимое чувство озлобления...— Он помолчал, покурил и продолжил: — А знаешь ли, у меня с приятелем... это еще в первые дни было... у меня со штабс-капитаном Пестовым завязались однажды «кошки-мышки». Стреляли с левой стороны, так и пришлепывало, так и жужжало. И вот, представь, каждый из нас норовил прикрыться другим, то есть идти с правой стороны. Мы оба, черт возьми,

отлично понимаем и стыдимся, а вот никак, хоть убей, не умеем совладать с собою. Когда стрельба кончилась, мы переглянулись да и покатились со смеху... Вот тут и пойми! Но возникает и другое, совсем другое. Я вот о чем. Ты знаешь, у меня в приятелях никогда недостатка не было, я приятелей люблю... Но тут другое, тут, видишь ли, теплое, прямо-таки родственное, всех-то тебе жаль, все тебе близки. Славно, Аня... И не только к своему брату офицеру, нет, и к святой серой скотинке. Заметь, «святой» — это наш Драгомиров добавил. Признаюсь, бываю крут, вгорячах чего не случится. А ведь прощают. Солдат, он одного не прощает — мелочного педантства. А нас-то, вот таких, как я, все больше на мелочное педантство натаскивали...

Зашла речь о князе Мещерском. Я сказала, что первое мое впечатление было далеко не в пользу его сиятельства.

Платон рассмеялся.

— В бригаде тоже... Ты заметила, как он изъясняется по-русски? Точно бы и не русский. Ему по-французски легче... Назначили его недавно, в прошлом ноябре. Все на него косились, прозвали: «Пале-рояль». А теперь только и слышишь: «О, настоящий русский человек!» Нам каждому поверкой — дело, огонь, позиция. А там-то Эммануил Николаевич не просто храбр, а поразительно храбр. Будто и не гремит, не жужжит вокруг. Да и не это главное... Храбрецов не занимать стать. Нет, он молодцом дело делает, наперед обо всем заботится, обо всем успеет подумать. Духами прыскается? Э, возьми Скобелева, на что генерал, на что воин, а франт из франтов: непременно это он в белом как снег мундире, рыжие бакенбарды волосок к волоску, будто сейчас от куафера...

Оказывается, Мещерский находился в службе с восемнадцати лет. (Когда я его увидела, ему было далеко за тридцать, а может, и все сорок.) Начал он унтером на Кавказе, и там, в кавказских битвах, удостоился самой подлинной из наград — знака Военного ордена. Потом долгие годы был военным агентом в разных миссиях и посольствах. Платон говорил, что Мещерский — обладатель иностранных крестов, а в годину франко-прусской войны получил золотую саблю за храбрость.

Знакомство с Э. Н. Мещерским принадлежит к самым светлым моим воспоминаниям о войне, бедной светлыми воспоминаниями. А знакомство наше не оборвалось первой встречей, потому что я добилась перевода в лазарет, приданный драгомировской дивизии.

Кто был на войне, помнит разительное несходство госпиталей Красного Креста и лазаретов военного ведомства. Они отличались почти так же, как великолепные, но немногочисленные санитарные поезда, снаряженные императрицей или на пожертвования городов, отличались от многочисленных «телячьих» и прочих эшелонов для эвакуации. (Эти слова — «телячий» вагон, «эвакуация», «эшелон» — я впервые услышала на войне.)

Попасть в госпиталь Красного Креста было мечтою всех раненых, мечтою, увы, редко осуществляющейся, ибо при всем старании Красный Крест не мог принять громадного числа «желающих». Госпитали Красного Креста были богаче, лучше, чище лазаретов военного ведомства. Последние вечно мыкались, как приживалки. Да еще и подвергались беспардонному интендантскому грабежу. (От него, впрочем, не было спасу и боевым действующим частям.) Я бы упекла в нерчинские рудники того мудреца, который

отпускал для дивизионного лазарета четыре фунта гигроскопической ваты на четыре месяца! Вы только вдумайтесь: по фунтику на месяц! Да одна настоящая перевязка возьмет куда больше. Или вдруг раскошелятся и пришлют несколько пудов рыбьего жира вместо... хлороформа. Или гуляет дизентерия, а ты не допросишься опиума. И так далее и тому подобное. Конечно, Красный Крест, как мог и где мог, выручал казенные лазареты, да ведь на всех не напасешься. Короче, в казенных лазаретах такая была мука и для больных и для медиков, что слов не хватает.

7

Батарею Мещерского... Я не запамятовала — первая батарея 14-й артиллерийской бригады,— но я называю ее батареей Мещерского, ибо так, только так, а не номером именовали ее солдаты, что справедливо считалось высшей степенью солдатского признания и солдатской признательности... Так вот, батарею князя Мещерского, а стало быть, и самого Эммануила Николаевича и брата Платона, бывшего на батарее старшим офицером, я нагнала в канун выступления к вершинам горы Св. Николая.

Гора Св. Николая — это, собственно, три главы, три седловины. Дивизионный лазарет расположился за третьей, а за первой поместился перевязочный пункт.

Бои завязались без промедления. Сломив великодушие старшего врача, я отправилась на перевязочный пункт, поблизости от батареи Мещерского, в лесок, где находились лишь санитары и болгары-добровольцы, вызвавшиеся помогать.

На Шипкинском перевале, на горе Св. Николая, я научилась различать какофонию огня. Если кар-

течь, то будто зашаркает веник по мостовой. Бомба басит и повизгивает, а потом, приблизясь, вдруг и взвоет. А пули... Говорили, что опытный военный различает пение пуль еще в полете: какая перевернулась, а какая с изъяном, со свищем. Я знаю только, что удар пули звучит каждый раз по-разному. Если в скалу, в камень, то звук тупой и твердый, будто классная дама пристукнула об стол карандашом. Если в каменистую землю, то слышишь шорох, будто на крахмальную скатерть просыпала сахарный песок. А если угодила, попала, не промахнулась, тогда словно бы кто-то приложил палец к губам и произнес: «Тсс...»

Ненавижу войну, а должна сознаться — в боевом деле есть темный азарт. Ты вроде забываешь, что оно, это боевое дело, несет смерть, несет страдания тебе подобным. Хуже того, перехватывают безумные минуты, когда мстительная мысль, что несешь смерть и страдания, словно бы обдает сухим пламенем, и тебе это приятно.

Подходишь к расположению батареи Мещерского. У коновязей четверики и шестерики. Рядом орудийные передки, зарядные ящики. Часовой не с ружьем, как у пехотных, а с обнаженной саблей. Слышишь грохот, крики, чуешь кислую вонь порохового дыма.

А вот и сама батарея.

Унтер-наводчик вспрыгивает на орудийный хобот, упирается прищуренным глазом в целик, ерзает вправо, влево и слабо, даже как бы капризно, помахивает кистью руки — указывает, куда подавать. Потом наводчик уступает место офицеру, а сам стоит рядом с видом скромным и достойным, как человек, хорошо исполнивший свой долг.

Офицер с биноклем, быстро оценив точность наводки, бойко кричит: «Пли!» И вот уж прислуга

отскакивает в сторону. Пушка рявкает, приседает и откатывается, звеня и лязгая. Артиллеристы, вытянув шеи, медленно сгибаясь, чтобы не застил дым, следят, где разорвется. Раздаются возгласы: «Чистая отделка!», «Важно!», «В середку угодила!»

Но война отнюдь не ажитация, когда артиллерийский офицер при сабле и пистолете командует: «Пли!», или генерал, махнув перчаткой, молодецки приказывает: «Музыка, вперед! Развернуть знамя!» Война — ломовая работа. Полк окапывается, вгрызаясь в камень. Батарейные заняты утолщением брустверов. Укрепления требуют ежедневных исправлений. Надо добыть лесной материал — колья, брусья. Надо волочить их на позиции, волочить под выстрелами. Наступают холода, туманы, дожди — необходимы землянки... Бессонные ночи, арестантская зябкость траншей, грязное белье. Лихорадка, дизентерия, мириады вшей, вонь неубранных трупов, вонь испражнений...

Иногда вечерами я заглядывала на огонек к брату Платону и кн. Мещерскому. Эммануил Николаевич, немало повидавший на своем веку, был занимательный рассказчик. В его рассказах открывалась жизнь придворная и дипломатическая. А мы сидели у огня, кто набросив полушубок, кто пальто или шинель, сидели посреди скал, траншей, брустверов, окруженные туманом, тьмой, сыростью, неизвестностью, и с жадностью слушали князя.

Мещерский, пощипывая бородку, говорил о прусском короле, теперешнем германском императоре, о том, как он, Мещерский, ни за что ни про что получил датский офицерский крест и нидерландский офицерский крест, как ездил в Швецию и каков был некий генерал Леббеф, с которым дружил наш рассказчик.

Все это должно было бы здесь, на театре военных действий, представляться донельзя мишурным, пустым, никчемным, а между тем, повторяю, мы слушали с жадностью. Не оттого ли, что все, рассказанное князем, было бесконечно далеким? Не потому ли, что всем нам хотелось забвения, пусть и краткого?

В ночь на пятое сентября я была на биваке, у брата Платона. Только что пришла долгожданная почта, как всегда, разворошила в душах минувшее, невоенное, домашнее, и на биваке там и здесь возникали те особенные доверительные беседы, которые бывают только у военных вблизи неприятеля или у заключенных на долгом этапном пути.

Эммануил Николаевич, тихо светясь, говорил о жене и детях. Летом они жили в Царском Селе, зимою — в Петербурге. Жена нашего полковника была урожденной кн. Долгорукой. Она была из тех княжон, что не располагают приданым, ни недвижимым, ни банковским. (Впрочем, таким же был и Эммануил Николаевич). Женился он вскоре после того, как Мария Михайловна вышла из Смольного. Эммануил Николаевич показал миниатюру, изображавшую довольно миловидную блондинку. И вдруг, поскучнев, попросил меня и Платона похоронить его вместе с этой миниатюрой, а медальон с локоном, висевший у него на груди, возвратить Марии Михайловне.

Словом, разговор принял печальный оборот, и, если бы он случился неделею, даже несколькими днями прежде, я бы его вряд ли упомнила, но все дело в том, что происходил он в ночь на пятое сентября.

В эту ночь наступила тишина. Совершенная и удивительная тишина, когда слышишь шорох тумана. И по мере приближения рассвета она не только

не нарушалась, а становилась еще глубже и полнее. Мне дали провожатого, и я отправилась в лес, на перевязочный пункт.

Спустя часа полтора турецкая гвардия начала общий штурм горы Св. Николая. Взвизгивая «алла! алла!», турки бешено ворвались в наши передовые ложементы и обрушились на батарею Мещерского.

В самом начале сражения Эммануил Николаевич был убит. Пуля попала в сердце, он не мучился и мгновения. Но солдаты все-таки принесли полковника на перевязочный пункт. Я накрыла его лицо платком. Солдаты постояли, перекрестились, надели шапки и ушли назад, на батарею.

Есть странность, которую испытывают, очевидно, лишь на войне: убьют человека тебе близкого, а ты поначалу не ощущаешь никакого потрясения, разве что тупое недоумение, да и то недолгое. И лишь потом, минет время, заноет, заболит, затоскует сердце.

8

Транспорт — это десятки, сотни повозок. Похожие на громадные сундуки без крышек, с трухлявой подстилкой, гадкой и дворовому псу, с немазаными осями, они издавали невыносимый, бесконечно долгий скрип, который, мешаясь со стонами, наполнял окрестности характерным гулом.

Транспорт приближается к госпиталю. Госпиталь переполнен. Мест нет, медикаментов нет, махорки нет, носилки заняты, самовары распаялись, кипятка нет; хирургический инструмент давно затупился, зазубрился. Доктор, в замызганном платье, небритый, измученный, хрипло осведомляется: «Сколько всех?» Услышав ответ, он с минуту только сопит.

Дождь, ветер, тучи. Из бараков шибает карболкой, испражнениями дизентериков. Не знаешь, который день недели. Куришь, куришь. (Многие, почти все сестры милосердия, я в их числе, пристрастились к табаку.) Впрочем, одно чувство есть: раздражения. И против раненых, и против коллег, и против этого дождя, этих туч, против всего на свете.

В одну из таких минут я увидела щуплого, с жиденькой бородкой человека, одетого в брезентовую епанчу и брезентовые шаровары, заправленные в сапоги. Он орудовал широкой лопатой. То был студент, по фамилии, кажется, Маляревский. После войны, в Петербурге, я спрашивала о нем, но так ничего и не узнала; возможно, он не был питерским студентом.

Маляревский спасал и госпитали и целые городки, переполненные войсками и ранеными, от повальных эпидемий: он добровольно занимался уборкой нечистот. Администрация не давала ему ни подвод, ни рабочих рук, Красный Крест ссужал грошами, но Маляревский как-то изворачивался. И я утверждаю, что поступок Маляревского был поистине героическим, хотя со мною наверняка не согласятся чиновники наградного стола главной квартиры...

Я оказалась в гужевом санитарном транспорте, а затем и в санитарном эшелоне после того, как уполномоченный Красного Креста, посетивший Шипкинский перевал, нашел, что сестру милосердия Ардашеву пора забрать из лазарета 14-й пехотной дивизии.

Я согласилась сразу, согласилась с радостью! Правда, совесть оскалила остренькие зубки, но я сказала этому грызуну: «Послушай, вернусь, ей-богу, вернусь, а сейчас уволь, нет сил, ни телесных, ни душевных». Впоследствии я вернулась на Шипку, это

правда. Но, умаеливая свою совесть, я ни на волос не верила, что вернусь, это тоже правда.

В начале кампании, двигаясь к Дунаю, наши полки обтекали Бухарест, едва затрагивая окраины. Теперь, доставив раненых в Бранкованский госпиталь, я могла осмотреться. Впрочем, «осмотреться» — звучит как из записок вольного путешественника, лучше сказать — я озиралась.

Было странно видеть собственное отражение в зеркальных стеклах магазинов, фиакры, запряженные свежими и холеными лошадьми, а не загнанными или запаленными, видеть людей чистых и улыбчивых, а не сумрачно-сосредоточенных, слышать речь о каких-то обыденных предметах, ступать по ровной мостовой, меняющей твою походку, вдыхать приятный запах кофейни или глядеть на Дымбовицу, которую не надо форсировать, а можно спокойно перейти по одному из мостов.

При мне в Бухарест вступил полк гвардии, призванной на театр военных действий в качестве панацеи от плевненских и прочих неудач. Какой именно полк, не помню, кажется, гренадеры.

Офицеры рассыпались по городу, эдакие свеженькие, беспечные. Я испытывала неприязнь, даже, пожалуй, легкое злорадство: «Э, погодите-ка, соколы, хлебнете лиха».

Ну, а пока эти сабельки бренчали на улице, слушали повсеместно в Румынии распространенный романсик «Ich bin der kleine Postilon» * — или, входя в кафешантан, весело осведомлялись у старшего в чине: «Разрешите остаться?»

По-иному вели себя офицеры, командированные по каким-либо делам с театра военных действий.

* «Я маленький почтальон» (*нем.*).

В их кутеже была забубенная торопливость. Они пили жадно, будто задыхаясь, нахлобучивали свои фуражки на случайных подружек, стаскивали с плеч походные сюртуки и оставались в одних сорочках.

Бухарестские дни запечатлелись бы в памяти вот только такими чертами, если бы я не встретила Розу Боград, а она не свела меня с Анной Корба.

Михайлов утверждал, что в целой толпе барышень и женщин нетрудно отыскать участниц революционного дела. Это очень просто, говорил Александр Дмитриевич, стоит только внимательно присмотреться. У наших, объяснял он, другая походка, жесты, движения — энергия, бодрость, особенная эластичность. А все прочие — квелые (он так и сказал: «квелые»), не ходят, а семенят; и главное, у наших одухотворенность, а у тех кисейная экзальтация и жеманство.

Михайлов был наблюдателен, равномерно приметлив и к квартирным хозяйкам, и к кучерам, и к топографии местности или города, и к товарищам, и к недругам. То было врожденное чутье, хотя Александр Дмитриевич и настаивал, что подобное чутье может и должен вынестовать в самом себе каждый нелегальный.

Вот и в этом случае, общее схватил он верно. Однако всех в одни скобки не заключишь. Вздумай Александр Дмитриевич применить свой «закон» к сестрам милосердия на театре военных действий, он бы чуть ли не каждую причислил к революционеркам — обстоятельства, род деятельности придали им как раз те внешние признаки, о которых он говорил.

Принадлежала ли Роза Боград к типическим фигурам — не припоминаю. (Зато помню, как задело меня ее сочувственное: «Ох, и переменилась ты!») Не скажу, была ли она уже тогда женою Плеханова,

с которым теперь в эмиграции, но, несомненно, они знали друг друга, как оба знали и Александра Дмитриевича, и меня: мы были, что называется, одного круга.

Увидев Розу Боград, я ощутила, как давно оставила Россию. Минули месяцы, а мне казалось — годы. Есть свойство времени тюремного: быстролетность и вместе неимоверная протяженность. Тоже, как ни странно, на войне.

Об Александре Дмитриевиче Роза только и могла сообщить, что он, как и Жорж Плеханов, где-то на Волге, скорее всего в окрестностях Самары или Саратова. Признаться, я готова была сто раз переспрашивать и сто раз выслушивать все о том же.

Розина комната при старинном госпитале была обыкновенная, даже бедненькая, но разве не блаженство, когда можешь затворить дверь и остаться наедине с собою? Не блаженство ль разуться и ощутить под ногами не острый холод каменистой земли, а чистые половицы? И не блаженство ли пить чай, слушая вполуха неотвязный шум вечернего дождя и зная, что тебя не позовут в темень и непогоду?

Ничего-то мне не хотелось, а только вот так сидеть у этого стола, покрытого скатертью, за столом с чаем, конфектами и печеньем — настоящее пиршество,— сидеть, подперев щеку ладонью, и не прихлебывать чай, торопясь и обжигаясь, а пить мелкими-мелкими «домашними» глотками...

Поздним вечером постучали. Вошла молодая женщина. Роза нас познакомила. Анна Корба, сестра милосердия Благовещенской общины, служила в санитарном поезде, доставлявшем раненых из Бухареста к русской границе.

Дочь статского генерала и супруга инженера Корба, швейцарского подданного, Нюта в ту пору была



легальной. Но ее симпатии и антипатии уже определились. Минул сравнительно краткий срок, и она, разорвав с мужем, сделалась нелегальной, заняла выдающееся место в партии. Она пылала таким вдохновением, что у нас говаривали: мы действуем, Нюта священнодействует.

Александр Дмитриевич питал к ней глубокую приязнь. Это давало повод подозревать экстраординарные отношения. Может быть, я еще расскажу...

Я уже писала, что Михайлов чрезвычайно ценил товарищество. Друзья составляли организацию; организация состояла из друзей. Тут была слитность. Но именно Нюте, именно Анне Павловне Корба он открывал такое, чего не открывал и Желябову, уж на что они были близки.

В начале восьмидесятого года Нюта жила неподалеку от Сенной площади, на Подьяческой. У нее хранилась часть «небесной канцелярии», часть паспортного стола «Народной воли», и Михайлов, постоянно озабоченный благонадежным устройством нелегальных, часто наведывался к Нюте...

Было уже за полночь, когда Роза извлекла из чемодана нелегальную литературу. Я удивилась. Это было странное удивление. Война поглотила меня и оглушила, и мне представлялось, что и там, вне театра военных действий, тоже все поглощены войной. А тут — литература, нелегальные издания, нечто из другого мира. И вот — удивление, чувство очнувшегося человека, который не вмиг смекает, где он и что он.

Я должна была бы, кажется, ощутить жажду печатной строки, нетерпение к революционным новшествам. И опять-таки странность! Не апатия, совсем не то, а такое внезапное сознание растраты собственного нервного капитала, что я не нашла в себе охо-

ты к чтению. И лишь на другое утро, когда Роза с Нютой отправились на склад Красного Креста, на громадном дворе которого, заваленном ящиками и тюками, постоянно кипела работа, лишь тогда я принялась за чтение.

Запрещенной, недозволенной была эта литература только для нас и у нас, только для русских и в России, но не в Румынии и не в Турции. Ярмо русского деспотизма давило тяжелее даже ярма турецкого, а уж последнее в целом свете рекомендовалось варварским.

В Румынии расейские жандармы пытались пресечь распространение революционной литературы. Казалось бы, чего проще, если взять в расчет союзничество, а сверх того и присутствие в слабосильной стране русской армии? И однако, «голубым» указали на дверь, заявив, что подобные запрещения противоречили бы конституционным установлениям. (Тут было над чем призадуматься нам, социалистам, в ту пору отрицателям конституций!)

В пределах Турецкой империи «предерзостные книжонки» тоже никто под полу не прятал. В Сан-Стефано, например, их получал каждый посетитель ресторации Боске, популярной у наших офицеров.

Одно плохо, а главное, непоправимо: эмигранты, издатели и поставщики нелегального, не посылали ничего, предназначенного армейской публике. Правда, солдатская масса, насколько знаю, чуралась печатного слова (исключая Евангелия, особенно в госпиталях), чуралась и спешила предоставить «по начальству», то есть поступала так же или почти так, как и деревенские простолюдины. Это верно. Но следовало бы адресоваться к офицерам, писать о той роли, которую и может и должна сыграть вооружен-

ная сила в коренном обновлении России. Уверена, семена падали бы на благодатную почву; может, еще более благодатную, чем молодое, необстрелянное офицерство, из которого чуть позже рекрутировались наши подпольные военные кружки. Однако никто не заботился ковать железо, когда оно было не горячим, а прямо-таки раскаленным.

Несмотря на явное нежелание румынских властей потворствовать русской жандармерии, мы соблюли некоторую конспирацию, начиняя мой багаж «преступной» литературой.

Я бралась доставить ее на родину в своем санитарном эшелоне. Военные поезда не подвергались таможенному досмотру, однако не следовало наводить «голубых» на след. Тем паче что «хвост» вполне мог увязаться за мною и там, в России, обнаружить наши связи.

Как сестре милосердия, мне полагался бесплатный провоз до трех с половиной пудов багажа. Мое имущество не тянуло и полпуда, и я «по праву» хотела загрузиться нелегальным.

Роза отправилась в какую-то кофейню, куда вечерами наведывался эмигрант, болгарский революционер Любен Каравелов. Вернувшись из кофейни, она сообщила, что Каравелов охотно согласился припасти необходимую нам литературу и что мы получим ее из рук в руки, не привлекая стороннего внимания.

Помню улицу Мошилор, в конце ее — дом; на пороге встретил нас высокий, худой, сутулый, темноглазый человек в просторной синей блузе. В лице, широколобом, с желтизною, мне почудилось отдаленное сходство с татарским типом, и на минуту мелькнул Владимир Рафаилович Зотов, хотя борода у Каравелова, не в пример зотовской, росла пышно.

4*

(В Петербурге я рассказала о своем впечатлении В. Р. Зотову. Владимир Рафаилович, смеясь, заметил, что у него от предков татар «уцелела» разве что реденькая бороденка, а когда бороду он брил, то даже сам Лафатер не «учуял» бы в нем татарской крови. Что до Каравелова, то Зотов, оказывается, во времена оны состоял с ним в переписке: Каравелов, живший тогда в Сербии, искал заработка и хотел сотрудничать в русских газетах.)

На другой день я перебралась в военно-санитарный поезд. Он состоял из вагонов, которые начальство, со свойственным ему остроумием, называло «приспособленными». Если они и были приспособленными, то для скота, в них скот и возили. Вагоны не сообщались друг с другом, как пассажирские, и врач не появлялся до очередной остановки. Да к тому же всем — и раненым и персоналу — доставалось от крутого произвола начальника транспорта, взбалмошного и пьяного ротмистра.

На границе мы получили депешу, согласно которой эшелон следовал в Саратов, где эвакуированных ждали палаты и бараки земской больницы.

В Саратов! Пусть и две почти тысячи верст, но ведь в Саратов, на Волгу! Я и надеялась, и не надеялась увидеть Александра Дмитриевича. Надеялась, потому что приключаются чудеса. Не надеялась, потому что чудес не бывает.

Глава вторая

1

Вы спрашиваете: что дальше? Продолжение есть, оно будет. Но теперь позвольте мне. А то ведь какая диспозиция получилась? Вас, читаючи, занесло с Анной Илларионной в конец семьдесят седьмого года. А ваш покорный слуга Зотов остался со своим героем в метелях семьдесят шестого. Надобно соединить нитку...

Я говорил, что впервые увидел Михайлова в Эртелевом, у Анны Ардашевой, это в канун ее отъезда было. Особенного впечатления молодой человек на меня не сделал, и я нисколько не держал на уме, что мы еще встретимся. Не то чтобы не хотел его видеть... Отчего? Занятно молодых наблюдать... Нет, просто какая могла случиться докука у него ко мне, а у меня к нему?

Однако случилась. И весьма неожиданная.

Видите ли, Аннушка, чтоб меня, ветхого человека, поднять в глазах своего друга, Анна-то Илларионна возьми да и похвастай моей библиотекой. Вот, дескать, обладатель истинных сокровищ. Оно и верно — обладатель. Сами изволите видеть. А это еще не все, в других комнатах — до потолка. Тут и наследственное, от батюшки, тут и благоприобретенное. Уж на что Благосветлов... (А тот, который поставил

«Русское слово» и «Дело».) Уж на что знаток и ценитель, не плоше Лескова, а и Благосветлов, бывало, позавидует: «Библиотека у вас, Владимир Рафаилыч, единственная!»

Скажете: какого черта — ваша библиотека и ваш нигилист? Да и я, я тоже руками развел (мысленно, мысленно), когда он постучался ко мне и сказал об этом. И ведь вправду, они все больше жили сердцем, нежели мыслью. Это, пожалуй, верно, но сейчас о другом.

Сейчас я внимания прошу, потому что никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонилось. Нет, хочу, чтоб услышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала, хотя и под сурдинку... Впрочем, тороплюсь.

Так вот, он-то, Александр Дмитрич, как раз ради книг и явился. Ради каких? Нипочем не угадаете. Представьте: староверы, раскол!

Ну да, да, да — раскол. Опять-таки: а с какого боку тут я — Владимир Рафаилыч Зотов, православного вероисповедания?

До времени у нас об расколе только и знали, что по романам батюшки моего и романам Масальского, который так ловко строил интригу. Занявшись расколом, отец мой копил кое-какие бумаги, а я — сборники Кельсиева, нелегальное «Общее вече».

Разумеется, Александр Дмитрич обо всем этом не ведал. Он попросту намотал на ус хвастовство Анны Илларионны. Зачем, с какой целью? Он бы, понятно, и в Публичной отыскал, ну, скажем, Аввакумово «Житие», или Субботина, московского, этот его трактат о расколе как орудии враждебных России партий, или, наконец, «Братское слово»... Или вот еще: Ливанова очерки, хотя и мерзейшие, но с фактами, с фактами... Отыскал бы, конечно. Но при-

мите в расчет образ жизни: день-деньской на ногах, глядишь — девять вечера, затворились двери Публичной. А ежели бы книгу на ночь, ежели бы с книгой в полночь, за полночь? Вот он и пришел.

Мне первое на ум: не желаете ли, говорю, книжку многострадального Щапова? (Был такой историк, очень его радикалы уважали.) Благодарит, улыбаясь. Я сказал ему про сборники Кельсиева, про «Общее вече». Он рот разинул. А мне, библиофилу, приятно. Однако, говорю, э т и я на руки не дам. Увольте, не дам. Э т и, говорю, нынче ни у одного книгопродавца не сыщешь. Понимаю, отвечает, и опять улыбается этой своей приветливой улыбкой, очень, говорит, понимаю, а как быть? Ну, как быть-с? Желаете, присаживайтесь, листайте себе на здоровье.

Не помню, кстати иль некстати, из одного тщеславия, но я ему про Герцена... Стойте, господа, тут все связано. Этот вот Кельсиев был Герцену одно время сотрудником, а листы «Общего веча» выдавали в свет при «Колоколе». Я и брякни, что газета газетой, а я и Герцена знавал. Тут он, Александрто Дмитрич, даже как будто и растерялся. В глазах, вижу, мольба и вопрос.

Я по себе, господа, знаю. Бывало, сойдутся у батюшки... Мы тогда жительствовали у Львиного мостика, в казенном доме театральной дирекции, где батюшка служил... Да, бывало, сойдутся. Вино, разговоры, воспоминания. Слышишь: «Государыня изволили...», «А Гаврила Романыч входит...» Слышишь такое — душа мрет. Не от того мрет, чего уж там такое изволила государыня, а от того, что вот этот самый человек, эти вот самые глаза глядели на Екатерину, на Державина...

Должно быть, у Михайлова подобное возникло, когда я о Герцене заикнулся. Не велика моя «прича-

стность» к Герцену, но знавал Александра Иваныча. Знавал!

Сильно я эдак-то в объезд беру. Но, во-первых, Герцен, знаете ли, такая неисчерпаемость, а, во-вторых... Во-вторых, тут и линия наших отношений с Михайловым. Сдается, «причастность» к лондонскому изгнаннику подняла мой кредит в глазах Михайлова. И что самое-то странное, даже смешно, ейбогу... Я ему рассказываю про Герцена, а самому приятно, лестно, даже вроде бы горжусь. А я ведь отчетливо сознавал, что внимание не к моей персоне, а как отраженный свет. Ну, а все равно приятно.

Я видел Герцена: счастливые билеты доставались трижды. Впервые — в сороковых; он приезжал из Москвы, посетил Краевского...

Нет, до «Голоса» еще вечность была; я тогда редактировал «Литературную газету». Краевского я хорошо знал. Он женат был на Анне Яковлевне, урожденной Брянской, удивительная была Дездемона, да-с... Брянский, актер Александринского, жил в нашем доме, его дочери, Анна и Авдотья, на глазах росли. Так что я будущую Краевскую еще до Краевского знал.

Ну вот, у Краевских в сорок шестом я и познакомился с Герценом. Помню, долгополый сюртук — московский покрой; да и весь Александр Иваныч был, так сказать, московского покроя.

Если бы вы только слышали, как он говорил! Я не о том, что говорил, а именно о голосе, о звучании голоса... У нас, коренных петербуржцев, согласитесь, есть эдакая снисходительность: э, Москва-матушка, большая деревня... Я тоже так. В одном отдаю решительное предпочтение — красоте, прелести московской дикции. Тут уж наш Санкт-Петер-

бург нишкни. В нашем твердом, быстром говоре нет ни отзвуков благовеста, ни отсветов солнца на маковках... А у них — есть. Вот у Герцена-то как раз и была прелестная московская дикция. Голос плавный, льющийся, заслушаешься.

Но слушать — трудно. Это не парадокс: трудно от быстрого полета мысли. Будто гонишься, весь в напряжении, и не поспеваешь, а рядом так и полыхают молнии, так и полыхают... И еще: после Герцена, как он уйдет, у тебя с другими людьми разговор не вяжется. Чувствуешь, нужно «приспособиться», потому что после Герцена всякая иная беседа — колченогая, неказистая...

Теперь — дальше. Текли годы. Александр Иваныч был за границей. Император Николай Павлыч опустил шлагбаум, нас всех — под караул, каждому — свой будочник. «Ох, времени тому!» — как встарь вздыхали... Звука «Герцен» боялись хуже мора. Нынче и не понять, как переменился смысл самого слова: «эмиграция». Вернее, в ту пору говаривали «экспатриация»... При Николае-то как измена, синонимом измены воспринималось, да-да. Ну, в лучшем случае как несчастье. А Герцен доказал право на политическую эмиграцию — моральное право, если ты сознаешь себя гражданином.

Ну-с, жили мы под Николаем. Потом, в шестидесятых, пожимали плечами: господи, да как это мы дышали? И все до точки списываешь на счет всепоглощающего страха. Верно: «и бысть страх велий». Однако все и вся на страх-то свалить — не слукавить ли? Дескать, что тут рядить, все мы люди, все мы человеки. А нет, не только страх, не-е-ет! Было еще одно обстоятельство. На него все тот же Герцен указал: резкое понижение нравственного уровня образованного общества...

Я вспоминаю чувства при известии о кончине Николая Павлыча. Поверите ли, первым было — недоумение. Почему? Да ведь Николай-то Павлыч, грозный царь наш, был, есть и будет. Вот какое гипнотическое состояние: есть и будет, едва ль не во веки веков. Всех нас переживет и детей наших, а то и внуков тоже. И вдруг — преставился, почил в бозе!

Надо было жить в то время, чтобы понять: ей-богу, парить захотелось. Окна настежь! Свет, воздух! Распахни объятия, христосуйся, светлое воскресенье, право.

Многих потянуло в Европу, ездить стали, шлагбаумы поднялись, а будочники головушки повесили. Собрался и я. Надумал заграничные письма писать для «Сына Отечества», хотя сотрудничал в «Отечественных записках» — критическим отделом заведовал. Но главной-то целью, меккой, как и для многих, стоял туманный Альбион, Лондон.

Прямого сообщения через Берлин не было, только еще строилась железная дорога от Кенигсберга до нашей границы. Пришлось часть пути проделать морем, будь оно неладно. (Мой старший — офицером флота, вокруг света плавал; спрашиваю: «Как это ты, Рафаил, такую каторгу терпишь?» Смеется...)

В Лондоне — «знакомые все лица»: Краевский, писатели. Все жаждут видеть Герцена. Да, забыл сказать: в тот самый год на всю Россию загремел «Колокол»... Александр Иваныч пригласил к себе всех нас. Одному Некрасову отказал. Была, кажется, какая-то претензия к Некрасову — за Огарева или жену Огарева, в точности не помню.

Жил Герцен в Путнее. Это от Лондона поездом минут двадцать. Занимал дом, двухэтажный, с садом; в саду зелень нежная и вместе крепкая, как повсеместно в Англии.

Герцен, вижу, мало переменился. Та же подвижность, льющийся голос московского тембра. Ну, несколько статью плотнее. И, может быть, больше открылся лоб, великолепных очертаний лоб у него был. Да, вот еще: как бы впервые расслышал его смех — открытый, искренний, так смеются очень честные люди.

Он радовался нам. Не тому, что мы явились на поклон: позвольте, дескать, засвидетельствовать... Нет, ни тени литературного генеральства. Он радовался русским, землякам. И в этой радости уже таилась глубокая тоска, эмигрантская, от которой защемило мое сердце при следующей встрече, десять лет спустя.

Мне случалось чревоугодничать на многих литературных обедах. Юбилейных и дружеских, городских, загородных, на всяких. Но такого, как в Путнее, не случалось ни раньше, ни позже: необыкновенное настроение покоряющего и общего дружества. Думаю, было сходство с лицейскими годовщинами. Не нашими, не моего выпуска, а первого, пушкинского.

Вот говорят: «пишущая братия», «братья писатели». А я вам по секрету: братия — да, братья — нет. Тут каждый стражником собственного «я». И тяжба самолюбий, то явная, то скрытая. Тут местничество: кто второй, а кто седьмой. Поют добро, а сами недобры. Литератору надобно душевное здоровье. Не только, чтобы выстоять посередь всяческой скверны. Не только. А и затем, чтоб не зачумиться своим тщеславием. А тут еще, смотришь, нечаянно пригреет славой... Именно нечаянно, что чаще всего и бывает... Я думаю, знаменитостей следует жалеть. Да ведь поживи они подольше и — что же? Нечаянная слава истаяла, нету, шабаш. Каково это, а? Се-

туй не сетуй на новые поколения, а саднит горечь. А ежели нас взять, которые второго иль третьего разбора? Нам, незнаменитым, надо пережить... лучше сказать — надо изжить бесславие. Всю жизнь изживать. И ничего-то тебя иное не вызволит, одна скромность. Но не казовая, а нутряная. Смиренная скромность нужна. А если есть она — истинное счастье работать...

Отвлекаясь Герценом, я, кажется, и от Герцена отвлекся? Так вот, у него, в Путнее, когда все мы там собрались, никаких этих самых самолюбий, местничества, тяжб. Улетучилось, стушевалось, веяло заветным, поистине братское было душевное расположение.

А последующие дни — прогулки по Лондону, и Александр Иваныч — наш любезный поводырь. Где мы хаживали — об этом не стану. Одним, впрочем, прихвастну: я Диккенса слушал. Публичное чтение было, Диккенса читали, а эпизоды читал сам автор. Вот какое везение, господа!.. А теперь напоследок по секрету шепну... Вам сборник «Русская запрещенная поэзия» знакомый? Да, да, герценовского издания. Так вот, господа,— моя лепта. Я тогда ему-то, Герцену, и привез. И Пушкина, и Рылеева, и Кюхельбекера, и Дениса Давыдова — все у нас, в России, запрещенное. Привез! И не скрою, горжусь!

В ваши лета вздыхают: «Ах, Париж! О, Париж!» Оно так, Франция прельщает: святые камни, святые воспоминания, этот неповторимый галльский аромат. Да, бесспорно. Но Англия, но Лондон... Помилуйте, я вовсе не англоман. Есть худое, есть и отвратительное. Но есть и капитальное, крепкое, как цемент: сознание значимости, ценности каждой личности, какого б веса ни была. Неколебимая убежденность: закон для всех писан. Положим, и в наших палести-

нах провозглашена законность. Я сам ее практический поборник, хотя бы уже по одному тому, что не раз был очередным присяжным заседателем в окружном суде... Да, законность провозглашена, с николаевским временем никакого сравнения, согласен. Но согласитесь и вы, что где-то в глубине души каждый из нас отнюдь не думает, что закон для всех писан. А вот тут-то и есть пакость, что мы так не думаем. У них же это кровное, в пóрах, не вытравишь. Не согласны? Эх, не будем пикироваться, ей-ей, когда-нибудь молвите: «Зотов, покойник, прав был, царствие ему небесное».

Ладно, обойдем сию материю. «Полно тово, и так далеко забрел, на первое пора воротиться». И верно, забрел. Только... вот они, годы... Где я свернул, откуда убрел? Не соображу...

А-а, покорнейше благодарю. Так вот, Михайлов мой, Александр Дмитрич, он, стало быть, припал к моим книжным полкам. И двинулся строгим маршрутом, ни вправо, ни влево, а подавай ему раскол, древлее благочестие. Особенно «Общее вече» приглянулось, так и вонзился. Газету — прибавлением к «Колоколу» — Кельсиев составлял, тогдашний соратник Герцена. Потом-то Кельсиев отрекся, на другую сторону передался, несчастнейший был человек. Но это позже, а тогда он при Герцене «Общее вече» составлял.

Тут вся соль и вся приманка для моего нигилиста-книгочея, знаете ли, в чем крылись? В идее соединения раскола и революции!

Коня и лань в одну телегу? Я наперед прошу: держитесь, пожалуйста, на той поверхности, на какой мы тогда жили. А то ведь, извините, задним умом крепки. Невелика проницательность, если она, в сущности, и не ваша. Вас время подняло, и притом,

заметьте, без всяких ваших усилий. Время и горький опыт тех, кто сошел под вечны своды.

Терпеть не могу приват-доцентов: откушают утренний кофе, встряхнут манжетами и ну разить минувшее критическим оружием нынешней выделки. Вот, скажем, военному историку, тому ведь в голову не придет бранить лучников за то, что не пользовались пушками. А невоенный историк, эдакий приват-доцент, вершит в кабинете: это было неоправданно, а это было вредно... Терпеть не могу всезнаек, за которых уже потрудилась старуха история. Не мудрость, а мелкое глубокомыслие. Нет, ты бы, сударь, слился душою с деятелем минувшего, поварился в котле тогдашних страстей, потерзался мильоном тогдашних терзаний, а уж после, уж потом хмурил бровь...

Э, нет, я не сержусь, я «отсердился», на Михайлова и его друзей в том числе, но об этом поговорим... Так вот, идея-то была соединить раскольников с революцией.

Наш раскольник в силу вещей заведомым протестантом казался. Все тот же Аввакум (его реченья любил Александр Дмитрич) говорил: «А власти, яко козлы, пырскать стали на меня». Староверов-то на Руси сколько? Миллионы. И на всех «пырскают власти». Как тут было не призадуматься?

Но должен вам сказать, что я сам-то не задумывался. Ну, заглядывал вот сюда, на огонек, Александр Дмитрич, читал или с собою уносил, а мне и невдомек, что он там замышляет.

А весною... Выходит, это уже в семьдесят седьмом... Да, весною он вдруг и запропал. Нет и нет. У Анны Илларионны справиться? И ее нет, на войну уехала.

 Ну, кто он мне? Почти как в стихотворении По-

лонского: кто он мне? не брат, не сын. А вот представьте: растревожило отсутствие. Знаете это ожидание, когда востришь уши — не послышатся ли шаги?..

2

Летом решил я вон из Петербурга. Поеду, думаю, вниз по Волге-матушке, давно собирался. Прочищу-ка усталую грудь, благо первый том сверстан... Я тогда начал выдавать в свет «Историю всемирной литературы». Материалы прикапливал лет тридцать. Теперь — вот они, видите? — четыре тома плотной печати, монблан, Маврикий Осипыч Вольф издал. Не хвастаю, а единственный у нас труд. Пусть популярный, но единственный: представлена деятельность человека в мире творческой фантазии...

Поехал на Волгу. Как да что, нужды нет. Прошу сразу в Саратов, там я остановился. И вот почему: адвокат Борщов сообщил — есть-де в Саратове удивительный старичок ста двадцати от роду. Ого, думаю, действительно старинушка. А меня очень занимала гильотина, то есть эпоха террора... Впрочем, погодите.

Вот смотрю — Саратов. Волга уже и тогда мелела, едва-едва привалили к пристани. Сошел на берег. У графа Соллогуба в «Тарантасе» отменная формула российского града: застава — кабак — забор — забор — забор — кабак — застава... (Кстати сказать, мы с графом Владимиром Александровичем в «четыре руки» написали либретто для первой оперы Рубинштейна.) Ну-с, заборы, заборы, заборы... Тянет тухлой рыбой, навозом, дрянью. И пыль, у-ух какая пыль. А из острога та-акие рожи — мороз по спине.

Я взял номер в гостинице «Москва». Зимою там цыгане, дым коромыслом, а летом, когда я, актеры

бедовали, жалуясь на упадок интереса публики. Актеры были молодые, талантливые; и Андреев-Бурлак, неподражаемый Аркашка из «Леса» Островского, а сверх того даровитый беллетрист; и Давыдов Владимир, да-да, теперешняя наша петербургская знаменитость; он мне, между прочим, там-то, в Саратове, сказал, что был занят в моей пьесе «Дочь Карла Смелого», в роли Ганса Доорена...

Ну хорошо. Взял номер, переоделся, спросил самовар. Передохнув, отправился к Борщову. Знакомство наше было свежее: весною Павел Григорьич выступал в Петербурге защитником на политическом процессе. А постоянно жил в Саратове, присяжным поверенным служил.

Иду себе на Приютскую улицу, платком обмахиваюсь. Вижу: пленных ведут. Фески, шаровары, народ прочный, но, конечно, уже не кровь с молоком, отощали, грязные, бороды всклокоченные.

Толпа глазеет на «турку». Какие-то барыни, чиновницы должно быть, кукиши строят, кричат; лавочники каменья хватают, грозятся и тоже пыжатся. А простые мужики и бабы суют «турке» кто пятак, кто краюху.

Я это к тому, что мещанин непременно великого патриота корчит. Лакейский патриотизм. А мужик, он жалостлив к «несчастным», он уживается с сотнями народностей. Говорили, что крестьяне брали наемных работников из пленных турок и не было случая, чтоб обижали.

Со мною обок торчал в толпе мужик. Дюжий, а вздыхал по-бабьи: «Эх, бяда, братцы, бяда-а-а-а...» Я — ему: «Послушай, любезный, да ведь и нашим богатырям, поди, не сладко, а?» — «А по мне, барин, никаких таких богатырей и нету вовсе».— «Как так,— говорю,— нету? А кто Дунай одолел?» — «Сол-

датики, барин, одолели. А богатыри-то,— смеется,— богатыри-то в Питере: на мосту они, видал? На мосту лошадей под уздцы держат: чугунные». Я тоже рассмеялся. Потом свое: а все, мол, и нашим у них не сладко. «Ка-акое, — говорит, — сладко, коли от хозяйства живьем оторвали?!» Махнул рукой и подался прочь...

Пришел к Борщову. Дом с садом. Мы под яблонями устроились. Хорошо... Я ему передал свой давешний диалог в толпе. Павел Григорьич по роду своих занятий часто с мужиками дело имел. Ну и, естественно, наслушался рассуждений о войне. Равнодушия, конечно, не было. Какое равнодушие, если чуть не с каждого двора забрили лоб... Павел Григорьич обладал актерским даром. Он мне в лицах представил, я поначалу смеялся, потом загрустил.

Невежество в деревнях поразительное. Толковали, что «англичанка» под землею соорудила «чугунку» и гонит по ней к басурманам оружие и харч. А тут еще знай поглядывай, как бы другой, третий в нашу державу не «вчепился». Что до целей войны, то царь наш ничего не желает, кроме как пособить единоверцам. Однако в этом пункте случалось слышать иное мнение, не часто, но случалось: «Э, батюшка, за проливы дерутся, за проливы...» Вот соседство: и невежество, и проницательность.

Наконец зашла речь про старца француза. Я вам говорил, что ради него-то и задержался в Саратове. Жил он на Грошевой улице, звали его Савена. Сто двадцать от роду — уже само собою, но дело не в годах, а что в те годы улеглось и втиснулось. Биография для Дюма. Француз был из осьмнадцатого века, из версалей, из-под плащей Людовиков! Отец потерял голову на гильотине. Сын участвовал во всех кампаниях Наполеона. Начал египетской, кончил

московской: его пленили на Березине. И вот он с двенадцатого года и застрял в России. Вы только подумайте — с двенадцатого!

В Саратове снискивал хлеб насущный студенческой методой: уроки давал. Благо митрофанов везде с избытком. Французскому учил; наверное, смесь французского с саратовским получалась.

Бодр он, как истый галл, уверял Борщов. Ум и память твердые, на печи не лежит — лавры Вальтера Скотта спать не дают. Что такое? Да он, Савена, оказывается, пишет на своей Грошевой улице «Историю Наполеона», пишет и сам иллюстрации готовит.

Для меня корень был не во всех обстоятельствах столь удивительной судьбы, а в одном обстоятельстве. Очень оно меня занимало, да и теперь занимает. Тут вопрос из эпохи гильотины, террора. Прошу заметить: меня не внешняя сторона привлекала, не факты, не осуждение или оправдание террора, нет, другое хотелось постичь. Как и почему от этого самого террора сами робеспьеры и гибнут? Ученые трактаты, пыль архивная — это одно. А тут вдруг — в Саратове живой свидетель. И не то чтобы он в ту эпоху манную кашу ел, нет, какое там, он тогда в самый возраст вошел.

Старец был уникум. Ничего сладкого, любезного, егозящего, ничего из того, что мы французам приписываем. Напротив, суров и сдержан, говорил с оттяжкой, вдумчиво. Кожа да кости, волосы обесцвечены временем, но в глазах — блеск.

Я не ждал от Савена академического решения «проклятых вопросов». Я все академическое в сторону, ученые сочинения побоку. Мне хотелось ощутить запах эпохи террора; не разбирать, кто прав, кто виноват, а вникнуть, как бездна призывает бездну. Мне хотелось уловить жест эпохи, ее походку,

вкус. Это не мелочи. А если и мелочи, то такие, которые составляют ткань времени, но они-то как раз и исчезают вместе со временем. Остаются бумаги: декреты, депеши, газеты... Мне, повторяю, другое было нужно. А тут — очевидец! И памятливый, зоркий.

И потом, это уже позже, вот здесь, у меня на Бассейной, когда у нас с Михайловым заваривались споры о природе власти, о терроре, о праве на кровь, этот старик Савена тенью вставал...

Между тем, будучи в Саратове, я наведывался к Павлу Григорьичу Борщову. Он знал бездну, отлично рассказывал, думаю, в нем погиб хороший литератор.

Так вот, представьте, иду это я однажды к Борщову на Приютскую. Пыль садилась вместе с солнцем, вокруг багровело. Иду. И вдруг: Михайлов! Дада, Александр Дмитрич собственной персоной. Вид у него, доложу вам, был совершенно невозможный: обтерханный пиджачишко, сапожонки всмятку, картуз жеваный. Не то малый с баржи, не то из керосинового склада.

Должен сказать, что и после безумного лета семьдесят четвертого года радикалы не оставили «хождение в народ». На мой взгляд, какое-то миссионерство. Они будто высаживались с корабля прогресса на дикий берег. Они шли с фонарем социализма в руках, а дикари норовили слопать праведников. Надо заметить, Александр Дмитрич хоть и не был лишен юмора, а морщился от подобных сравнений. Впрочем, признавал, что «меньшой брат» подчас волок пропагатора «в расправу».

В тот год, о котором речь, в семьдесят седьмом, в год военный, социалисты устремились на Волгу. Если разом оглядеть всех, кто невдолге съединился в партию «Народной воли», то непременно у них за

спиною увидишь Волгу. Там, да еще на Дону, бунтовской дух чуяли. Им стеньки разины, емельки пугачи мерещились. Вот и слетались. «За Волгой, ночью, вкруг огней...»

Но, в отличие от прошлого, они теперь не бродили с места на место, а как бы вкрапливались в народную гущу. Способы были разные: кузницы и швальни, писарь с чернильницей или учитель с указкой. Разные способы. Одни угнездились окрест Самары, другие — окрест Саратова.

А тут, в Саратове, был у них пособником как раз Павел Григорьич Борщов. Он им должности подыскивал, ходатаем выступал, нужные бумаги выправлял. Вот, скажем, члены присутствия по крестьянским делам, они по теории не должны мешаться в мирское самоуправление. Да ведь кто не знает, теория одно, практика другое. Члены присутствия и не вмешиваются, а только «рекомендуют». Ну, например, рекомендуют такого-то волостным писарем. А эта рекомендация, по сути, приказ.

Но вот о чем ни тогда, ни позже я не знал, да и не узнал бы, когда б не случай, это уж совсем недавно... Был там один нотариус. Я его у Борщова, несомненно, видел, но облик смутен. Стерт, как «кудрявчик», целковый времен Петра Великого. Как его звали? Почему-то мелькает: «отчич», «дедич», смешно. Не то Прабабкин, не то Праотцов.

Он, видите ли, вхож был к начальнику губернских жандармов. Понимаете? К начальнику губернского жандармского управления. От этого Прабабкина-Праотцова польза выходила существенная. А потому выходила, что этого желал... сам полковник. Откюдь не из сочувствия радикалам, а потому, что за своих собственных детей страшился. Дети были
 взрослые, полковник-то и страшился, как бы не под-

дались поветрию. Сверх того у полковника на ближней дистанции вставал пенсион. И уж так хотелось без хлопот и огорчений дотянуть. Вот и сладилась некая цепочка. Едва, значит, нападут на след, а полковник тотчас и шепнет Прабабкину-Праотцову: дескать, не откажи, голубчик, утихомирь молодцов. Нотариус, рад служить, тотчас к Борщову, к Павлу Григорьичу, а тот — по «инстанции». Вот какой телеграф работал.

Но все-таки — это уже после моего отъезда из Саратова, на другой, кажется, год — пошли, пошли аресты. Может, полковник-благодетель дотянул-таки до пенсиона и явилась новая метла. Очень может быть, а в точности не скажу.

Итак, иду я к Борщову, а встречаю Михайлова. Вижу, и он меня на прицел взял. Однако виду не подает. Ну, думаю, ты, сударь, молчишь, и я промолчу. Не оборачиваюсь. А чувствую, затылком, кожей чувствую, что и он за мною следует. Не догоняет, но и не отстает. Черт знает почему, а меня это начало раздражать. Вот это напряжение кожи раздражать начало.

Подхожу к дому, где Борщов. За воротами кто-то фальцетом кличет: «Мань, а Мань, ступай скотину убирать!» Рядом, у ворот, на лавке — гармонист. Сидит мешком, как без костей, и попискивает, попискивает. И это тоже раздражило меня.

В ту минуту Александр Дмитрич, прибавив шагу, поравнялся. Поравнялся и вроде б сигнал подал — не то моргнул, не то кивнул, я не понял, к чему и зачем, что мне делать. А он как ни в чем не бывало косолапит мимо.

Ишь, думаю, и косолапишь-то нарочито... Тут-то мое раздражение и обернулось недобрым к нему чувством. Ах ты, картузик, гуляешь-прохлаждаешься,

а барышня-то где, а?! Это я Анну Илларионну вспомнил. Горько, обидно за нее стало. Но не только ее, а и своего вспомнил...

Я вскользь называл Рафаила, моряка моего, Рафаила Владимировича. В ту пору был он в Сибири. Э, нет, не спешите. Был он вовсе не во глубине руд, отнюдь не там, он ведь, Рафаил-то мой, не терпел «завиральных идей красного цвета» — эдак сам говаривал. Нет, носил он мундир, до конца жизни служил. А тогда служил в Сибири, на Амуре, в Сибирской флотилии. И оттуда, из мирной дали,— рапорт за рапортом: на Черное море просился, на Дунай, на театр военных действий.

Оба они в ту минуту мне и мелькнули, Анна Илларионна и Рафаил, в ту самую минуту, когда Михайлов «сигналил». И такая досада взяла, такое раздражение, что и к Борщову расхотелось. Да Павел Григорьич в окно увидал, окликнул. Неудобно. Я зашел. О том о сем, время бежит, совсем свечерело. Мне убираться пора, а я — странная штука — медлю, словно чего-то ожидаю. Сам не понимаю, чего, однако медлю.

И вообразите — дождался. Входит кухарка, подает хозяину записку. А меня как осенило: что-то, думаю, меня касающееся. Оно и точно, меня, меня... И опять-таки странность: совсем вот недавно озлился на Михайлова, а теперь будто от сердца отлегло, даже обрадовался...

Саратовский променад на Большой Сергиевской. Вернее, в Барыкинском вокзале, купец Барыкин содержал: большой такой сад, аллеи, разноцветные фонарики. Ну-с, оркестр, ресторация; там, сям беседки, террасы к Волге.

В барыкинский сад я и препожаловал на другой

 день, вечерком. Явился, как на павловскую дачу

Краевского, моего издателя, то есть в сюртуке и черном галстуке. Саратовский бомонд зевал и шаркал. Пахло духами местного разлива. И эдак еще прогрессом пованивало — дальней нефтью, слабой окалиной.

Как было велено, двинулся боковой, нижней аллеей, по-над Волгой. Смешно сказать, я чувствовал себя ужасным конспиратором, едва ль не карбонарием.

Александр Дмитрич поджидал меня, как барышню, в беседке. Мы молча быстро и крепко пожали друг другу руки. Гляжу на него: не затрапезен, как давеча, но, однако, скромнее скромного. Я в своем сюртуке и галстуке — совершеннейший франт. Он огладил себя ладонями, пояснил, чуть улыбнувшись: «Иначе нельзя. По нашей вере, Владимир Рафаилыч, «в каждой пестринке сидит бесинка». Или еще так: «рубаха пестра — антихристова душа»».

«А-а,— сказал я не без некоторого удивления,— вон что: древлее благочестие?» — и машинально предложил папиросу. Он не взял: «Опять нельзя. Хозяйка строгая, в два счета табашника выставит».

Он осведомился, какими судьбами. Я ответил, не задавая встречного вопроса. Он еще о чем-то, но рассеянно, из вежливости. Вышла пауза. Я чувствовал, чего он ждет, но первым не хотел. Но только, если б он не спросил, я обиделся бы, рассердился. И он спросил.

Господи, чем я мог его обрадовать? Последнее письмо Анны Илларионны давно было, с тех-то пор пропасть дунайской воды утекло... Мы оба пригорюнились. Я думаю, нет, уверен, знаю: то были мгновения нашей особой близости, личной, интимной. А такие мгновения, вопреки сущности мгновений, не исчезают бесследно.

Спустились к Волге, пошли берегом. Моя безгласность, то, что я не выспрашивал, не задавал вопросов, а главное — минуты молчаливого душевного сближения, они-то, надо полагать, и растворили уста Александра Дмитрича. Мы шли у самой воды, узенькой тропкой, я слушал, не перебивая.

Тут бы мне и потешить вас косыми лучами заходящего солнца, что-нибудь там о плеске, запахах разнотравья; щегольнуть бы наблюдательностью, тонким знанием родной природы. И прибавить бы неизменный «реквизит» — несколько фраз о музыке в барыкинском саду, о «чарующих» звуках, которые лились оттуда, сверху. Я, однако, изложу голую суть. Выйдет, наверное, как с кафедры. Но «лекция» необходима.

3

Думаю, не призабыли, что до отъезда на Волгу Михайлов «по книгам бродил»? Да, усердно и много бродил. И вот какого свойства свершалась в нем мыслительная работа. (Я бегло, схемой.)

Раскольники есть хранители народного духа, а народный дух есть протест. Века чиновничьей муштры не оборвали главную струну, звучит она, трепещет. И основная тема раскола в том, что Русью завладел антихрист: выпросил сатана у бога Русь и окрасил ее кровью мучеников... Вы вслушайтесь: выпросил и окрасил кровью. Не чуется ли громадная глубина? И не здесь ли смысл таких судеб, как у героя моего рассказа?

Раскол, знаете ли, ветвист. Если обозревать ветви и сучки этого старого, кряжистого, раскидистого древа, то сидеть нам до второго пришествия. А нам бы соблюсти михайловскую линию, которая пролегла

тогда в пристальном рассмотрении крамольного элемента раскола. Именно крамольного!

Антихрист завладел Русью. По твердому разумению раскольника, дух богомерзкий воплотился во «властодержцах». Власть и есть антихрист. Раскольники не молятся за царя, отметают вмешательство государя в дела веры. Весьма рельефно изъясняются: «Как архиерею неприлично входить в распоряжение войском, так и государю не следует касаться веры». И ничего не возразишь: архиерею, оно и точно нечего соваться в стратегию, а?

У нас вот, у тех, кто лишь по расколу скользнул, у нас какое впечатление? Мы видим две стороны, они выпирают. Сколь ни ужасен кромешный фанатизм, все эти самосожжения и прочее, как ни стынет от них в жилах, а ведь это — пассивное сопротивление. Это раз. А вторая сторона, бьющая в глаза,— это какая-то окаменелая приверженность к букве преданий, к букве веры. Однако если глубже, если внимательнее... Темные скрижали раскола нет-нет да и озарялись ярким светом. Я о том, что история раскола знает и «открытую брань» с антихристом, знает «творящих брань». Были примеры, были.

Что до окаменелости, так сказать, теории, то она, конечно, была и есть. Но не сплошь. Вот послушайте, каково сказано: «Писание — меч обоюдоострый; все еретики писанием изуродывались». Понимаете ли, куда клонят? Или еще: «Вера Христова присно юнеет». «Юнеет» — вкусно сказано, а? И здесь уж... Чувствуете? Да-да, справедливо изволите замечать! Совершенно справедливо: рационализм, именно рационализм. Пусть и религиозный. Выходит, известное допущение свободы исследования.

Да, забыл. Хотя и без того ясно, но подчеркну: отрицание церковной иерархии. Они, знаете ли, как

рекут: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». То есть что это? А то, что мерилом правды объявляется твое сердце, твоя совесть...

К Михайлову возвращаюсь, к Александру Дмитричу. Душа его на многое в расколе отозвалась. Вы скажете: человек практический, заговорщик, ну и приметил горючий материал. Верно, натура практическая. Он и на Волгу-то, в Саратов, в уезды подался, чтоб раскол узнать не книжно, не из вторых рук (кстати, подчас нечистых), а воочию. Так, верно. Но позвольте, я о душе продолжу. Я это неспроста: душа аукнулась с расколом. А разум, а практика — это еще речь впереди.

Как хотите, а я угадывал в нем сродство с Аввакумом. Давно известно: велика и обильна Россиюшка. Одним тоща: характерами. А тут — характер, какой характер! «Никого не боюся: ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диавола самого!» Характер: иди и сразись; кровь твоя прольется, но это будет праведная кровь. Слышите — упираю: т в о я кровь. Вот суть: твоя кровь прольется. Это запомните, потому что вскоре о ч у ж о й крови вопрос встал...

Да, характер редкостный. Поныне здравствующий Спасович... Вам имя, конечно, знакомое? Он, он! Король адвокатуры, ума палата. Владимир Данилыч чуть ли не на всех политических процессах выступал, насмотрелся на революционеров. Так вот, ни одного, понимаете ли, решительно ни одного, даже Желябова, не ставил вровень с Александром Дмитричем. И как раз по силе характера, по чистейшей, без пылинки, преданности идее.

В Саратов, на Волгу Михайлов отправился, повторяю, затем, чтобы изучить возможного союзника.
 Сам признавал: поначалу сомневался, удастся ли,

Он знал: раскольники — великие конспираторы, народ недоверчивый, вечно настороже. Как сойтись, как своим сделаться?

В Саратов он явился еще до Благовещенья. Грязь невылазная: ни конному, ни пешему. Какие тут разъезды по деревням? И Михайлов прилепился у какого-то сапожника, в семье сапожника, в углу, за ситцевой занавеской.

Вы, конечно, наслышаны о ходебщиках в народ. Безоглядный альтруизм, не требующий ни похвал, ни наград. Все так, так. Но вообразите, каково образованному человеку в роли простолюдина. Вот бы вас сейчас да вдруг из этой комнаты, чистой, светлой, теплой, вот бы сейчас — в избу. О нет, не чайку попить да лясы поточить с мужичком, нет, на житье бы, а? И чтоб исподнее в занозистой костре. И чтоб обувка пудовая, в навозе. И чтоб, извините, отхожее место на дворе. А вода для питья не пропущена через винтергальтеровский фильтр, как у меня на кухне. А вонь, а брань, а насекомые? Извольте-ка телесно, кожей ощутить! Я вам не идею «хождения», не политическую или нравственную сущность, я другое хочу оттенить: мелкую, вседневную, грубую обыденность...

Не утверждаю, что Александр Дмитрич в малолетстве на золоте едал. Однако был ведь и просторный родительский дом с большой залой; был хутор, там и зайчишку потравить с собачкой Дианкой, а ежели на Петра и Павла, в сенокос, тоже хорошо, как Левину у графа Лёв Николаича, в полное, значит, ощущение жизни.

Стало быть, первые впечатления бытия у Александра Дмитрича совсем розовые. Но вот он покидает гнездышко, матушку с батюшкой, Путивль с утками, петухами, каштанами, все это он покидает

и — в древний, преславный Новгород-Северск едет, в гимназию.

Школьное ученье мы в наших беседах как-то не тронули. А жаль. Потому жаль, что зарницы, то есть многое из будущего, уже в классах возникают.

Да, не пришлось мне с ним о гимназии толковать. Мир, однако, тесен. Барон Дистерло... Сейчас поймете.

Так вот, этот Дистерло тоже учился в Новгород-Северске. Потом, универсантом, слушал курс на юридическом. Михайлов, сдается, не дружил с ним. Но здесь, в Петербурге, провинциалу каждый земляк, каждый однокашник — праздник. Наконец, для легальной переписки на случай оказии годился и Дистерло.

Я об этом знать не знал, да мне, собственно, без надобности. Но вот однажды... Это уж после смерти Александра Дмитрича... Однажды кланяется мне в редакции такой белесенький, сухопаренький, чистенький. Оказывается, барон, служа в сенате, на досуге кропает критические статьи. Я с редакционной машинальностью спрашиваю: «Какие, позвольте полюбопытствовать?» Он тотчас — пожалуйста, вот, вот и вот-с...

Должен признать, пером владел. А направление было скверное. Этот Дистерло выгодный, ко времени ракурс избрал: бранить литературу шестидесятых годов. (Я имею в виду настоящую литературу, вы меня понимаете.) Словом, юрист этот принадлежал к тем мужам, которые корень зла усматривают в правдивом изображении жизни человеческой.

На дворе тогда сильно подмораживало, я говорю о политической погоде. В открытую с ним объясняться я поостерегся. Однако морщусь. Он было несколько смутился, но крылья не опустил. Воздвигая дока-

зательства, сослался на пример сверстников, загубленных-де литературой.

Вы, конечно, догадываетесь: он назвал Михайлова. А другой, кто другой — никогда не догадаетесь... Кибальчич! Так, так, так, он самый: изобретатель метательных снарядов, которыми и свершилось происшествие первого марта. Именно тот Кибальчич, который кончил на эшафоте вместе с Желябовым и Перовской.

Вот как нити сплетаются, господа. И Александр Дмитрич, и Кибальчич, и этот Дистерло — одной гимназии! Разумеется, я встрепенулся. Барон трепет мой отнес на счет убедительности собственных построений. Я не перечил, а просил подробностей: они, мол, убедительнее голых рассуждений.

Про Михайлова он вот что... Впрочем, сперва о Кибальчиче, а потом — к Александру Дмитричу. Нет, я и сам могу немножко. Я Кибальчича встречал, видел. Но я, понятно, не знал, что этот корректный человек и есть главный техник «Народной воли».

Я не знал, что Кибальчич — Кибальчич, я знал «Самойлова»: это псевдоним. Он сотрудничал в журнале «Слово». Я иногда заходил в редакцию, заставал и «Самойлова». На нем нельзя было не остановить взгляда: лицо той особенной бледности, которую в старину называли «интересной». И скромность. Не робость или конфузливость, а достойная скромность. В нем не было бойкости, никакого неряшества, от него веяло добротным европеизмом. Помнится, он был молчалив. Если не ошибаюсь, он писал еще и для «Мысли» Оболенского...

А барон Дистерло знавал Кибальчича гимназистом. Два поступка придали его имени ореол. Так сказать, всегимназический ореол. Кибальчич публично, в присутствии соучеников, изобличил ментора во

взяточничестве. Ментора звали — Безменов. Вот вам опять нити: спустя какое-то время сей Безменов сделался... свояком Михайлова: женился на его младшей сестре. (Анна Илларионна была знакома с семьей Безменовых.) А потом другое: Кибальчич вступился на улице за мужичонку да и наградил затрещинами не то городового, не то, бери выше, квартального. Правдолюбца — опять в карцер. Однако не выгнали: учился блистательно.

А главное, к чему и вел Дистерло, памятуя свою «критическую» задачу, главное-то в том, что Кибальчич был устроителем тайной гимназической библиотеки. Школяры вскладчину раздобылись Чернышевским, Добролюбовым, «Колоколом». В этом деле рядом с Кибальчичем подвизался Михайлов.

Когда Дистерло заговорил об Александре Дмитриче, в голосе барона зазвучало сожаление. Искреннейшее притом, да-да. Если б, заявил он, Михайлов не объелся революционной белены, непременно бы вышел в государственные мужи крупного калибра.

Вообще получалась некая двойственность. Барон презирал, ненавидел «красные идеи». А вот носитель этих идей, скажем Михайлов, не вызывал в бароне ни ненависти, ни раздражения. Говоря об Александре Дмитриче, Дистерло был очень серьезен, я бы сказал, печально-серьезен.

Он, этот Дистерло, не был Михайлову панегиристом, но верно обозначил черты юношеского облика. И что кардинальное? Власть идеала. Где-то там, в захолустье, в давно захиревшем Новгород-Северске, среди луж и обшарпанных стен, там где-то ходит, бродит гимназист и формулирует смысл жизни. О, не улыбайтесь! Он формулирует, этот путивльский медвежонок: жизнь дана не для твоего счастья, а для облегчения несчастья других...

Однокашники, они себе знай дурака валяли, они по ночам, крадучись, бранные афишки на дверях классного наставника лепили, а тут — смысл жизни, счастье и несчастье!

Надо отдать должное, Дистерло метко подметил «пружины» своего приятеля-неприятеля. В чем меткость, спросите? А в том, что отмел честолюбие и самолюбие. Нет, не они фундаментом, а — самоуважение. Ничего на свете так не трепетал, как падения в собственных глазах. И ничего ему не было гаже потери самоуважения.

Еще черта: потребность покровительствовать слабым. Э, нет, не благодушие, не просто щедрость сильного, хотя и это, конечно, было. Но доминантой — принцип: оборонп слабого. Он водил дружбу с теми, кто беззащитен. И не делал различия по племенному признаку. У них в гимназии учились и еврейские мальчики. Мягко молвить, относились к ним худо, отравляли-таки существование. А Михайлов, оказывается, неизменно выступал драбантом, охранителем. Впрочем, улыбался Дистерло, ему-де не так уж и дорого обходилось заступничество — ловок был, бес, кулаком гвоздил превосходно...

Я слушал Дистерло, слушал и думал: отчего все-таки один делается Михайловым, а другой — Дистерло? Вот говорят: обстоятельства, среда и прочее. А тут и почва одна, и условия одни, солнышко одно, а стезя разная. Задача, по-моему, со многими неизвестными. Может, и вовсе тупик. Я полагаю, есть таинственный закон, распределительный, что ли. Такой-то, скажем, процент консерваторов, а такой-то — бунтующих. А? Как полагаете? Нет, право, таинственный закон соотношения темпераментов, наклонностей, талантов. Не то чтобы спрос и предложение, а высшая гармония, чтоб не заглохла нива жизни...

Уф, господа, как в буран попал, совсем с пути сбился. Начал-то я с того, как приходилось ходебщикам в народ. Не о том, что́ им грозило от властей, а каково приходилось в повседневности.

Александр Дмитрич, повторяю, ни в детстве, ни в юности на золоте не едал. Однако и не в хлеву рос. Были у него потребности культурного человека, элементарные гигиенические привычки. А тут приезжает он в Саратов — и поселяется в углу, за ситцевой занавеской, обок с сапожным товаром, драными бахилами, вонючими сапожищами.

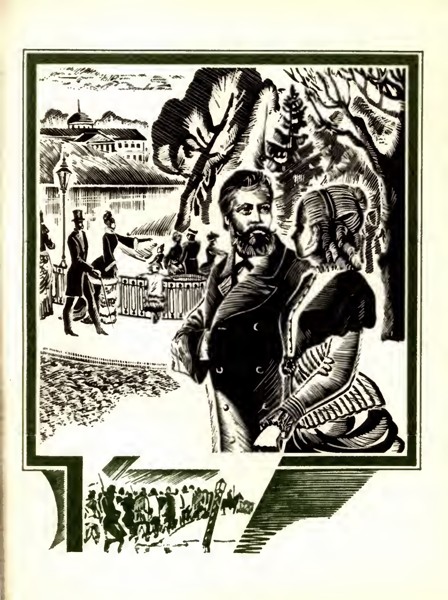
Усмехаетесь, господа? Мол, люди этого разряда внимания не обращали. А я отвечу: рахметовское ложе «из принципа» — это одно, а грязь и мерзость — совсем иное. Телесные ощущения, они с принципами мало считаются. Нутко вообразите себя в условиях, где дневал и ночевал ходебщик в народ?..

Однако продолжаю. Стало быть, мерк летний вечер, и там, наверху, оркестр музыки играл вальсы, а рядом лежала волжская вода, и я слушал Михайлова.

Жил он в Саратове, выдавал себя приказчиком по хлебной части из Москвы. Война, известно, приглушила торговлю, начались затруднения с куплей-продажей; тут-то многим приказчикам — пожалуйте расчет и на все четыре. Почему бы такому и не повычить на матушке на Волге?

На дворе весна все шире. Дни росли. Михайлов — спозаранку из дому. Знакомился, приглядывался. В трактирах тянул с блюдца, сахарок посасывал; на базарах меж возов толкался; на пристани с людьми о том о сем, воблой об каблук или о причальную тумбу, а сам все выспрашивает о ближних уездах — что да как.

Саратов весьма подходил для изучения раскольников. Там, знаете, любые согласия встретишь. И по-



морское, и филипповское, федосеевское, спасовское. И страннические, самое Михайлову желанное. Странники, так сказать, партия бегунов, или, по-тамошнему, подпольное вероучение. Сдается, Михайлов немало от них перенял по части конспиративной, заговорщицкой. Я еще к этому ворочусь.

Михайлов не прижился у сапожника. Хозяин-то, пролетарий, был горластым запивохой, жену чем ни попадя колотил. Скандалы, крик, слезы — не велика радость. И желание уединения. Вот, судари мои, еще одна потребность культурного человека. Мы и не примечаем, оттого что нам ничего не стоит затворить за собою двери...

Сыскал он каморку. Это уж совсем на краю города. Хозяйка была канонического возраста, тихая, опрятная. И тут-то Александру Дмитричу, что называется, повезло. На ловца и зверь бежит.

Перво-наперво зоркий его глаз остановился на цыдулечке в рамке под стеклом. Висела она рядом с образами и была озаглавлена: «Известия новейших времен». Ниже, столбиком, печатными славянскими буквами — афоризмы. По мнению Михайлова, весьма меткие. А главное, клеймившие то, что и ему хотелось клеймить. Да, вот еще: первая их часть — красным, а вторая — черным. Вот так, скажем: «Правда — пропала», «Помощь — оглохла», «Справедливость — из света выехала», «Честность — умирает с голоду», «Добродетель — таскается по миру». Ну и так далее. А внизу, перед тем как «аминь» выставить, резюме. И очень недвусмысленное и Михайлову желанное: «Терпение осталось одно, да и то скоро лопнет».

Хозяюшка была староверкой. Теперь уж Александр Дмитрич сделался домоседом, случайные беседчики ему без надобности. Она тоже присмотре-

лась. Видит, человек хоть и молодой, а смирный, кроткий, спиртного и табачного не приемлет. Еще пуще обрадовалась старая, обнаружив в жильце внимательного слушателя.

Как «теоретик» старушка не блистала, но Михайлову другое подавай: какие согласия в каком из уездов, как там иль там относятся к «мирским», к православным, что думают о «последних временах».

Я бы соврал, утверждая, что рассказ его меня сильно заинтересовал. Честно говоря, не видел серьезного, игра какая-то... А серьезное тут и присутствовало. И вот в чем оно было.

Громадная мысль жила и крепла в душе Михайлова. Лучше бы даже сказать не «мысль», потому что куце и коротко, а лучше так: особое умонастроение. Я сейчас объясню. И ручаюсь, его же, Михайлова, словами объясню. Уж очень они меня поразили.

Александр Дмитрич не то чтобы помышлял, мечтал и грезил, нет, в его душевной глубине зрела особая религия: народно-революционная. Что сие значит? Народные требования вкупе со старонародными верованиями. То есть это не только использование раскола в революционных целях, не только голая практика, а это нравственная основа. Вот в подобном-то слиянии и прозревал Михайлов живокровную силу.

Он сказал: «И тогда бы мир опять узрел искупление через веру». О, как это было произнесено! Негромко и проникновенно, господа...

И мир опять узреет искупленье через веру... Сокровенная сущность русского бунтаря. Тут вместе и нерасторжимо — крест и мятеж. Крест как символ искупления, и революция как выражение святого

 гнева... Это потом, когда бомбы и подкопы, потом я

стал думать, что икона и топор несовместны. Потом, спустя время, а тогда меня поразила эта слитность.

Теперь — напоследок — заметьте следующее: Михайлов сказал — «мир увидит». Не одна, стало быть, Россия, нет, целый мир. Из России увидит мир искупление. Увидит и примет.

Задумайтесь. Становой хребет здесь, капитальная идея: мир обновится, избавится от зол и бед через Россию, посредством России. Искупление Россией, вот что, господа, здесь.

У каждой нации своя партия в оркестре человечества. У каждой своя миссия. А тут совсем иное: не миссия, а мессия. Дистанция неимоверная.

Но вот вопрос вопросов: к добру иль не к добру?

Я стар, и я сомневаюсь. А вы... вы решайте. Вам еще много земных дней отпущено.

4

Случайно ли вышло наше рандеву? И так и эдак. Случайно потому, что после зеленых святок, а может, и раньше, до Троицы, Александр Дмитрич ушел в уезды, по деревням. Ну, а с другой стороны, и не случайно: от времени до времени он наведывался в Саратов.

Ему, конечно, надо было завернуть к адвокату Борщову, вызнать у Павла Григорьича: не натягивает ли тучу из жандармской канцелярии? Однако не только эта причина.

Я уже упоминал: на Волгу отправились многие землевольцы. В Саратове, и главным образом усердием Михайлова, завели они конспиративные квартиры. Александр Дмитрич называл их тогда по-раскольничьи: «пристани».

Понятно, тайными убежищами заговорщики испокон века пользовались, но Михайлов всегда отличался споровкой в приискании таких берлог. У староверов особой «породы», у бегунов, эти самые «пристани» как содержались? А так, чтобы и ямы под лестницами, и двойные кровли, иногда каморы за двойной стенкой в избе. Есть деревни, где все дома соединены потайными ходами, а последний дом имеет подземный ход в сады, в перелесок, в овраг.

Разумеется, у землевольцев таких «пристаней» не было, но конспиративные квартиры устроили они ловко. Впрочем, и потом, в Петербурге, Александр Дмитрич имел за подобными убежищами самый недреманный надзор.

Так вот, от времени до времени он и наведывался в Саратов, что называется, «проветриться», обменяться мнениями с друзьями, ревизовать конспирацию. В этом пункте он всегда играл первую скрипку.

Про его хождения по весям передам, как слышал от самого Михайлова.

Итак, вообразите-ка нашего героя на дорогах-проселках, вообразите среди полей, в вёдро и дождик. Вот идет он себе да идет. «Корсетка» на нем, то есть коротенький кафтан со сборками назади, а к полудню без «корсетки», в одной рубахе. На затылке картуз, за спиною мешок с пожитками.

Или, смотришь, подсаживается на попутную телегу к какому-нибудь Астаху. Тут и разговор по душам: «Эх, мил человек, у нас в деревне тебе, чай, покажется глухо...» Тут и баском подтянуть можно: «Что ты, да Саша, да приуныла...» А то вдруг — стоп: слезет возница, потычет в колесо, выставит диагноз: «Ишь хряпнуло...»

Михайлов приглядывал места будущих поселений. И себе приискивал, и товарищам. Прожег сотни

верст — из уезда в уезд, из уезда в уезд. Сотни, не для красного словца, а вправду.

Что такое странствующий рыцарь? А это, судари мои, по определению Санчо, такая штука: только сейчас его избили, а не успеешь оглянуться, как он уже император. Мой рыцарь битым не был, однако впросак попадал.

Ритуал соблюдал в точности. В раскольничьем доме держался как человек свой «по вере»: так и сыпал реченьями из писания; двуперстием знаменовался, а не щепотью; плат расстелив, бухался разом на оба колена и ну отбрасывать поклоны.

Забыл сказать: раскольники нипочем не примут «бритоуса»; не примут, хоть ты в ихней теологии двух собак съешь. В Саратове Михайлов был при бороде и усах, чуть рыжеватых, крестьянских, обыкновенных. Потом, в Петербурге, он внешность изменил, подстригался фатовским манером. И усы у него были, как выражаются в Гостином дворе, «хорошо поставлены».

Принимали его у раскольников ласково, «по братии». Однако вышла осечка. Тут вот как обернулось. Был у революционеров уговор не увлекаться пропагаторством, а перво-наперво гнездиться. Но душа-то апостольская — алкала проповедовать. Михайлов и попытался.

Пришел как-то в раскольничью деревню. Там водяную мельницу сдавали в аренду. Александр Дмитрич стал рядиться, а пока суть-дело, жил у мужика в избе.

Мужик попался умный. Он не был наставником, но ум и некоторая начитанность влекли к нему посумерничать не только «братьев», а и «сестер» в этих, знаете, темных платках, повязанных по-скитски, в роспуск.

Человек пришлый, но «по вере», кажись, свой, да еще и чуется в нем знание древлего благочестия, Михайлов любопытен им был.

Он и повел речь в том смысле, что раскольников, оно точно, власти преследуют, но «чепи брячаху» всюду, а не только на раскольниках. Гнетут весь народ, так-то, братья, так-то, сестры... Засим перекинулся к царю. Присные лижут царя, всю душу и слизали. Они-то, царь и присные, источник всей муки мученической. А далее — «символ веры»: земля — крестьянам, тем, кто на земле пот льет; равенство пред законом — «да единако нам бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияют равно»; наконец — самоуправление. И замкнул тезисом: необходимо, братья и сестры, положить душу свою за други своя...

Александр Дмитрич утверждал, что рассуждения эти сделали известное впечатление, но неприятно поражала сдержанность, монашеская какая-то сдержанность. А вернее было б сказать: узость кругозора. Воздыхали: «Время приспе неослабно страдати», «Многими скорбьми подобает внити во царствие небесное».

Прорывалась, правда, и реальная обида на реальную власть, на реальные утеснения. Кто-то даже примолвил, что и вооружиться-де не велик грех. Но, увы, не только общего порыва, но и общего мнения не возникло. «Обсудить, обсудить надо».

Александра Дмитрича бодрила аналогия с революционными кружками. «Поди, поди обличай блудню» — и он опять приступал, и опять.

Однажды на эти посиделки возьми и пожалуй «сам» наставник-руководитель. Пришел, бороду выставил, прищурился: «Как вас звать? Откуда вы?»

 Глядел нагло, а говорил тихо и ни разу на «ты».

Завязался диспут: смирение или сопротивление? Оба ссылались на писание, и тот и другой. Слушатели плотно держали сторону наставника — и привычнее и надежнее. Пришлый-то человек нынче здесь, завтра ветер унес, а наставник, он тебя ежели и не дубьем, то рублем непременно достанет. Впрочем, слышались и голоса в поддержку пропагатора: необходимо, конечно, «оживлять дух смирением», но не следует и лицемерно относиться к учению Спасителя. Ощутилось, словом, шатание.

И тогда смиренномудрый наставник сказал Михайлову: «Если бы я не понимал, как должно, Евангелия, то сейчас бы донес на вас становому». Александр Дмитрич не поспел рта открыть, как вступился Максим, мужик, у которого Михайлов квартировал: «Зачем доносить? Ведь он не за себя хлопочет, а за весь народ».

Тут уж публика, как всегда при «запахе» доносительства, вроде бы заскучала, к домашности ее потянуло, разошлась.

В ту пору полицейские надзиратели регулярно рапортовали губернатору: честь имею донести вашему превосходительству, что по селу такому-то все обстоит благополучно. Михайлову, разумеется, не было резона дожидаться, пока в губернию полетит иная бумага: не все-де благополучно. Он и думать забыл о водяной мельнице, давай бог ноги...

В конце лета он в Москву ездил, это было необходимо. (Он в Москву, а моя Анна Илларионна — в Саратов, вот и разминулись!) Про московский его визит — я позже, а сейчас продолжим «хождение», минуя московский антракт, чтоб покончить с этим сюжетом.

Ну хорошо. Бродячая жизнь открыла ему глаза на многие стороны народного быта, народных нужд,

о которых никогда бы не узнал из книг. Это одно. А есть и другое, опять связанное с расколом.

Мой рыцарь восхищался, помню, одним деревенским стариком. «Я был очарован...» (Слово-то в его лексиконе редчайшее: «очарован».) Так вот, очарован был стариком этим: много-де я видел интеллигентных лиц, а такого никогда не видел...

Было так. Вечерело. Михайлов едва брел — верст сорок отломал. Село близилось, дымом тянуло; с полей возвращались. Поравнялся с ним вот этот старик. Александр Дмитрич справился, есть ли у вас постоялый двор. Старик ответил. Разговорились. На околице старик и приглашает: «Зачем постоялый? Загляни, мил человек, ко мне». А почему такое приглашение? Михайлов-то знал, что в селе живут раскольники-бегуны, дал это понять спутнику. Тот глянул на него сочувственно, вот и пригласил.

Приходят. Бабы на стол собрали. Александр Дмитрич, как полагается, из своей посудины, особняком. А после удалился на двор — молиться... Совсем свечерело, избу луна осветила, все затихло, а он со стариком сидел на лавке, и старик рассказывал про житье-бытье.

Старик долго искал правой веры: «Все веры, мил человек, прошел, а правой-то нету; которые есть, что раскольничья, что никонианская, — лицемерие, обряд без любви к людям, без бога. И вот, слышь, лет тому двадцать пять объявился у нас старец, да и зачал учить: не по-христиански живете. Надобно, чтоб все общее — и житье, и питье, и жилье, и работа...»

И вот эти-то мужики, и этот, значит, рассказчик — все они бросают свои избы, перебираются со скарбом и домочадцами под общую кровлю, скотину сгуртили — словом, все как по писаному, по говоренному. И зажили. Пашут вместе, сеют вместе, вместе

жнут. А к вечерней звезде — сойдутся, молятся, беседуют, и все-то у них ладом, все по-хорошему. Жили дружно, рассказывал старик, очень дружно, по закону правды и совести. (Вы понимаете, что для Михайлова подобное свидетельство значило!)

Ну-с, а дальше? А дальше стали матери замечать, что детишки чахнут, хиреют, потому что большую часть времени — в школе. Школу держал тот старик, «учитель жизни», со своими взрослыми дочерью и сыном. А были они, эти воспитатели-пестуны, зело суровы, на малых взпрали как на взрослых... (Между нами, я думаю, они делали опыт взращения смиренников для будущей общины. Метода более пагубная, нежели классическая...) И совершенно заморили детей постами, бдениями, молитвами. Матери взбунтовались: не хотим! Возникла трещина. Она все ширилась. Школа распалась, а затем и общее согласие рухнуло.

Александр Дмитрич эту историю так резюмировал: если б не суровый аскетизм старика учителя, то был бы на земле мир, во человецех благоволение. Получалось, что принцип праведен, да вот случайные обстоятельства все загубили.

Услыхал я про волжскую эту фаланстеру и вспомнил Петрашевского... Несчастный Петрашевский был нашего, одиннадцатого курса. После лицея мы както потерялись. Минуло года четыре... нет, пожалуй, все пять, делает он мне визит. По-прежнему глядел сентябрем, сумрачный был.

Корпоративный дух тогда был силен, не в пример нынешнему, это точно. Вы навряд знаете, а Толстой, министр, на что чугунный, а и тот не хотел трогать Салтыкова: однокашник, лицеист! Я это к тому, что Петрашевский, несмотря на долгий перерыв в наших отношениях, тотчас вручил мне свой знаменитый

«Словарь», уже запрещенный. Мало того, пригласил на вечера свои по пятницам.

Жил он у матушки, угол Садовой и Покровской площади, так что мне было сподручно посещать «пятницы». (Благо там отменно ужинали; отменные ужины не мешали беседам о положении мужиков-горемык.) Я, однако, посетил одну-единственную «пятницу». Не от испуга, этого не было. Страх пронизал, когда всех арестовали, когда и меня, раба божьего, под белы руки — да в крепость... А тогда не страх, не испуг, а, так сказать, из бережливости собственного времени. Видите ли, у них там, у Михаила Васильича, за трапезой толковали о социализме. А эта теория всегда казалась мне красивой грезой, и только.

Мой однокашник для будущей фаланстерии избрал свою деревушку — десяток дворов, полсотни душ. В медвежьих новгородских чащах. (Почему-то запало в память: на опушке соснового, корабельного бора...)

Предлог сыскался: староста попросил барского лесу — чинить избы. А барин обрадовался: постой, зачем чинить рухлядь? Берите-ка лесу, сколь хотите, хижины долой, да будет одно общее просторное помещение, а в нем покои для каждой семьи, и общая зала для всех вместе. Стройте, мужики! И хозяйствовать будете вместе. Об утвари, об орудиях не беспокойтесь — барин купит... Гармоническая жизнь мерещилась Михаилу Васильичу. Он наперед ликовал. Искренне, чисто ликовал.

Проходит время. Встречаю Петрашевского на Невском. Дождь, мрак. Бородища, как у Черномора, шляпа нахлобучена, палкой стук-стук-стук. (Борода — прямой по-тогдашнему вызов! Ведь было еще
 четверть века до новой эры, до высочайшего разре-

шения чиновникам, да и то не всех ведомств, носить бороды.)

«А-а, здравствуй,— говорю,— здравствуй, Петрашевский! Что не зайдешь? Как твой опыт?» Он сморщился, будто дичок надкусил: «Вообрази, экие дикари, экие мерзавцы! Сущие звери!» Я — тормозом: «Что такое? Объяснись толком. Неужели посмели отказаться?» Он посмотрел на меня недоуменно: «Да как бы они посмели, если барин приказал?!»

Выходит, мы оба — и я, Фома неверующий, и он, социалист,— оба мы будто лбом в стену: да как это, черт возьми, о н и смели не поверить, что им блага желают, что для них в с е м жертвуют, и ужином на Садовой жертвуют, и карьерой в министерстве иностранных дел жертвуют, и всем петербургским жертвуют, ничего для себя не требуют и ничего не желают, а о н и не верят. Нет, мужики не посмели отказаться. Возвели фаланстеру. Петрашевский, как обещался, все доставил.

И вот на Невском, стуча палкой, бородой ворочая, говорит: «Вообрази, Зотов! Что они со мною, звери, сделали?» Голос Петрашевского прерывался: «А вот вообрази! Я уснул со сладким сознанием исполненного долга. Просыпаюсь чуть свет, тороплюсь к открытию фаланстерии, а там — черным-черно, головешки мерцают: ночью спалили, дотла спалили...»

Горе было для него, крушение. И вспомнил я об этом потому, что вижу общее в его опыте и у тех раскольников, про которых Александр Дмитрич рассказывал. Пути разные, а крушение общее. Петрашевский, так сказать, учредил фаланстерию свыше, раскольник — уговорил, увлек. А результат один, потому и вспомнил.

Ах, Петрашевский, фантазер, чистая душа... Кстати, вот что. Впрочем, может и не совсем кстати, но

к слову. На примере Петрашевского отчетливо виден один штрих, резкий и постыдный: каждого у нас точит страх тайной полиции. Ежели человек в открытую высказывается, мы первым делом вздрагиваем — уж не шпион ли? Вот и Петрашевского подозревали. Он пожелал сделаться членом общества посещения бедных. Я там состоял, он и просил ходатайствовать. Я, разумеется, исполнил. И что думаете? Отказали. Отказали именно из-за подозрений. И опять наша, домашняя черта. Во главе общества был князь Одоевский. Отнюдь не «красный», совершенно положительной репутации, с точки зрения власти. И отказал: тоже опасался агента тайной полиции. Уж ему-то чего было, а нет... Где еще такое встретишь?..

Забредает однажды Александр Дмитрич в другую деревню. Стояла духота перед грозой. Встречается мужичок. Михайлов: «Здорово!» Тот: «Ну, здорово, коли так... Чего тебе?» — «Да я, брат, может, лавку спроворю...» Мужик поскреб затылок. «Эт-та можна-а-а». И жестом, повсеместно известным, дает сигнал: «Эвон, недалече, сердешный...»

«Сердешный» всегда недалече. А во-вторых, русскому человеку сомнителен человек непьющий. И Михайлов не перечил. Сели в кабаке. Мужик оживился, грудь колесом. «Я-де все могу, я,— говорит,— не гляди, что голытьба, меня все богатеи-стервы у-у-у пужаются, никому от меня спуску». Александр Дмитрич косится — кабатчик, еще какие-то, а мужик и ухом не ведет. Градус в нем играет. «Война,— говорит,— в раззор разоряет, калек да нищих как из кузова посыпало...— И заскрежетал зубами: — Возмущенье скоро будет, берегись!» Александр Дмитрич тихонько: «Почему так думаешь?» — «А потому, год Пугача наступает». «Какой год Пугача, дядя?» — «А такой год, тетя, когда бар изведем наскрозь!»

Тут надо прибавить: в этих самых уездах, когда пугачевщина гуляла, Пугачев ловко раскольниками пользовался. Стенька Разин так-то не умел, а Емелька — умел... Короче, Александр Дмитрич обрадовался: чего желал услышать, то и услышал.

А вскоре обрел он наконец место стоянки. Называлось очень мило — Синенькие.

5

В Синеньких погребальный колокол звонил. Панихиду служили по каким-то местным барам. И опять Михайлову имя Пугача прошелестело. Отступая, Емелька повесил тамошних дворян. И вот второе столетие ежегодно служили здесь за упокой души таких-то и таких-то. «У попа дворяне на языке, а у народа Емельян Иваныч на уме. Добро!» — подумал Александр Дмитрич.

Синенькие ему приглянулись: от Саратова верст сорок; хотя, как мужики изъясняются, обыденкой и не обернуться, но и не так далеко. Село — людное, торговое, волжская пристань. А в-третьих, раскольники почти всех согласий.

Зажил в землянке, вырытой у оврага. Землянка о два покоя, для «класса» и для учителя. Большая землянка, с окнами. Окнами в овраг глядела, а там растрепанные кусты, сумрак, черный ручей. Осень кончалась, вот-вот зима ляжет.

Восхищаются святостью служения народу и в народе, а как-то призабывают об осенних дождях, о снегах, непогодах, о пустых полях и раскисших дорогах, не думают, что вот из такого оврага подступает да и грызет, грызет ужаснейшая тоска. Небо низкое, тучам нет конца. Великое сиротство...

Думаю, и Александра Дмитрича тоска грызла. Но держался стоически. Другой бы бросил, махнул рукой, а он нет. У него один из принципов: коли нужно, значит, должно. Он, помню, утверждал даже, что сочинял бы стихи, поручи ему партия сочинять. (Слава богу, не поручала.)

Там, в Синеньких, в землянке он ребятишек учил. Спасовцы, раскольники, его учителем наняли к своим ребятишкам. Учил славянской азбуке, письму учил, читать псалтырь. Семь-восемь часов каждый день. Не даром хлеб ел.

Да штука-то в том, что учитель сам жаждал ученья. Конечно, главное было — проникнуть в мир раскола, в душу раскольников: чем дышат, что думают, на что уповают? А в Синеньких, я говорил, поприще обширнейшее — всякие согласия.

Учил Михайлов ребятишек раскольников-спасовцев, а потому, понятно, и сблизился со спасовским наставником. Человек был местный, из Синеньких. Михайлов его очень хвалил: развит более окружающих, не чужд вопросам нравственным, любитель и знаток духовных книг, дока по части мирских, крестьянских дел.

Школьное свое учительство Александр Дмитрич называл хотя и немудреной ролью, но достаточно утомительной. Ну, а каково приходилось в роли ученика? Каково среди спасовцев не выглядеть белой вороной?

У них, заметьте, аскеза наистрожайшая. Система «табу»: в еде, в одежде, это нельзя, а это грех, то-то запрещается, то-то воспрещается. Даже картофель — «нечистое произрастание».

И вот тут, когда об аскезе, опять примечание. Михайлов мне говорил, что аскеза не мучила его.
 Умение приспособиться? Этим обладал, в высшей

степени обладал. Однако это не все, смею заверить, далеко не все. Сказывалась рахметовская закваска... Впрочем, извините литературную реминисценцию, привычка. И не та реминисценция, которая нужна, а первая, вскочившая в ум. Нет, не то, не то! Скромность, невнимание к комфорту, свойственные русским радикалам? Вот это поближе. (Между нами, подчас это самое невнимание оборачивается простонапросто разгильдяйством.) Нет, мои милые, скромность скромностью, а у русского-то радикала еще и доподлинная поглощенность духовным. Это когда внешнее-то скользит, не задевая. Это когда свою поглощенность духовным не замечаешь, как не замечаешь тембра собственного голоса. Это не голая образованность, а мироощущение, трепетное и совестливое...

Александру Дмитричу не аскеза была тягостна, другое. Именно там, в Синеньких, он начал ощущать... Ощущать, а не формулировать, и если я здесь что-то и сформулирую, выйдет грубо, неверно. Надобно сравнение... Вот, скажем, сидите вы в креслах. Пружины под вашей тяжестью сжались, укоротились, как бы сопротивляются вашей тяжести. А коли так, то вот вам и раскол — та же пружина, которая отдает настолько, насколько ее давят. И не больше, и не сильнее! Вот оно и есть — пассивное сопротивление. А его-то и недостаточно; недостаточно, когда смотришь на дело с точки зрения революционной. Как раз именно эту «недостаточность» Михайлов и начал сознавать в Синеньких.

Однако оставалось многое, что влекло и обнадеживало. Была некая сила в расколе, очень ему симпатичная.

Как сейчас, вижу Александра Дмитрича вот здесь, в этой вот комнате, как он мне об одном моло-

дом парне рассказывал. Вы скажете — фанатизм, я спорить не стану, но и фанатизм бывает разный.

Так вот, этот парень обрек себя... крестной муке. Да-да, распял себя на кресте. Как ухитрился, не знаю, а только распял и едва не погиб. Его вы́ходили, он объяснил: «Я хотел помереть, как Христос, з а л ю д е й...»

И тут что-то такое прозвучало в голосе Александра Дмитрича, что я взглянул на него с испугом. А он смутился. И наглухо умолк. Будто ставень захлопнул.

Не поручусь, пришелся ли этот разговор на весну семьдесят девятого. Но в памяти моей как-то совпадает. Именно в ту весну Семирадский выставил «Нерона» своего. В Академии художеств выставил, в той зале, знаете, где верхний свет... Семирадский изобразил цезаря, возлежащего на носилках, а перед ним — умирающие христиане; умирают за свою правду, за то, во что верят. И вы, конечно, понимаете, какие возникали сопоставления...

Я уже говорил: в Синеньких не одни спасовцы, в Синеньких и другие согласия были. Но самое-то важное в чем? В том, что Александр Дмитрич промыслил добрых знакомцев среди бегунов. И воспринял многое. Практическое воспринял, уверяю вас.

Чувствую, готовы попенять мне: гудишь, мол, Владимир Рафаилыч, в одну дуду — социалист у тебя какой-то полумирянин, полумонах, да и конспирация, выходит, у раскола заимствована... Доля вашей правды: это на счет моей «одной дуды». Но я как раз для того, что эту самую «дуду» упорно не хотят замечать. Очевидно, из боязни как-то принизить русского социалиста.

Что до приемов конспирации... Александр Дмитрич приглядывался, как бегуны пребывали во враж-

дебном им мире. (Они, так сказать, передовая дружина раскола.) И пристально глядел па «механику» внутреннего устройства.

Во-первых, оказалось, что у бегунов существует высший распорядительный центр — «Общая контора». Без ее разрешения ни одна община бегунов решительно ничего не предпримет. Контора коллегиальная, выборная. Теперь... Да, связь между общинами, как и между отдельными странниками, поддерживалась не только шифром, но и своими нарочными. Прибавьте хитроумнейшие «пристани», конспиративные квартиры; я про них упоминал. И это не все...

Где-то у Аввакума есть сценка: приходит к нему раскольник; не помню причину, но он должен был выдавать себя приверженцем православия, однако готов был всячески помогать братьям по вере; вот он и спрашивал: как быть, как поступать? Аввакум, подумав, велел ему «посреде людей таяся жить». Но суть не в эпизоде из давно минувшего, а в том, что такие тайные раскольники действуют и ныне. И успешно! Извольте случай, Александр Дмитрич рассказывал.

В Москве... Да, кажется, в Москве, там одно время власть предержащая нипочем не могла изловить ни души из видных бегунов. Делались строжайшие и секретнейшие распоряжения, все было поставлено на ноги — полиция, частные приставы, сыщики. Но раскольники загодя обо всем знали: они получали в свои руки копии конфиденциальных документов. Документов, которые предназначались лишь высоким официальным лицам.

Это был не случай, а так сказать, постоянное и правильное ведение дела. Александр Дмитрич над этим-то крепко задумался. И кто поручится, что уже

тогда не явилась ему мечта о «тайном раскольнике» в среде голубых мундиров? То есть как раз мечта, которая и осуществилась, когда он Клеточникова встретил. Клеточников — это мы с вами позже, а теперь — в Москву, в Москву моя исторья.

Если помните, я говорил, что Александру Дмитричу пришлось на время оставить Саратовскую губернию и податься за восемьсот верст — в первопрестольную.

О московском житье-бытье у нас, в редакции «Голоса», всегда хорошо знали. У нас там господин Мейн был. Этот Мейн служил в канцелярии генерал-губернатора. Краевский, издатель, вообще-то был скаред, но Мейну платил довольно щедро. Прямая выгода: в «Голосе» многое узнавали и раньше других, и подробнее других. Даже и такое, чего нельзя в печать. Стало быть, рассказ мой о московских происшествиях, не касаясь Александра Дмитрича, источником имеет господина Мейна, дай бог ему здоровья, если он еще на этом свете.

Из саратовских палестин подался Михайлов в Москву — на призыв: война была в разгаре. Объявили призыв ратников, ополченцев. Александр Дмитрич имел льготу первого разряда. (Кстати, и эта его бумага у меня в полной сохранности, да-с.) Но льготы, когда ополчение, побоку. Куда было являться? В Синеньких, надо полагать, жил он по фальшивому виду. Тут ему не резон. Вовсе не явиться? Полиция заведет розыск. Он и решил предъявить свой подлинный документ в Москве.

Не оттого, однако, что Белокаменная была вдвое ближе Петербурга. Нет, расчет, видите ли, в том, что в Москве еще не развеялся славянский угар, Белокаменная от добровольцев ломилась. Выходило, в Москве — шанс избежать ополчения: авось Москва

покроет комплект добровольцами. А прочих, которые по обязанности, тех, глядишь, и отпустят.

Когда я Михайлова впервые встретил, в Эртелевом, у Анны Илларионны, это еще до войны, накануне, он тогда решительно высказался: я-де против войны. Без обиняков — против, и баста.

Хорошо, скажете вы, но как ни толкуй, а две стороны медали. Ты можешь отрицать войну, негодовать можешь на тех, кто ее затевает, указывать на невыгоды и беды народные — это одна сторона. Ну, а другая-то вот: можешь ли ты, лично ты-то можешь ли, сочтешь ли себя вправе избегнуть воинских знамен, коли страна, отечество, Россия и так далее — вот вопрос.

Отечество, честь, доблесть — это с молоком матери. А герой моего романа как бритвой: не желаю в солдаты, не желаю на войну. Каково?! Я тоже морщился, как и вы, господа. А он — свое: «Освобождать угнетенных болгар? Помилуйте, какие из нас освободители? Сами по уши в дерьме и рабстве, а туда же — «свет свободы»... (Между прочим, вот так и раскольники. У них считается, что антихристова власть многих жертв требует, а самая тяжкая — «жертва кровью», воинская повинность...)

Но мы-то с вами скорее и легче поймем измайловца, который застрелился в ночь перед атакой. Не слыхали об этом? Да, было такое. Молодой гвардейский офицер испугался предстоящей заутра атаки; вернее, испугался, что в час атаки может струсить, взял да и застрелился. Этого гвардейца мы и поймем, и пожалеем, не правда ли? А вот тех, кто напрямик: не хочу на войну... Не есть ли все это... как бы сказать?.. Не есть ли этакое революционное пораженчество просто-напросто личная озабоченность собственной личностью? Не попытка ль под благовидным

предлогом, из-за высших, что ли, материй, уберечь свою материю? Нет, честью заверяю, про Александра Дмитрича — ни на миг, ни на волос. Положим, я теперь так не думаю, теперь, когда вся его жизнь предо мною. Но тогда... Тогда, каюсь, мелькало.

Я вслух ни звука, но он догадался. И ответил совершенно хладнокровно, от него даже каким-то превосходством повеяло: «Неужели неясно, что я уклоняюсь от войны, во-первых, потому, что не считаю эту войну нужной моему народу. Во-вторых, уклоняюсь еще и потому, что поглощен другим делом. И оно вполне отвечает моим общественным интересам».

Надобно, как Ефрем Сирин, зреть прегрешения свои. А у меня было прегрешение. Даже и не в молодости, а в зрелости: во время Крымской кампании мне к сорока натягивало. И я как будто рвался на севастопольские редуты. Душой рвался... а телом всю войну в Петербурге пребывал. Мне ли Михайлова казнить?

Итак, Александр Дмитрич приехал в Москву, явился на призывной участок. Расчет оказался верен: добровольцев — про́пасть. Охотники надеть ополченский кафтан едва ли не всю разверстку покрыли. А после — жеребьевка для тех, кто по обязанности, по закону. Опять удача: Михайлову такой дальний номер достался, что его тотчас отпустили.

В Москве были у него родственники, да он торопился — в свои Синенькие, к своим спасовцам, к своим бегунам. Там и зимовал, учительствуя. Идея «коня и лани», идея соединения раскола с революцией, сидела, видать, крепко. Весною, летом он опять пустился в книжные занятия. Мелькнул в Петербурге. Ни императорская публичная, ни зотовская личная — эти библиотеки, увы, больше не могли утолить

его жажду. Он — опять в Москву. И прожил там, кажись, месяца два. Извольте знать, у него были связи; с их помощью добывал он редчайшие сочинения. (Бьюсь об заклад, этот дотошный молодой человек написал бы диссертацию, какая и не снилась профессорам Духовной академии!)

Не сомневаюсь: связи, заведенные среди саратовских раскольников, вели Александра Дмитрича в Лефортово, в лефортовскую часть Москвы. В той стороне — Преображенское. А там богоделенный дом, там, если хотите, сорбонна всероссийской беспоповщины. И настоятелем известный Кочегаров.

Кстати сказать, этот Кочегаров был лет на десять старше меня, а Михайлов называл его «глубоким древним старцем». Из сего заключаю, что я, очевидно, казался Александру Дмитричу коли и не глубоким старцем, то уже наверняка старикашкой. А мне тогда не стукнуло и шестидесяти. Ну да при его-то великолепных годочках — двадцать с небольшим — понятно...

В Преображенском находил он необходимые ему рукописи, книжки. А сверх того — новых знакомцев из мира бегунов и прочих согласий. И тут вот какая паутинка поблескивает. Много позже, когда открылись некоторые подробности истории со взрывом царского поезда... Не поручусь, а так, догадка... Дом, из которого подкоп вели под железную дорогу, дом-то этот где был? В лефортовской части. И приискал его не кто иной, как Александр Дмитрич. Не обращался ль к раскольникам? Не намекал ли: нужна, мол, пристань? Истинной цели, разумеется, не открывал, а намек, может, и был. Но, повторяю, догадка, и только. Впрочем, не лишенная оснований...

В Москве Александр Дмитрич не закопался по ту сторону Яузы, в Преображенском. И не только сидел

в библиотеке Румянцевского музея. Нелегальные, они друг друга нюхом отыскивают, чутьем.

Вообще Москва нравилась ему больше Петербурга. На брегах Невы — центр умственный, пульс общественный, это-то он сознавал, да Москва-матушка трогала его провинциальные струны. Говорят, Москва — город русский, а Петербург — нерусский. Не согласен с последним. Петербург, несмотря на сильный чужой элемент, город русский, однако иначе русский, по-другому, не так, как Москва.

А тогдашняя Москва еще хранила затеи милой старины. Господин Мейн — помните, при генерал-губернаторе? — Мейн был наклонен живописать эти затеи. Опусы его не очень-то годились «Голосу», ведь ежедневная газета, но так, сами по себе, дышали известным колоритом.

А праздники на Москве? Я редко-редко в Москву наезжал, последние лет десять и вовсе нет, но праздники на Москве — в памяти сердца. Как что-то из детства. И в этой особенности как раз и есть — Москва, московское, хоть я и не уроженец... Вы замечали? Начнешь про Москву с усмешечкой, а неприметно сползешь в умиление.

Я о праздниках говорю. Ну хоть на Вербную, когда, знаете ли, гулянье на Красной площади. Мириады огней, свечечки, свечечки, дети, толпы. Восторг, тихий восторг. И эдакое чувство любви, равенства. Положим, чувство краткое, можно сказать, мгновенное, но подлинное, обновляющее. И за то великое спасибо.

А первый день мая? Это когда вся Москва — в Сокольники. Пешком, вереницами, группами, экипажи, коляски, стар и млад. В Сокольниках, под деревами — столы, самовары; бабы-самоварницы — груди круглые, щеки с ямочками; чай необыкновенный.

Или на святого Гурия... А это знаете что? Это уж какие девицы засиделись, заневестились, они, стало быть, идут себе в Кремль, ко Спасу на бору, свечку поставить, жениха испросить...

А чего я об эдаком? Оно будто ни к селу ни к городу. Да мне вдруг как-то тесно сделалось: все об угрюмом, обреченном, а жизнь-то не умещается, пестрая палитра. Мне Александр Дмитрич однажды признался: «Бьешь,— говорит,— в одну точку, бьешь, как киркой, а вот в неуследимую минуту найдет на тебя печаль, такая беспричинная, или рухнет такое безрассудство, то-то бы вскочил на облучок да и рванул бы вожжи. Эх, лети, рассыпься бубенцами!» Что он такое разумел, не знаю, а важно, что у него, поборника дисциплины воли, и у него бывали порывы...

Раскол теперь в сторону, оставим.

Александр Дмитрич, помню, иронизировал: «Надоело кувыркаться перед иконами. Не поднимешь староверов на новое дело. Долгая история». Он иронизировал, но смею заверить, напускной была ирония. Как бы самооправдание. Положим, оно и впрямь надоело, понять можно: «Чувствуешь такое одиночество, хоть вой. И такая затхлость, что задыхаешься». Однако главный-то нерв вот где, здесь он, в этом самом — «долгая история».

Александр Дмитрич упорный был. Упорный и упрямый. Он бы в бараний рог себя скрутил, а «кувыркался» бы. Но тут топоры застучали, эшафоты сколачивали. Тут имя Веры Засулич прогремело. Словом, вихрь поднимался, поворот был. Как высидеть в Синеньких или еще где-то? Иди и умри «за людей». Тотчас встань, иди, а не «кувыркайся». И отсюда оправдание: «Не поднимешь староверов, долгая история».

6

Честное слово, господа, как славно рассказывать, ни о чем не заботясь. А возьмись-ка за повесть или роман? И-и-и, боже мой! Как тачку толкаешь. Везешь, проклятую, а она все тяжелее. И вдруг шмякнет по темени: а ведь ужасная дрянь, братец; ступай и удавись. Так нет, не удавишься, а разве что напьешься, только и всего. А потом опять за свое, хотя наперед ведомо и про «тачку», и про «дрянь». Знаешь, но как приговоренный.

Почему? А? Первым делом, конечно: семья, дети, кормить надо и кормиться надо. Не крылатый ты гений, а поденщик. Вторым делом — живет мысль, что и ты можешь, по мере сил, чувства добрые пробуждать. Но самое сокровенное сладко жжет сердце: ладно, пусть и поденщик, ан вдруг и поденщику дано воспарить? Надеешься, вот что! Десять раз терпишь фиаско, стареешь, седеешь, зубы теряешь, а все ждешь, все надеешься. И толкаешь, везешь очередную «тачку». Шмякает по затылку: «Глупец, оставь свои надежды...» Нет, не можешь, хотя уж, кажется, и проклял участь свою. Каково?

А нынче рассказывай, Владимир Рафаилыч, как бог на душу положит. Славно! И успокоительное сознание: ты вправе уютно умоститься в креслах и рассказывать. Рассказывать, а не писать на продажу. А потому вот оно — письмо. Извольте взглянуть: скрепил Станюкович. Видите? То-то и оно: Литературный фонд отпустил четыреста целковых. Бессрочная ссуда. Праздник! Отсюда и успокоительное сознание...

А прикинешь, сколько за полвека пером намахал — диву даешься. В одном «Голосе» десять лет кряду был секретарем. А это, милые, жизнь навыворот. С утра до пяти пополудни елозишь локтями по

редакционной конторке. Отобедаешь дома, два-три часа возьми своих, а свечерело — марш в редакцию и ни на шаг, до глубокой ночи. Корректуру правишь, объявления размечаешь, метранпажа бранишь, с сотрудниками грызешься. И пишешь, пишешь, пишешь: заметки, фельетоны, рецензии.

Первые годы без продыху. Стал просить помощника, Краевский нос воротит. Я толкую, что помощник окупится. Издатель и на экономические выкладки туго клевал. Не хочешь, а вспомнишь, как Салтыков, Михаил Евграфович, определил: ваш-де Краевский — сын Чичикова и Коробочки — съединил лукавство первого с экономической бестолковостью последней... В глаз, прямо в глаз!

А «Голос» делался все громче. Война с турками открылась, тираж перевалил за двадцать тысяч, петербуржцы на улицах тыщи четыре разбирали, это помимо подписчиков. Уже тогда «Голос» располагал сотнями, да-да, сот-ня-ми постоянных корреспондентов в России, да вдобавок несколько десятков в Европе, за океаном, в Азии... Легко вообразить положение секретаря редакции! Проняло и Краевского: нанял мне помощника. Я перевел дух, времени прибавилось.

Однако редакционная конторка оставалась центром. Газета не ждет, в военную пору особенно. Спрос жадный. Официальные известия день ото дня скупее: гром победы не раздавался, вот и причина немоты. А спрос, говорю, жадный, нетерпеливый. Между прочим, и мальчишки-газетчики, они в войну появились. Бывало, высунешь нос на Литейный, а гаврош с пачкой газетных листов кричит: «Купите, наших побили! Купите, наших побили!» И смех и грех.

А там, на театре военных действий, и впрямь нехорошо складывалось. (В тетради Анны Илларион-

пы отмечено, ежели помните.) А дальше — плоше, хуже. Петербург роптал на главную квартиру. Толковали, что пребывание в армии государя и великих князей — помеха, срам.

Было тревожно, смутно, лихорадило. «Плевна», «Шипка» не сходили с языка. Было похоже на севастопольские времена, я сравнить могу — очевидец. Но и разница ощущалась. Не ошибусь, указав, в чем: в отношении к армии. Севастопольцам больнее сострадали, мучительнее. А тут... Тут не то чтобы не сострадали, так нельзя, но звучало, знаете ли, какое-то болезненное злорадство: в Севастополе учили нас, дураков, да пичему, видать, и не выучили; ну, так бей нас теперь хлеще.

Надо сказать, масла подливали раненые офицеры — их и в Петербург тоже везли. Положим, некоторые злобились, нервничали задержкой наград, тогда как всякие там ординарцы великих князей получали за здорово живешь. Положим, так, но это малая доля правды.

И офицеры, и публика сознавали все отчетливее, что причиною не отдельные ведомства, не отдельные лица, а вкупе домашние наши дела. И уже не только радикалы, не одни люди крайних взглядов, но и общество в массе своей мыслило: врачу, исцелися сам; вознамерились освободить сопредельную сторону, а забыли, что прежде не худо самим освободиться, ну, хотя бы от повального воровства.

И вот здесь, в этой самой точке, где «врачу, исцелися сам», тут-то и наметился водораздел. Как исцелиться, какой методой? Прошу вникнуть, ибо очень, очень важно.

Люди, которые на мой салтык, они конституцией грезили. Говорят (и тогда так, и теперь услышишь), э, говорят, что проку в конституциях, в парламен-

тах — великая ложь, великий мираж... Как хотите, не согласен. Но возьмем ближе к таким, как Михайлов, как Александр-то Дмитрич, к ним возьмем и посмотрим.

Когда я с Синенькими, с раскольниками, с саратовскими хождениями кончал, я вам штрихом бросил: поворот возник — казни товарищей, процесс судебный, Засулич... И вот — наметилось иное течение, так сказать, пороховое. Да, верно, рычаг мощный, не спорю. Однако как со счетов войну сбросить? Как не брать в расчет Берлинский конгресс, когда нас в европах-то дипломаты в ремиз ввели, подсидели и обкорнали?

Нет, я не о том, что и война и глупость нашей дипломатии открыли глаза революционерам. Я не о том... Кто-то, не помню, кто именно, но из тех, что святее папы, выразился в таком смысле: война и конгресс способствовали распространению крамолы. Это верно.

Однако вот главное: у таких, как Михайлов, у них народилось ощущение, а потом отлилось непреложностью: монархия так обессилена, что достаточно краткого, но энергического натиска, нескольких крепких затрещин — и аминь.

Я не могу утверждать, что революционеры напрямую увязывали эту свою решимость с войной, с ее последствиями. А между тем именно война подсказывала им... Нет, давала как реальность, как очевидность: трон, правительство едва ль не тень, едва ль не фикция.

И отсюда-то, как у Пушкина, в запрещенном: «Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу...» Вот вспомнилось из Пушкина, а сейчас и мысль: так, да и не так. Сдается, у Пушкина на этой вот «жестокой радости» лежит тень Михайловского

замка, отзвук шагов, когда заговорщики шли в Павлову опочивальню. А у тех-то, о которых речь, иное, пожалуй: не верю я в жестокость их радости, их предвкушений. Пусть и парадокс, но эти-то, с бомбами, с динамитом, со снарядами метательными, эти, по мне, не испытывали жестокой радости, предвидя «смерть детей», хоть бы и августейших...

Возвращаюсь «на круги».

Убеждение было: «эх, ребята, бери дружно» — и народится новая Россия. И не одни городские головушки, не одна лишь молодость, но и мужик, осмотрительный мужик, встрепенулся: скоро-де кровь прольется, черный передел будет, землю делить будут. Слышите: кровь прольется?! (Когда она пролилась, царская-то кровь, когда пролилась, мужик ужаснулся и проклял, но это уж потому хотя бы, что он имел в виду не царскую кровь, а дворянскую, барскую...) Так вот, и мужик, значит, и общество, и там, за кордоном, тоже ждали. Не одни, стало быть, пылкие души молодых фантазеров чуяли подземный гул.

Но тут вы вправе ухватить меня за фалды: не случись войны, не случилось бы и трагедии на Екатерининском канале? Выходит, не было бы ни «мартистов», ни первого марта?

Останавливаюсь и объявляю: господа, свидетель Зотов, Владимир Рафаилыч, православного вероисповедания, семидесяти пяти от роду, не знает, не постигает и судить не берется, какая сила правит бегом расчисленных светил. Он только знает, что война была камертоном, что бомба, которая бахнула на Екатерининском канале, начала лёт с театра военных действий.

Революционеры не раз объясняли причину своего перехода от «образа мыслей» к «образу действий».

Из этих объяснений проистекало, что эволюция пропагаторства в борьбу за политические права обусловилась гонениями правительства. И вот крайняя фракция прибегла к террору.

Такое было объяснение. Не мое, повторяю,— революционеров. Не однажды так-то заявляли. И печатно, и со скамьи подсудимых. И не фальшивили. Но... Видите ли... Словом, должен признаться, что здесь-то я и спотыкаюсь.

Дело в том, что не только гонения и административный произвол, нет, не только, а и жгучее предвкушение... Вы понимаете? Вот, вот, восторг предвкушения! Колосс-то на глиняных ногах, а может, и на соломенных. После Севастополя пошатнулся, попятился, уступил реформами, но устоял... А теперь сызнова война, пирамиды черепов, как у Верещагина, пирамиды трупов, а если и одолели турку, то «хребтом», «мясом», да и то, что взяли, дипломатия профукала. Кругом недовольство! Кругом негодование! Ореол царя-освободителя блекнет. Грабеж почище севастопольского! И так далее, и тому подобное... А отсюда что? А то, что колосс на ладан дышит, ноги глиняные рассохлись, ноги соломенные скукожились — приналечь дружнее, и шабаш. Вот, понимаете, какое настроение установилось. И возобладало.

Теперь должен вам сказать, отчего я все это выговорил не без затруднений и как бы опасливо. А потому, что не хочу наводить тень на плетень. Опасаюсь, как бы вам не показалось, что такие, как Михайлов, загодя радуясь близости и легкости (пусть и относительной), радуясь, значит, близости победы своей... Ну, короче, опасаюсь умалить цену их жертвы, цену жертвенности.

Однако чувствую: крен у меня на один борт. (Это уж из лексикона сына моего, моряка, царствие

ему небесное) Да, крен чувствую: все это у меня война, война, война. Между тем быстротекущая жизнь не умещается даже и в таком громадном и страшном явлении. Ведь одновременно с балканской драмой разыгрывалась на театре жизни и другая — тюремная и судебная.

Видите ли, в то самое время, когда Анна Илларионна доставила раненых в Саратовскую больницу и вернулась на позиции, к увечным своим и страждущим, а Михайлов, так сказать, «в расколе обретался», в это самое время мы здесь, в столице, сумрачно жили, пожалуй, даже и угрюмо жили.

Давил нас не только плевненский кошмар, не только призрак Шипки... Вы, милые мои, завидно молоды, от вас далече и боголюбовская история, и «Большой процесс». Далече, и застит все кровавый туман цареубийства. А наши глаза, тогдашних-то петербуржцев, этот туман еще не застил, и не маячили еще перед нами виселицы Семеновского плаца... Может быть, потому-то все и казалось таким крупным, весомым.

Когда Боголюбова, студента, розгами высекли, я вояжировал вниз по Волге, а когда вернулся, гнусная эта история вроде бы и утихла. Там-то, за тюремными стенами, в подполье, у михайловых, саднила душа, не давала покоя, ну, а в обществе... у нас это скоро... уже и не толковали. Аукнулось позже, в январе семьдесят восьмого, когда Засулич, Вера Засулич, этот «бич божий»... Но до ее выстрела в Трепова три с лишком месяца тянулся «Большой процесс». А выстрел-то прогремел на другой день, как «опустился занавес» в судебной зале.

Он в октябре открылся, до января, чуть не до конца января тянулся, этот процесс — «Большой»,
 или 193-х. Пропагаторов судили. Детей, в сущности,

судили, в самой чистой и юной поре. Каждый, исключая монстров, ахал: силы небесные, не ровен час, и мой сын, и моя дочь могли бы вот так-то пропасть ни за что ни про что, за словечко, за книжечку.

Тогда Желеховский прокурорствовал. Желчевик и рогоносец, на весь мир фыркал. У-у, постарался! Ну и, разумеется, Третье отделение государевой канцелярии.

Надо заметить, обвиняемые дожидались суда годами. Годы — взаперти, это вам как? А? Многие хворали, иные разумом мутились. Можно сказать, за решеткой обреталась молодая Россия — из тридцати семи губерний арестанты были.

И вот — судоговорение на Литейном. Обнаруживается: здесь натяжки, там и вовсе никаких улик. И никакого тебе стройного заговора, а так, с бору по сосенке, хотя этих-то сосенок — бор. А главное, для всех нас, для общества главное-то: законность в небрежении. На ее место — административная длань.

Скажете: эка невидаль на Руси? Но ведь тогда-то, после реформ, после судебной реформы — «милость и правда», закон, закон и еще раз закон. Поманили нас, обольстили, а мы и зачирикали: весна, капель, солнечные зайчики.

И вдруг — оно, конечно, и не вдруг, а так и следовало ожидать, да нам-то чудилось, будто б вдруг,— да, вдруг нате-с: жив курилка, жива администрация, поплевывает на закон и право и все такое прочее. Опять старая погудка и опять на старый лад: нет границ, определяющих политическое преступление, нет препона учреждениям, от которых в зависимости... Выходит, нынче — ты, завтра — я, а послезавтра — он. Я, может, и противник пропагаторов, я, может, решительно не согласен с ними. Ну и что

из того? Как мне существовать, ежели, едва проснулся, свербит унизительное чувство полного своего бесправия?

В низших классах на все на эдакое тьфу: «печной горшок ему дороже». А нам, образованным, «горе от ума». Тут все в том было, что от николаевщины отстали, да к европам не пристали... Теперь, думаю, ясно, отчего в дни «Большого процесса» общество негодовало.

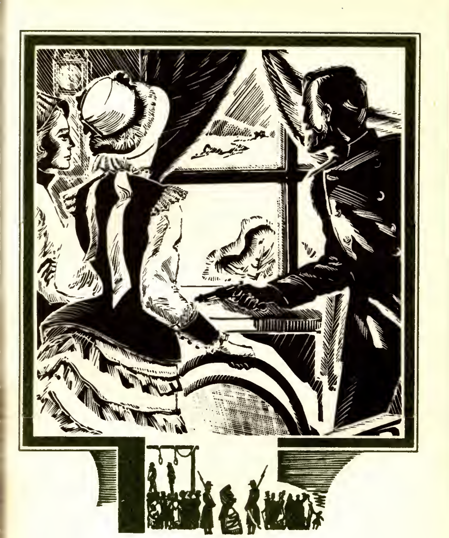
Когда говорю «общество», не включаю сановных индюков. Увольте! Сколько их понабивалось у судейских кресел, злобой шибало за версту, гадости разносили по городу: «девки», «мерзавцы», «разврат»...

А пресса? Печати уста запечатали. Мы, в «Голосе», имели стенограммы судебных заседаний, но нет, нишкни! Ну и кормились «сухарями» — известиями из «Правительственного вестника». Разверните любой газетный лист — всюду аккуратно одно и то же, до запятой. И при этом, конечно, свобода тиснения, то есть, как некогда каламбурил великий князь Михаил Палыч, «свобода тиснения — это свобода притеснения».

Негодование, вызванное процессом, еще не отпылало, да и отпылать не могло, ибо происшествие, о котором я сейчас скажу, оно на другой день после судоговорения случилось. Я о том, господа, как в Трепова стреляли.

Градоначальник жил против Адмиралтейства. Это уж потом здесь, на Литейном, и на одной лестнице с Салтыковым, это позже, а тогда — против Адмиралтейства. Там и просителей принимал.

И вот является барышня: подбородочек востренький, губы тонкие, тальма на ней с фестончиками. Является. Генерал — полнеющий, баки, как из проволоки, с проседью — принимает от нее какую-то



бумагу, а барышня стреляет, почти в упор стреляет. Трепов закричал, тут, батеньки мои, закричишь. Первым бросается майор... Фамилию не помню, а помню, невдолге перед тем заведовал Домом предварительного заключения, и я потому на это ударяю, что здесь и разгадка.

Я называл имя Боголюбова, студента, которого высекли в Доме предварительного заключения. По приказу Трепова высекли: студент шапку не ломал перед ним.

Двадцать пять розог. Но суть-то не в числе и даже не в том, что розга не роза, а в том, что студент следственный, политический арестант, еще не осужденный, еще не лишенный судом прав,— и телесное наказание! А сверх того — заметьте — вопреки закону, против закона. Вот она, административная десница, безоглядный, генеральский произвол классического образца.

А тюрьма — на защиту товарища. А тюрьма — на защиту достоинства. И началось! Всякое избиение мерзко, а что говорить про избиение людей беззащитных, связанных, запертых, изможденных?! И это не в глуши, не где-то на Сахалине или на Каре, а вот, рукой подать, на Шпалерной, стена в стену с судебными установлениями, с правосудием...

Не думаю, чтоб эти тюремщики были извергами. Тем хуже. Страшнее страшного, ежели и не ирод, а какой-нибудь тютя-губошлеп способен на дикое, скулодробительное вдохновение. Они там, в Доме предварительного, едва ль не упивались яростью. И ежели угодно, это знаете что? А это, позвольте сказать, все тот же бунт, «бессмысленный и беспощадный». У них не только приказ был, но другой мотив, господа, другой: «А-а, сукин сын, скубент, ты грамотный, ты кость белая — ну-тко й умойся сопля-

ми! Нашего брата испокон мордовали, а теперь досталась и нам минута!»

Да... Так... Засулич... У нее никаких личных счетов с Треповым, решительно никаких не было. Помнится, порхал слушок: дескать, девица мстила за какого-то возлюбленного. Чепуха! Это в тех мозгах, что напитаны французятиной из романов старой выделки. Полиоте! Оттого и громадное значение, потому-то и потрясающее впечатление, что ничего личного, ни капли.

Когда государь навестил раненого, тот сказал: «Ваше величество, пуля-то вам назначалась, я ее за вас принял». Трепов был прав, и Трепов был неправ. Неправ, ибо Засулич и не помышляла о цареубийстве. Прав, ибо Засулич мстила не генералу по имени Федор Федорыч Трепов, а беззаконию, произволу, попранию личности. За всех мстила, за всех карала. И за нас тоже, за тех, которые к нелегальным не принадлежали. Потому-то и оправдали ее присяжные, потому-то и возликовали стар и млад.

Публика на улицах чуть не обнималась. Конечно, оправдание Засулич, но восторг шире разлился — тут явственно обнаружилось осуждение правительства. И отчуждение от него. И добро бы в студенческих углах, в плешивеньких chambre garnie *, так нет, и в гостиных, и в кабинетах директоров и вице-директоров разных там департаментов.

Удивительная страна! Вот, скажем, крупный чиновник. Статский или, пожалуй, действительный статский. Со звездою. Казенный выезд, блага, корм. А глядишь, доволен, шельма, что вышняя власть в лужу плюхнулась. Доволен!.. Конечно, тайное вожделение: эх, кабы мне бразды, разве я бы допустил?!

* Меблированные комнаты (*франц.*).

Есть оно, тайное вожделение, есть. И прыскает в кулачок.

Что, думаете, эдакий противу порядка? Ни на полмизинца! Он отлично понимает, откуда ему и казенный выезд, и блага, и корм. Очень хорошо понимает, очень ценит, дрожит за них и горло перервет. Но вот, поди ты, премного доволен, коли на самом верху — осел, козел, мартышка да косолапый мишка.

А другое и вовсе непостижимо: мы легко обольщаемся, легко и охотно. Вроде бы и выросли, а все в коротких штанишках. Я вот о чем. И боголюбовская история была, и «Большой процесс» был — наука. Кажется, ясно: произвол на роду написан. Набежит с дубиной и пойдет гвоздить... Так нет, нет! Вдруг выдался пресветлый день: присяжные оправдали Засулич — и тотчас упования, и тотчас обольщения! «Зеленый шум» в головах: дескать, дождались, дескать, отныне и присно. А произвол с верной своей дубиной за углом притаился и непременно гукнет, выскочит...

Но и это не все... Царица небесная, чего только не намешано в русской натуре! Было и еще нечто, кроме ликования, кроме подспудного злорадства. Еще нечто. Оно и днесь выказывается, оно и потом будет, и долго будет, может, и до второго пришествия. Знаете ли что? Благо-дар-ность!

Всем, каждому, кажется, не было секретом, что Веру-то Засулич прямо-таки вырвали из лап. Не было секретом. И вопреки рассудку — благодарность. Не высказанная вслух, под сурдинку, но благодарность этому самому правительству. Это плод минувших веков, плод нашего холуйства. Чуть-чуть, на вершок движение вперед, и такое, какое не могло не быть, ибо жизнь подвинула, а мы целуем в плечико,

мы кланяемся, мы словно на чай получили. Кстати сказать, мы потому-то и требовали благодарности от болгар, это уж после войны, потому и требовали, что сами привыкли за все благодарить... Согласитесь со мною, нет — воля ваша... А сейчас я «брошу мостик» на другую сторону — к герою моему, к Михайлову, Александру Дмитричу.

Как раз в те дни случилось ему наведаться в Питер. Была какая-то вечеринка — студентки, курсистки.

Михайлов воодушевился, забыл осторожность и речь произнес. А потом прыгнул на стул, в руке кружка и — громогласно: «Здоровье Веры Ивановны Засулич! Ура!»

Тоже общий восторг, общее ликование? И да и нет. Нет, ибо он отнюдь не обольщался. И не он один — многие. (Молодые, а чуяли, лучше нашего чуяли этого-то, который за углом таился, с дубиной.) Для михайловых и выстрел Засулич, и оправдание Засулич, для них это было как бы знамением.

И с этой весны, весны семьдесят восьмого года, можно сказать, открылся крестный путь к весне восемьдесят первого.

Давеча, господа, было у меня такое направление: расскажу, думаю, как Ардашев с войны приехал и как завязалась одна странная история... Ардашев-то кто? Да Анны Илларионны брат, артиллерии капитан...

А странная история, о которой хотел, в ней много загадок, так и остались загадками. Но она имела касательство и к Анне Илларионне и к Михайлову.

Об этом-то я и думал речь вести, а нынче, вас дожидаясь, взял да и перелистал вторую тетрадь моей Аннушки. Перелистал и спохватился: ба-ба-ба, нельзя миновать, никак нельзя!

Вот, извольте.

И прошу, как прежнюю, вслух читать и в очередь.

Глава третья

1

Продолжать эти записки я не хотела: прочитала первую тетрадь и устыдилась. Мысленно видишь минувшее, а пишешь, словно на волглой бумаге,— все ползет, расплывается, какие-то усики пускает. И такая разобрала досада, что я объявила банкротство.

Владимир Рафаилович сказал, что я-де похожа на одну барышню-пианистку: послушала она в Благородном собрании гениального Рубинштейна да и заперла навек свое фортепиано.

— Но это из боязни профанировать высокое искусство,— объясняюще добавил Владимир Рафаилович.

Зотовский намек был прозрачнее кисеи: твои тетради, милая, не изящная словесность. Я и сама так считала, но, поняв намек, приобиделась на Владимира Рафаиловича и вовсе уперлась: не буду!

Мой «искуситель» не отступил, а припомнил, как в пятидесятилетнюю годовщину лицея состоял он в юбилейном комитете. Первый, пушкинский, выпуск представлял почтенный старик-адмирал. Моряк рассказывал, как Пушкин советовал ему, в ту пору совсем юному, вести путевой дневник, не заботясь

о слоге. И моряк, находясь в океанах, в бурях, исполнил наказ друга.

Опять-таки у Зотова тут был намек, но я лишь пожала плечами: все это мило, да я-то при чем? Помолчав, Владимир Рафаилович взял меня за руку и легонько потянул к себе. Я улыбнулась: в памяти раннего детства есть это движение — так мирил он меня со своей племянницей или приглашал взглянуть на новую игрушку из Пассажа. Я улыбнулась, но тотчас почувствовала, что жест хоть и прежний, но как бы «смысл» другой: предвещает чрезвычайное.

Он просил меня подождать и вышел из кабинета. Потом вернулся, пришаркивая войлочными туфлями. Он принес два кожаных портфеля, обыкновенные, департаментские, потертые.

В тот день я узнала историю этих портфелей. Отныне и мои тетради по мере заполнения будут там. И будут они храниться в этой старой квартире, в старом этом доме, который известен как дом Краевского, как дом, где жил и скончался Некрасов... И портфели завещаны мне. Завещаны хранителем, а теперь и хозяином Владимиром Рафаиловичем Зотовым.

Я словно бы впервые увидела его — высокого, сухощавого, согбенного, неизменно деликатного и доброжелательного; пепельные легкие волосы длинно подстрижены; и эта его манера — сняв очки, медленно тереть глаза кулаком, а потом — висок, но уже одним указательным пальцем.

Горло у меня сжалось. Господи, какой анонимный подвиг год за годом совершал мой старик! Какое доверие питали к нему люди иного поколения, во многом ему чуждого, с ним не схожего. Я знала не одного легального, статского или военного, желавших

помочь и помогавших партии, однако вряд ли кто-либо из них рисковал так круто, как Владимир Рафаилович.

Он хранил эти портфели в годину динамитную, эшафотную. И если б пронюхали... Кабинетный деятель, человек и тогда изрядных лет, наживший катар, простудливый, он бы не вынес ни тюрьмы, ни этапного движения. Погиб, непременно бы погиб... А разлука с семьей, с Любовью Ивановной? А разлука с литературой? Ведь она для него не просто образ жизни... А утрата всего привычного, размеренного десятилетиями? И вдруг все это в прах, как и не было, а взамен вонь этапного острога, мрак и где-то там, под елью, последний вздох.

И он понимал это. И, пожалуй, видел в подробностях: воображение, присущее литератору, конечно, делало свое беспощадное дело. И еще он, должно быть, страдал от сознания своей «преступности», как мы не страдали, ибо почти ни у кого из нас не было семьи, не были мы кормильцами, у которых на плечах дом.

Но во имя чего? Во имя какой цели, какого идеала?

Насилие ему претило. Террор он отрицал. Дорога к гармонии, по его мнению, не лежала через кровь; все равно чью кровь, той ли стороны, другой ли стороны. Он и не скрывал своих мыслей ни от меня, ни от Александра Дмитриевича. И если б он увильнул от э т и х портфелей, кто б его осудил? Но нет, не увильнул, принял. (И не продолжил ли тем самым, соединяя нити, свое давнее и славное дело? Ведь не кто иной, а Владимир Рафаилович собрал, сберег и передал для печати Герцену «шкатулку сокровищ» — запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева и других!)

А самое удивительное в том, что здесь нет ничего удивительного. Ибо что такое русский интеллигент, подлинный и дельный, как не укрыватель, не защитник тех, кого гонит и преследует русская политическая полиция? И покамест есть такие русские интеллигенты, Россия может блуждать и заблуждаться, но она сберегает душу живу...

Мы долго молчали. Кажется, оба курили. Курили, хотя табак противопоказан Владимиру Рафаиловичу, а я в его доме никогда не смела курить, как не посмела б — ах, бессилие «нигилизма»! — и на глазах у своих родителей.

Зотов опять сказал о Пушкине, о моряке, который исполнил наказ друга.

— Да,— сказала я Владимиру Рафаиловичу,— это верно.

И он меня понял. Понял, что и у меня есть наказ друга.

Александр Дмитриевич говорил: собирайте письма, фотографические портреты, все, что нужно для биографий погибших; память о них не должна заглохнуть, лики отошедших не должны потускнеть.

То не было суетной жаждой анналов. Нет, живое сердце трепетало рядом с сердцем умолкшим. Когда любящая рука касается могилы, рука эта согревает что-то бесконечно одинокое...

2

Записки мои (в первой тетради) заканчивались отъездом из Румынии в Россию вместе с медиками, назначенными обслуживать военно-санитарный поезд, на котором эвакуировали раненых в Саратов, в Александровскую земскую больницу.

Пространства России! Русские просторы! О них говорят так, словно величина и величие — синонимы. А мне были ненавистны эти долгие-долгие версты.

Часами, а то и сутками изнываешь на разъездах и полустанках. Казалось бы, роздых от тряски, мучившей раненых. Казалось бы, приятно слушать тишину и слышать запах поспевших хлебов. Но нет! Овладевает унынье и раздраженне: господи, сколько еще этих верст, этих часов?!

Наконец поезд трогался. Вспыхивало бодрое чувство движения. Увы, оно быстро гасло, сменяясь томлением качки и тряски. Сбоку плыло солнце, и в муторной плавности то снижалась, то поднималась телеграфная проволока...

Больница оказалась на совесть приготовлена к приему раненых. Как всегда, при расставании с людьми, находившимися некоторое время на твоих руках, была печаль утраты. И не только у нас, сестер милосердия, но и у наших подопечных, хотя они прекрасно понимали, насколько лучше здешние условия.

Град Саратов мне не понравился. Волга-матушка не всколыхнула «святого волнения». «Бесчувствие» объяснялось тем, что мне не удалось отыскать никого из наших. Решительно никого! Еще в Бухаресте и потом, в дороге, я как бы готовила себя к тому, что не разыщу наших, но в глубине души верила, что непременно разыщу. А когда и впрямь получилось так, а не иначе, все померкло.

Мое возвращение на театр военных действий совершилось нескоро. Пришлось задержаться и в Бухаресте и в Зимнице, где недоставало сестер милосердия, так как студентов отозвали в учебные заведения.

Зиму с семьдесят седьмого на семьдесят восьмой я была на театре военных действий, но описывать не буду, потому что в последние годы подобных описаний, в большинстве правдивых, появилось множество.

За Плевну уплатили чудовищную цену. Я слышала, как гвардейский полковник сказал: «Мы только пушечное мясо, которое покорно ждет своей участи».

Турки сопротивлялись геройски. «Ты ему сейчас в рыло, а он знай свое: прет!» — не без восхищения замечали наши солдаты. Но Плевна пала. Ее падение отозвалось надеждой: «Теперича, глядишь, и домой попадем. Ежели самого Османа и все его войско побрали, так и воевать-то, почитай, не с кем».

Отныне даже и среди штаб-офицеров невозможно было встретить убежденных милитаристов. Ненависть к войне завладела всеми, исключая великих князей, да и то, пожалуй, не в полном комплекте. Критика раздавалась в открытую: «Подумать только, в какие руки вверена наша судьба!»

Окончание войны настигло меня у Мраморного моря, в прелестнейшем городке, или местечке, Сан-Стефано, откуда рукой подать до Константинополя.

Замирения ждали, ждали, ворча на проволочки. Но вот оно явилось. Его приняли как нежданную радость. Я говорю о солдатах, об офицерах, о таких, как я; но в главной квартире нашлось достаточно «патриотов», которые страшно досадовали на остановку у стен Константинополя — уж больно близок был локоть...

Где-то там, в высоких сферах, колебались весы европейской политики, ужасно важные «гири», от которых впрямую зависели наши тифозные бараки,

наши кишечники, изъязвленные дизентерией, наши гноящиеся раны, наши культи и лубки. А тут, где встали лагерем, на постой, на бивак, тут думали: скоро ль? когда домой? мы-то свое дело сделали, так чего еще-то, а?..

Я вдруг сразу и окончательно обессилела. Как и для рядовых, как и для нижних чинов, все для меня завершилось, все было кончено. Я подала прошение, я хотела вернуться в Россию.

Но, честно говоря, не потому, что донеслось эхо выстрела Веры Засулич. И не оттого, что в местном ресторане без утайки продавали русскую нелегальную литературу, отпечатанную за границей. Наконец, даже и не по той причине, что торопилась, тоскуя, к своим, оставшимся в Петербурге.

Петербургское, хотя я и не отрекалась, будто утратило долю значения, не было уже, как прежде, главным и непреложным, а просто мечталось о покое, о воле, о том, чтобы не видеть ничего из того, на что насмотрелась. Усталость, телесная и душевная, владела мною, и если б кто-нибудь сказал мне, что в России я встрепенусь, переменюсь и тотчас примусь за старое, я бы отмахнулась.

Спустя почти год или, лучше сказать, спустя почти век, как я оставила Петербург, мне объявили увольнение. Мне выдали денежное содержание на месяц вперед и временное вспоможение, которые обеспечивали на ближайшее будущее материальную устойчивость. Кроме того, советовали, как сестре милосердия, служившей в действующей армии, обратиться в случае надобности за помощью к принцессе Ольденбургской, патронирующей Красный Крест.

Возвращалась я на большом пароходе «Олег» Общества Черноморского пароходства. Это было на Фоминой неделе, в апреле 1878 года.

8

Никогда прежде не приходило в голову, что он до такой степени мой, этот город. Конечно, были заветные уголки, памятные с детства, вроде нашего Эртелева переулка или Лебяжьей канавки, но они существовали как бы отдельно и независимо от всего Петербурга. А сам Петербург, с его канцеляриями, присутствиями, департаментами, конными статуями и конными полицейскими, представлялся каким-то спрутом.

Но, как бы там ни было, а замечая в Александре Дмитриевиче равнодушие к Петербургу, я вроде бы даже и обижалась.

Он з н а л Петербург лучше меня, то есть основательнее. Однако эта основательность была топографической, прикладной. Он знал улицы и в особенности проходные дворы, помнил «в лицо» множество домов, но знал и помнил, так сказать, практически, как лазутчик на вражеской территории.

Совсем другими глазами смотрел он на Киев или Чернигов, хотя и там не покидала его всегдашняя и такая в нем естественная, словно бы врожденная, настороженность...

Итак, я приехала в Петербург.

Все, что блистало и благоухало в Сан-Стефано, на море, в Одессе, все это разом отодвинулось, заслонилось громадной, пепельной, дождливой массой, пронизанной запахом холодной воды и вялого дыма.

Вдохнув этот сырой воздух, взглянув на эти мглистые контуры, я внезапно и, кажется, впервые осознала свою тайную привязанность к этому городу, который можно проклинать, но нельзя не любить.

Выше, когда писала об окончании войны, я не упомянула о том, что ни 14-ю дивизию, бывшую дра-

гомировскую, ни приданную ей артиллерийскую бригаду, где служил брат Платон, я больше не видела. Но я слышала, что брат мой ранен, ранен не особенно тяжело, что он эвакуирован в наилучшем военно-санитарном поезде, то есть в поезде, снаряженном на счет императрицы. Из этого нетрудно было заключить, что брата Платона повезли в столицу и что он, может быть, попал в Николаевский военный госпиталь, где я некогда постигала ремесло сестры милосердия.

Понятно, я намеревалась навестить брата в первый по приезде день, спросив о месте его пребывания у Владимира Рафаиловича Зотова: он-то, наверняка, был осведомлен.

Извозчик повез меня в Эртелев. Я с особенным удовольствием слушала стук копыт, очень точный, какого, по-моему, нигде нет, кроме как в Петербурге.

В подъезде нашего флигеля мне попался лакей в красной ливрее, но я, очевидно, волновалась и даже не удивилась, хотя красную ливрею носили лакеи дворцовые, а они в нашем дворе отродясь не появлялись.

Дверь была полуотворена, из нашей квартиры доносились голоса, мне незнакомые, кроме одного, несомненно принадлежащего брату Платону.

Я вошла. Брат Платон изумленно распахнул объятия. Обнимая и целуя меня, повторял: «А вот и второй сюрприз, а вот и второй сюрприз...»

Трое офицеров, поспешно вскочивших, улыбаясь, застегивали мундиры. Офицеров этих я не знала, исключая капитана Коха, давнего братнина приятеля. О том, что они и поныне остались приятелями, свидетельствовал стол с остатками пиршества, длившегося, вероятно, далеко за полночь и теперь только что продолженного.

С неделю назад брата выписали из госпиталя. Третьего дня Платон вместе с другими ранеными офицерами представлялся в Зимнем дворце государю.

С восторгом брат Платон рассказывал, как государь обошел всех, с каждым поздоровался. Он был в сюртуке, который носил и на войне. Особенностью сюртука, умилившей брата Платона, были пуговицы: пуговицы с портретами августейших детей. Император благодарил офицеров за службу и выразил надежду, что в его царствовании больше уже не прольется драгоценная русская кровь.

А нынче, за минуту до меня, дворцовый камерлакей привез артиллерии капитану Платону Ардашеву пакет с деньгами: на дальнейшее лечение. Это и был, стало быть, сюрприз первый, а я, значит, оказалась вторым...

Я, помнится, отмечала перемену в Платоне, когда мы встретились на театре военных действий. В нем обнаружилась особенная сдержанность; чудилось, что, находясь в огне, он к чему-то прислушался и что-то важное, серьезное расслышал.

Наблюдая его в Петербурге, я была разочарована: он обратился в прежнего офицера столичного калибра. Жизнь его, покамест свободная от службы, текла рассеянно. Попойки и театр-буфф; кафешантан и канканеры вроде известного тогда Фокина; дамы под вуалью, опять вино и опять приятели.

И все-таки в неопрятном существовании моего брата не было прежней, довоенной бесшабашности. Чуялись озлобление, какая-то растерянность.

Худо скрывая раздражение, брат Платон замечал, как его приятели потихоньку-полегоньку примазываются к различным тепленьким должностишкам. Он сетовал на «обмеление» чувства товарищества, и я его понимала.

Действительно, на войне у многих офицеров — молодых, первых трех чинов — свое, личное как бы растворялось в общем «мы». Никто из карьерности не наступал на мозоли сослуживца; под огнем, в общих несчастьях и общих испытаниях возникало это особенное, это молодое благородное братство.

Гроза минула. Военная публика, в орденах и шрамах, постепенно огляделась. И что? А ничего! Возвращайся-ка, братец, к мизерному бытию мирного времени. Получи оклад обыкновенный вместо усиленного, полуторного. Экономь на свечах, на дровах и денщиках. Хочешь, живи при казарме, а хочешь, на квартирные деньги найми комнатенку от хозяина.

Теперь, когда пишу настоящие строки, вряд ли многие помнят, что именно в семьдесят восьмом году, в послевоенные лето, осень и зиму, среди офицеров, и опять-таки в первую голову молодых офицеров, прошедших войну, гуляла эпидемия самоубийств. Стрелялись не только в одиночку, но, случалось, и «за компанию». Стрелялись и в армии, квартирующей за границей, и в армии, расположенной в отечестве.

Сказывались нервические потрясения минувшего, внезапная тишина сказывалась; однако главный и определяющий мотив звучал зловеще-монотонно: «От невеселой своей жизни...», «Жить надоело», «Жить скучно...»

Тут ужас в отсутствии какой-либо драмы, любовной или материальной, когда тупик иль пропасть, нет,— «надоело», «скучно», вот, мол, дождь не перестает, табак пересох и опять бриться надо — словом, такая тина, что и в предсмертной записке нечего сказать.

Какая участь постигла бы моего брата, останься он, так сказать, обыкновенным офицером, решать не

берусь. Но Платон не остался обыкновенным офицером.

Здесь надо вызвать тень Мещерского.

До войны я не смеялась над фатализмом и фаталистами, наверное, потому только, что никогда и не задумывалась. На войне и после войны тоже не смеялась. Но уже потому, что получила «материал», заставлявший призадуматься.

Со своей просьбой о медальоне князь Эммануил Николаевич обратился к нам, к брату Платону и ко мне, накануне рокового сражения, за несколько часов до гибели, словно бы предчувствуя ее. Этот медальон с локоном жены мы сняли с груди убитого, и мне как бы в безотчетном порыве захотелось оставить медальон у себя, но тут мы переглянулись с Платоном, и вся кровь бросилась мне в голову. Мы оба в одно мгновение поняли, что́ именно понудило меня сделать это движение, что́ именно вызвало этот как бы безотчетный порыв: у меня, мол, заветная реликвия окажется в более надежной сохранности, нежели у брата, который как боевой офицер, принявший батарею князя Мещерского... Ну да понятно, о чем речь... Кровь бросилась мне в голову, я прижалась к Платону, а он бормотал смущенно: «Пусть со мною... Может, как талисман, а?»

И Платон не расставался с медальоном ни на театре военных действий, ни в военно-санитарном поезде, ни в госпитале. Но в Петербурге н а д о было расстаться, ибо нельзя было не исполнить последнюю волю Эммануила Николаевича.

Брат говорил, что мы должны вдвоем отправиться к вдове его, Марии Михайловне. Я не спорила, однако и не соглашалась. Почему? Годы прошли, мне бы сейчас сподручно объяснить фаталистическим предчувствием, но это не так. Никаких предчувствий не

возникало, роилось непонятное, беспричинное и нехорошее предубеждение к княгине, которая-де посреди светских, аристократических удовольствий и думать позабыла о покойном муже. А между тем я ведь помнила со слов Эммануила Николаевича, что они отнюдь не богаты, да и вообще никаких, решительно никаких поводов для подобного предубеждения у меня не находилось.

Как бы ни было, Платон отправился один.

(Я не очень-то ясно представляю, как мне продолжать. Затруднение в том, что многое и Платону, и мне сделалось известным не сразу. Но если излагать череду и смену неожиданностей, выйдет затейливо и, пожалуй, романически. Затейливость не прельщает, а романическое пугает. Остается писать, как пишешь задним числом, когда все или почти все тебе известно.)

Княгиня Мещерская жила на Английской набережной, в одном из тех барских домов, которые красиво обрамляют Неву и не имеют темных, вонючих въездных ворот, так как флигели и дворы находятся позади и обращены к Галерной улице.

Жила она вместе со старшим братом, князем Долгоруким. На какие средства существовал, служил ли этот Долгорукий, я как-то не упомнила, да и не помню, интересовалась ли.

Мария Михайловна, вдова нашего Мещерского, занимала комнаты первого этажа; совсем недавно там обитала и ее старшая сестра, Екатерина, но она променяла особняк на апартамент в Зимнем.

(Отсюда, от Екатерины Долгорукой, тянется нить к императорской короне, к бельведеру в Петергофе, к ливадийской вилле и прочему. Но пока, стройности ради, продолжу нить младшей Долгорукой, вдовы нашего Мещерского.)

Она была уже не первой молодости — дело шло к тридцати. Однако Марию Михайловну следовало причислить к тому типу женщин, которых называют «прекрасными блондинками». Платон даже «видел», как от ее «золотистых волос исходит лучистое сияние», а когда я вскользь заметила, что «золотистые блондинки» обычно конопатые, он, как в детстве, казнил меня презрительным взглядом — много ты, дескать, понимаешь...

Семейство этих Долгоруких могло похвастать именем, известным в русской истории, но не могло похвастать имениями. Древность рода не избавляет от оскудения.

Генерал Рылеев (о нем впереди) рассказывал брату Платону со слов государя, как он, государь, ехал однажды на юг; на какой-то станции к нему обратилась старушка Долгорукая с жалобой на расстроенное состояние, прибавляя, что дочери, воспитанницы Смольного, останутся, увы, бесприданницами... И заключила: «Ваше величество, окажите им вашу милость...»

Не уверена в подлинности эпизода, скорее уверена в его, так сказать, позднейшем происхождении, когда «милость» действительно была оказана. Но... одной лишь старшей, только Екатерине, а не Марии Михайловне. Последняя так бесприданницей и вышла за нашего Мещерского, тогда уже полковника и флигель-адъютанта, но тоже не «отягощенного» ни родовыми, ни благоприобретенными...

Итак, Платон отправился на Английскую набережную, к вдове своего бывшего батарейного командира. Он застал княгиню в хлопотах: начинался дачный сезон, Мещерская собиралась в Царское; не столько ради лип, озер и цветников, сколько ради сестриных щедрот, а сестра ее, Екатерина, разумеет-

ся, следовала в Царское за государем. (Саркастически говоря о щедротах, надо справедливости ради отметить, что вдова Мещерского располагала лишь пенсией в тысячу серебром на год, как и все прочие вдовые полковницы.)

Платона поразили (сохраняю собственные его выражения) «святая просветленность» Марии Михайловны, ее «прелестная и покорная грусть», то самое «лучистое сияние золотистых волос», о коем уже говорилось.

Медальон приняла она в ладони, приняла, «будто горлицу», и, обернув тыльной стороной, «надолго приникла губами».

Они сидели в гостиной окнами на Неву. Расспрашивая о муже, о последних днях, о сражении пятого сентября, она подносила платок к глазам, благодарила Платона и называла себя «вечной его должницей».

Брат уже собирался откланяться, Мещерская взяла с него слово навестить Царское — и тут под окнами загремела карета. Приехала Екатерина Долгорукая. К младшей сестре на минуту заглянула старшая. И с нею мальчик, очень, как говорил Платон, бойкий, в форменном костюмчике казачьего офицера.

Платон был представлен элегантной даме с роскошными каштановыми волосами и со столь же роскошными драгоценностями.

Вдова просила повторить о Мещерском. Платон стал рассказывать. Вдова расплакалась. Екатерина утешала сестру, и притом, как показалось Платону, чуточку раздраженно. Засим она перевела разговор, осведомляясь, где ныне служит господин Ардашев, каковы его дальнейшие намерения и т. д.

Тут-то мой Платоша и брякнул о товарищах-ветеранах, которые преуспели после войны, а он... ах, такой уж он рохля... Я далека от подозрений в коры-

стной расчетливости. Брат был немножко лукавец, но своим лукавством, искрившимся всегда в дамском обществе, не преследовал грубо практических целей, а как-то ребячески пользовался для возбуждения вящей симпатии.

Не утверждаю, что участь Платона устроилась тотчас, в доме на Английской набережной, где он очень скоро сделался своим, слишком своим человеком, но, во всяком случае, нежданно-негаданно ему была обеспечена протекция Екатерины Долгорукой.

Чем она руководилась? Просто ли симпатией к бравому и пригожему герою Шипки и Плевны? Желанием ли обзавестись преданным и благодарным «мушкетером»? Или, прости господи, намерением «побаловать» младшую сестрицу? А может, и всем этим вкупе?

Как бы там ни было, Платон, выражаясь языком минувшего века, попал в «случай», в фавор. С того именно, с первого визита на Английскую набережную, и открылся ему путь на другую набережную — Дворцовую.

Никакой внутренней борьбы в нем не происходило. Нет, он загорелся, у него голова пошла кругом. Нечего говорить, я-то была против, я и доказывала, и убеждала, и стыдила... Куда там! Он беспечно смеялся, отмахивался, сердился. «Ужо всем покажу!»

Ему так не терпелось очутиться при дворе, что он не постеснялся искать протекции, не дожидаясь княгининой, у капитана Коха, а Карл Федорович был уже начальником собственного его императорского величества конвоя.

Вожделения свои Платон открыл и Владимиру Рафаиловичу Зотову; впрочем, без надежды на помощь (да и какую, казалось бы, помощь мог оказать в сем деле наш Владимир Рафаилович, совершенно

невесомый в придворной сфере?); Платон ему открылся просто оттого, что такая у нас привычка была с самого раннего детства, была и осталась.

Я полагала, что Владимир Рафаилович примет мою сторону. Он и попытался, но вяло, нерешительно. Не умел отказывать Платону, прощал многое, хоть и ворчал подчас. А тут и вовсе пошел, как говорится, на поводу: пораскинул умом, взял да и замолвил словечко давнему приятелю, сослуживцу по военному еще министерству (если не ошибаюсь, некоему Кириллину), который занимал важное кресло в министерстве двора.

Вот так и сложился этот роковой «пасьянс», одно к одному.

4

Из предыдущего получается, будто я только Платоном и дышала. Конечно, родственные чувства. Разумеется, благодарность судьбе: брат уцелел, не искалечен. Но отнюдь не жажда крахмального чепчика экономки.

Каюсь, я не спешила отыскать товарищей, даже Александра Дмитриевича. Во мне обнаружилась душевная тупость. Очевидно, следствие долгого, чрезмерного напряжения.

Я много и крепко спала. Кошмары, терзавшие после войны сестер милосердия, меня не посещали. Это уж годы спустя видения войны встали мучительно-ярко, а тогда их не было.

И спала я много, и гуляла много. Так, без цели. Лето было непогожее, и эта пасмурность, эта прохлада были приятны.

В Летнем саду вечерами играл оркестр военной музыки. Вход был бесплатным, публики собиралось

много, в особенности нечиновной, левые скамьи у оркестра занимали сплошь студенты и курсистки.

Военная музыка, тогда она была лучше нынешней, исполняла оперные увертюры, вальсы, марши. Рукоплескали музыкантам дружно. В антрактах возникал «клуб»: обменивались новостями, назначали свидания (не только любовные, но и конспиративные), обсуживали «Отечественные записки», толковали о болгарской конституции, не в том смысле, хороша иль нехороша, а в том, что сами-то освободители остались с носом... Шумно было на левых скамьях.

Приходя в Летний, к оркестру, я держалась левой стороны. Однако было мне не совсем ловко: я чувствовала себя переростком, не в своей тарелке, смущалась подчеркнутой уважительности студентов и курсисток, узнававших во мне сестру милосердия.

Узнать было нетрудно: я носила на платье алый эмалевый крест в золотом ободе с надписью: «За попечение о раненых и больных воинах»; то была первая, высшая степень знака отличия Красного Креста.

Однажды на Морской я встретила генерала Драгомирова, бывшего командующего 14-й дивизией, а тогда, по-моему, назначенного в Академию Генерального штаба. Он, конечно, меня не помнил, но, заметив мой крест, поклонился и улыбнулся так, как кланяются и улыбаются соратнику. Я была растрогана.

Но в Летнем саду, в «клубе» возникало иное: хотелось каяться. Так, мол, и так, господа студенты, крест сей жалует государыня; и вот его нацепила, носит и тешится ненавистница династии, «нигилистка»; что вы на это скажете?

Знак отличия Красного Креста могли изъять по суду «в случае проступков, долгу и чести против-

ных». Как раз отсутствие проступков и было для меня противно долгу и чести. Но, повторяю и признаюсь, такое уж «вступило» в душу, что она вовсе не жаждала ни поступков, ни проступков, а хотела ленивых облаков, ленивых дождиков, музыки Летнего сада.

К сожалению, надо было озаботиться и завтрашним днем. Владимир Рафаилович брался поставлять корректуры. Заработок мизерный, а труд муравьиный. Я не отказалась.

На Инженерпой, в Главном управлении Российского общества Красного Креста, мне предложили записаться слушательницей Надеждинских врачебных курсов. Предложение было заманчивым, ибо сулило пособие, назначенное избранным участницам войны, пожелавшим продолжать медицинское образование; стипендию эту учредила принцесса Ольденбургская. Кроме того, меня зачислили платной сиделкой — Общество направляло сестер милосердия к состоятельным пациентам.

Курсы возобновлялись осенью; я и взяла неспешные корректуры, хотя кое-какие деньги у меня еще водились.

Помню: непозднее утро, накрапывал дождик. Я расположилась с работой, ощущая себя паинькой. Платона не было. Он теперь все чаще пропадал в Царском. Появляясь, ходил гоголем и ронял, что он уже в знакомстве с генералом Рылеевым, а посему, дескать, все очень-очень хорошо. Платон шутил, что скоро подарит мне платье из серебряной парчи, как у великих княгинь.

Да, в это вот уютное, тихонькое утро принялась я за работу, положив рядом табличку корректорских знаков, составленную для меня Владимиром Рафаиловичем.

И тут прозвенел звонок. Клянусь, еще не отворив дверей, я угадала, кто это... Мгновение мы смотрели глаза в глаза, и я чувствовала, как предательски заливаюсь краской.

Бросилась к самовару, благо еще не остыл, посвистывал; туда-сюда, собрала на стол, чашку ему, чашку себе — и все это суетливо, и все это, стыдясь своей суетливости, и он тоже, кажется, смутился.

Он был с поезда, проездом, из Москвы, полон московскими впечатлениями, стал говорить об этом. А мне — как передышка, чтоб вихрь унять. И я слушала, хоть, наверное, и не все слышала.

История вкратце такова. Через Москву в ссылку гнали киевских студентов. Москвичи-коллеги собрались встретить и проводить киевлян. Натекла публика — университанты, из Петровской земледельческой, прочая. Шли мирно, полные молодого корпоративного духа. И вдруг — орда мясников, орда лабазников, грязная лава Охотного ряда, извержение первопрестольной: «Бей барских щенков!» На полицию столбняк напал, ни с места. После узнали, что именно полиция и распалила чернь: лупи, ничего не будет, круши, пусти юшку. И вот били! Три часа кряду били, кого ни попадя, лишь бы «морда образованная», не щадили и барышень. Хрип, крик, кровь — истинно московская потеха, как при Иоанне Грозном.

А спустя время опять истинно московская потеха, только на иной лад: надумали судить... избитых. Избитых судить, а не избивавших! Когда остынешь да подумаешь, оторопь берет: каково, однако, государство Российское! Что-то будто и меняется, а на поверку, как из тухлого колодца, мертвечиной несет...

Суд назначили в одной из зал Сухаревой башни (есть такое строение в Белокаменной). А накануне собралась студентская сходка в столовой Техническо-

го училища. Александр Дмитриевич узнал, пришел. Там он встретил наших, Квятковского, это я хорошо помню, а еще, кажется, Морозова Николая, ныне исчезнувшего из мира живых и давно, по слухам, изнывающего в крепости.

Публика была взбудоражена: во-первых, к суду тянули ни в чем не повинных, а во-вторых, будто бы замышлялось повторное избиение — избиение тех, кто придет сочувствовать, поддерживать подсудимых. Похоже было на правду: вокруг Сухаревой — торжище, лавки, лабазы не хуже, чем в Охотном, а значит, та же чернь.

Что было делать? Не хотелось, чтоб в другой-то раз «святым кулаком по окаянной шее»... Александр Дмитриевич рассказывал, что боевое настроение публики, решившей защищаться, очень ему пришлось по душе: после Синеньких пахнуло свежим ветром.

Утром пошли. Михайлов запасся полусотней патронов и револьвером. Площадь у Сухаревой башни была пустынной. Ни души, лавки на запоре, во дворах, в подворотнях — кучатся городовые. «Я был как сжатая пружина»,— сказал Александр Дмитриевич и улыбнулся этой своей необыкновенной улыбкой, приветливой и простодушной, от которой лицо его, обычно серьезное, даже, пожалуй, пасмурное, юношески светлело. И я улыбнулась: «Небось мурашки бегали?» Он рассмеялся: «Э, вам-то, воительнице, привычно, а нам, рябчикам, боязно».

Александр Дмитриевич, Квятковский, Морозов, еще кто-то явились в судебную залу первыми. Никто не останавливал: розовые времена! Зала, низкая, сумеречная и прохладная, быстро полнилась, а вокруг Сухаревой теснилась, нервничая в ожидании «атаки», студентская толпа.

Дело слушалось долго. Мировой с цепью на груди держался корректно. Наконец прочел приговор — и все изумленно переглянулись: большинство оправдано, нескольких присудили к двум-трем **дням** ареста, и все! Что тут поднялось! Поздравления, объятия, восторг — справедливость торжествовала.

— Вот оно, наше «правосознание»,— сердито вздохнул Александр Дмитриевич. — Невиновных оправдали, а мы и запрыгали на одной ножке, черт нас возьми совсем! Блеем: «Бе-е-е-е» — вместо того, чтобы тотчас требовать осуждения действия чинов полиции... Нет, «гром победы раздавайся», айда пиво пить. Противно, честное слово.

Он помолчал. Потом прибавил:

— Да и я хорош. Ведь понимал, что упущена возможность, этот чертов мировой всю обедню испортил. Понимал — так нет, и я, дурак, тоже возрадовался, рассиялся, как на именинах.

Многое было для меня неожиданным. И этот револьвер, которым он запасся, и это намерение произвести не просто демонстрацию у Сухаревой башни, а демонстрацию политическую... Что-то важное, поворотное ускользнуло от меня, покамест я обреталась за Дунаем. Похоже, театр военных действий перемещался сюда, в пределы богоспасаемого отечества. Было над чем призадуматься.

Конечно, еще в Сан-Стефано я знала и о выстреле Веры Засулич; и о том, что наши оказали в Одессе вооруженное сопротивление при аресте; и о покушении Валериана Осинского на прокурора, впоследствии мрачно-известного волка Котляревского; а приехав в Петербург, узнала, что в Киеве убили жандармского офицера барона Гейкинга.

Все это мне было известно. Но как бы разрозненно. Я не сознавала **тенденции**. А теперь сознала,

уловила направление, от которого так и шибало порохом.

У Сухаревой башни я б тоже ликовала; я бы не огорчилась тем, что мировой «испортил обедню». Но и то сказать, разве не следовало дать урок властям? Далее. «Смит и вессон» не вязался с ролью пропагандиста. Но опять-таки разве не следовало отбиваться от врага? И не только отбиваться, а и нападать на передовые посты — на прокурора, на жандармского офицера,— как наши донцы на турецкие пикеты?

Но боевое настроение Александра Дмитриевича насторожило меня. Не испугало, тут было другое, хотя и близкое. Совсем недавно я видела, что такое эти действующие «смит и вессоны», видела зловеще-быстрый ток живой крови, истерзанную плоть...

За окнами, на дворе, вдруг тяжело и звонко начал падать ливень. И глухо раскатился дальний гром. А я подумала, что вестовая полуденная пушка раньше, когда я была девочкой, стреляла из Адмиралтейства, а теперь — с бастиона Петропавловской.

Михайлов подошел к окну и выставил ладони под прямые и толстые струи дождя. Постоял, покачиваясь на носках, спина у него была широкая, крепкая. Потом он вернулся к столу, отирая руки платком. И сразу заговорил о деле, не терпящем отлагательств. Он говорил так, словно ни на миг не сомневался в моем согласии участвовать в этом спешном и опасном деле. Изложив суть, осведомился:

— А брат ваш? Где он, как?

Я отвечала, что Платон, слава богу, жив-здоров, что он здесь, в Петербурге, собирается... собирается держать экзамен в академию.

Относительно академии я солгала. Но, видит бог, сказать правду я не могла и не хотела. Это мое, семейное, никого не касается.

Михайлов взглянул вопросительно. Я похолодела: неужто угадал ложь? Но нет, он о другом молчаливо спрашивал, и тут я отвечала чистую правду: Платон Илларионович Ардашев, к сожалению, не нашего поля ягода.

— Да, жаль,— согласился Михайлов.— А нет ли у вас подруги где-нибудь на вакациях? Надо ему как-то объяснить ваше отсутствие. Отправилась, дескать, отдохнуть в деревне.

...Какие-то причины, мне неведомые, задержали наш отъезд на неделю, и я еще раз встретилась с Александром Дмитриевичем. Он заглянул ко мне, в Эртелев, после очередного свидания с Зотовым, и мы беседовали не то чтобы дольше давешнего, но обстоятельнее.

Нет, очевидно, нужды напоминать о совершавшемся в ту пору отливе наших сил из деревни в город, о постепенном и партизанском переходе к боевым террорным средствам борьбы.

Не стану утверждать, что я была зорче моих друзей. Но из этакого перехода, естественно, возникал «смит и вессон» со всеми, так сказать, револьверными последствиями. А я слишком хорошо знала, как легко пустить кровь и как трудно остановить кровь. Не абстрактную, словесную, журнальную, а живую, горячую, с ее острым, пугающим запахом. Я это знала слишком хорошо!

Наконец, переход к новым средствам был мне не совсем понятен именно у Михайлова. Ведь недавно его поглощали помыслы о расколе, о некоей революционной религии — и вот отступил в сторону «смит и вессона»?

— В расколе,— отвечал Александр Дмитриевич,— там, матушка, чувствуешь себя, как ватой обложенный. И будто глохнешь. Будто нет ничего на

свете: ни движения, ни энергии. Ощущаешь себя таким одиноким в каких-нибудь Синеньких, таким заброшенным, хоть плачь...

Он улыбался. Я сказала, что это правда, но верхняя, а не глубинная. Он взглянул на меня не без удивления. Его удивление мне польстило: то было признание моей проницательности.

— Да,— сказал он уже без улыбки,— что верно, то верно: раскол — сила великая, хоть и косная. Там знаете что меня в особенности привлекало? А вот это убеждение, что царство русское «повредилось», что власть у антихриста, а настоящая Русь «ушла под землю»... Я понимаю, о чем вы... Разумеется, Христос — воплощение любви. Но и воплощение гнева! Ведь он изгнал торгующих из храма — чем? Разве проповедью, а? Нет, бичом изгнал... И еще вот что, Анна. Вы помните, что дело прочно, когда под ним струится кровь. Ну, вот, вот. Да только чья кровь струится? В том-то и суть: своя. И тут искупление...

Нынешние, праздно болтающие, «оппозиционно» распивая чаи с крыжовенным, осуждают погибших: ай-ай-ай, решились на кровопролитие. Я отказываюсь понимать нынешних «оппозиционных»! Разве они знают душевные страдания тех, кто, погибнув, ушел к своим братьям, покоящимся в лоне матери-земли, к братьям, которым тоже не удалось решить великие вопросы устроения жизни?..

Тогда, перед отъездом в Харьков, Александр Дмитриевич просил меня наведаться в ортопедическую лечебницу на Невском, против Малой Морской. Хозяину лечебницы принадлежал весь дом, в бельэтаже которого размещалось «Центральное депо оружия».

— Мне обещали приобрести отменный механизм,— объяснил Михайлов.— Уж домовладельцу

приказчики не всучат какую-нибудь дрянь. Мне ходить, лишь швейцару глаза мозолить, а я не знаю, куплен ли отменный сей механизм. Вот вы и разведайте.

Я согласилась, но прибавила: а почему, мол, мне и не забрать «отменный механизм»?

Михайлов тряхнул головой:

— Э, нет! Еще попадетесь с ним...

— Я-то, коли и попадусь, не окажу сопротивление, а вы, думаю...

— Я? — переспросил он серьезно. — Непременно, это решено. Бог выдаст — съем свинью, это решено.

Я поехала конкой.

Приезжаю.

Ливрейный лакей, из тех, что ужасно важничают, повел меня к барину. Шагов не слышно было — ноги утопали в коврах.

Я увидела мебель красного дерева, картины, вазы с цветами. Роскошь не отдавала нуворишем, но все равно коробила мою нигилистическую натуру.

Из гостиной появился белокурый господин в летнем дневном костюме — светлый пиджак с белыми перламутровыми пуговицами, темные брюки. Господин изволил тотчас признать бедную посетительницу, протянул руки и продекламировал звучным баритоном:

Мадам, я вам сказать обязан —
Я не герой, я́ не герой,
Притом же я любовью связан
Совсем с другой, совсем с другой!

И мы оба покатились со смеху.

Он был по-прежнему моложав, красив, строен, этот доктор Орест Эдуардович Веймар. Тот самый, что на своем рысаке Варваре похитил из тюремной больницы кн. Кропоткина; тот самый, что выручил

меня на первом моем ночном дежурстве в военном госпитале.

Я еще ни о чем не поспела осведомиться, как из гостиной вышел человек, овеянный папиросным дымом, и остановился, глядя на наши веселые физиономии. Орест Эдуардович представил меня своему гостю. Гость назвался, но весьма невнятно. Мне казалось, что я встречала этого человека, и лишь потом сообразила, что прежде-то видела не его самого, а его фотографический портрет.

— Давняя знакомая,— говорил Веймар, пропуская нас в гостиную,— с басурманом сражались. Ты, Глеб Иванович, поспрошай Анну Илларионовну, она тебе многое порасскажет.

И тут-то меня осенило: да это — Успенский. Глеб Иванович! Я совершенно потерялась, разинула рот.

— Ах,— сказал он,— досада-то какая: водку пропустили!

Сказано было добродушно, дружески, но я будто б «споткнулась» об эту шутку и буркнула:

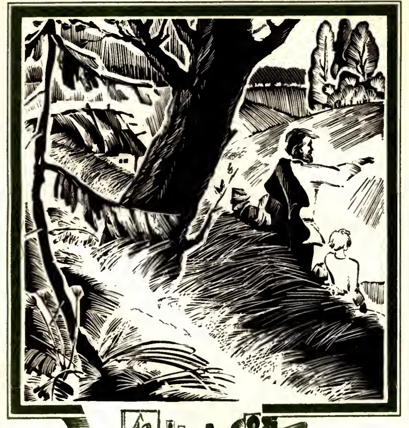
— А я не пью.

Он с комическим недоумением развел руками:

— Эва, «не пью»... Что вы? Что вы?

Я не была обижена или задета, пустое, но мне показалось несовместным — Глеб Иванович Успенский и... и такие плоские шуточки. И я бы, наверное, думала, что лучше не знать «живого» писателя, а читать то, что он пишет, так бы и думала, если бы не те несколько слов, тяжелых, мучительных слов, произнесенных Успенским. Не для меня, даже не для Ореста Эдуардовича, а как бы для самого себя, самому себе...

— Приобрел-с,— весело говорил доктор Веймар, подводя меня к креслу и усаживая,— и такой, знаете ли, приобрел, какой и у Османа-паши не водился,



Монстр! Гиппопотама разнесет по шерстинке. Не извольте беспокоиться, отличнейший механизм...

— А! — коротко бросил Успенский, глянув на меня быстро и внимательно, машинально прилаживая папиросу — у него была манера вставлять, не докурив, новую папиросу в старую гильзу.

«А!» — бросил он, и я поняла, что Успенский знает, о чем речь.

Впоследствии я несколько раз видела и слушала Глеба Ивановича. Я даже была у него дома, на встрече восемьдесят первого года, когда многие из собравшихся словно бы простились с Глебом Ивановичем.

Пред мысленным взором он весь — с вечной папиросой, высоколобый, застенчивый, редко улыбающийся, с удивительно переменчивыми глазами, то темными, то внезапно голубеющими. Вот он задумывается, глядя вбок и поверх слушателей, точно уходит далеко-далеко, и там, вдали, рассматривает что-то свое, особенное. Вот он возвращается и продолжает, окутываясь дымом, продолжает свои рассказы, вызывающие то гомерический хохот, то слезы...

Да, мне посчастливилось и видеть и слушать Глеба Ивановича, писателя и человека, в котором, убеждена, воплощалась русская совесть, русская скромность, чистота и мука, но первая встреча поразила меня по-особому, потому что именно тогда, у доктора Веймара, в погожий летний день, в светлой красивой гостиной, Успенский, покосившись на револьвер-монстр, принесенный из кабинета Орестом Эдуардовичем, тихо и внятно проговорил:

— Не верю, что э т о приведет к правде... Не верю, не могу поверить...

А потом, годы спустя, передал осужденной Фигнер коротенькую записочку: «Как я Вам завидую».

И не верил, и завидовал тем, кто верил.

5

Дважды мне пришлось покидать Петербург и следовать за Александром Дмитриевичем. И оба раза летом. Летом семьдесят восьмого года и летом семьдесят девятого. Поездки эти залегли в памяти друг подле друга, и мне легче писать так, как они запечатлелись, как в чувствах остались. Да ведь в конце концов не хронику пишу.

Начну, как и было, Харьковом.

Разными поездами нас съехалось туда больше десяти человек, и мы рассеялись кто где, браня домовладельцев, которые драли дороже столичных, не предоставляя, однако, столичных удобств.

С грехом пополам я наняла комнату окнами на грязный двор и ретирадное место. Рядом был Покровский монастырь с большим садом. С возвышенности виднелась речка, а вернее, цепь зеленых лужиц, у края которых вкривь и вкось стояли мыловарни и салотопни. Троицкая ярмарка еще не отошла, и оживление, вызванное многолюдным торжищем, не улеглось.

Из всех наших, кажется, я одна обладала неподложным видом на жительство. Я сказала хозяйке-чиновнице, что намерена приискать занятие по медицинской части, и для отвода глаз заглянула в местное управление Общества Красного Креста, и в лечебницу для приходящих, и в детскую больницу, готовящуюся к открытию; ее устроитель, врач Франковский, любезно предложил мне на выбор несколько должностей.

Но и вправду мое пребывание в Харькове имело цель практически медицинскую. Возможно было кровопролитие. Потребовалась бы первая и спешная помощь товарищам. В назначенный день по сигналу

я обязана была дежурить в конспиративном особняке, который наняли, как «супруги», Михайлов и Софья Львовна Перовская. Была еще конспиративная квартира, вроде запасной; там жила нефиктивная пара — Баранников и Ошанина, известная якобинка. Кроме того, наши располагались на постоялом дворе, еще где-то.

Собралась настоящая дружина, и Михайлов распорядился, как заправский военный: создал несколько опорных пунктов, выставил поочередных наблюдателей на станции железной дороги и на «рогатке», где расползались старинные шляхи — Чугуевский и Змиевский.

Прибавьте карты окрестностей и полевой бинокль, купленные еще в Петербурге, в магазине Генерального штаба; прибавьте офицерские мундиры, лошадей, коляску, огнестрельное оружие, в том числе американский многоствольный револьвер, эдакое чудище, способное сразить бегемота. Тот самый, которым мы раздобылись с помощью доктора Веймара.

Необходимо сказать несколько слов, не осуждающих, нет, однако укоризненных. Доктора Веймара осудили в каторгу как раз за снабжение террористов оружием, а между тем наши Оресту Эдуардовичу не открыли, для чего, с какой целью приобретается револьвер-монстр. Конечно, не младенец, догадывался, но впрямую-то ему не говорили. Понятно, конспирация, а все-таки...

Я упомянула наблюдателей, располагавшихся и на станции железной дороги, и на трактах. На станцию должны были п р и в е з т и, а по трактам должны были о т в е з т и. Отвезти либо в Новобелгородскую тюрьму, что за сорок верст от Харькова, либо за шестьдесят верст, в Новоборисоглебскую.

Обе тюрьмы были старыми. Но в смысле вполне определенном и страшном они были новыми. То были детища генерал-адъютанта Мезенцева, ибо это он, шеф жандармов, учредил централы, то есть центры умерщвления политических каторжан.

Законом не предусматривалось одиночное заключение политических преступников. Законом не предусматривалось лишение свиданий, книг, занятий. Но есть ли закон, коли есть шеф жандармов?

Вечерами, а то и в пустые томительные полудни, когда все замрет и задремлет, бегали мы на конспиративную штаб-квартиру, наперед готовые снести сердитую воркотню Александра Дмитриевича.

На харьковских «посиделках» я пригляделась ко многим. А к Софье Львовне Перовской в первую голову. Личность известная, мученица, свободная Россия поклонится ей низко. Не тем будь помянута, а с немалым была самолюбием, как и будущий друг ее, Желябов Андрей Иванович. У меня с Софьей Львовной никогда близости не возникало; подозреваю, она меня не очень-то жаловала, хоть и не выказывала ни враждебности, ни какого-либо раздражения. Ну, да это не важно, пустяки... Была у нее одна черта: абсолютное, совершенно ледяное презрение к властям предержащим. От такого презрения всякая мундирная особь должна была ощущать себя насекомым. Не удостаивала ни гневом, ни ненавистью — презирала.

В Харькове был и Баранников, тезка Михайлова, старинный, с путивльского детства друг его. Баранников мне нравился, но я иронизировала: «в чайльдгарольдовом плаще» — его мрачность, бакенбарды, смуглость казались мне приметами байронизма.

Но вот кто мне решительно не нравился, так это тогдашняя жена Баранникова — Мария Николаевна
 Ошанина. Никаких раздоров у меня с нею не возни-

кало, но я словно ежилась в ее присутствии. В ней угадывалось нечто от тех генералов, которые не щадят солдат. (Правда, и себя тоже.) Спешу прибавить: революционная репутация Ошаниной как была, так и осталась без пятнышка. Ныне она никнет без дела на чужбине, в Париже.

Кажется, на день-два позже нашего приехал из Киева Валериан Осинский. Его позвал на подмогу Александр Дмитриевич, он и приехал. Тогда, в Харькове, я видела Валериана в последний раз; года не минуло, он прислал предсмертное письмо... Осинский, непоседливый, изящный, экспансивный, был удивительно милым человеком. Чудилось, стеклышки его пенсне на черном шнурочке так и брызжут искорками...

Помню, я спрашивала Михайлова, зачем это генеральному жандарму Мезенцеву понадобились централы; ведь есть у него и Алексеевский равелин, и Карийская каторга за Байкалом.

Александр Дмитриевич отвечал, что, по-видимому, шефу жандармов теперь и питерская бастилия не представляется надежной — столица кишит крамольниками. А Карийская каторга на другом конце земли. Кто знает, может, тамошние начальники по дальности от начальников вышних ударятся в либерализм, да и смягчат режим?

Увы, время показало, что и бастилия осталась бастилией и местные начальники не ударились в либерализм. Но очень вероятно, генерал-адъютант Мезенцев попросту желал ублаготворить государя каким-то особенным новшеством: «Ваше величество, а не учредить ли централы?»

Александр Дмитриевич в оракулы не играл, однако отличался непостижимой осведомленностью. Но странно: тогда его осведомленность меня не поража-

ла. Поражает теперь, когда известно, что Клеточников проник в Третье отделение в семьдесят девятом году. А наш Александр Дмитриевич уже в Харькове располагал сведениями, источник которых не мог не струиться из здания у Цепного моста.

Мы ждали узников, направляемых в централы. И, ожидая, сидя в Харькове, уже знали, именно от Михайлова, что один из централов, такой-то, полнехонек; стало быть, повезут в другой централ. Мы также знали, что генерал Мезенцев опасается нападения на конвой.

Мы исследовали оба тракта, ведущие к централам. Убедились, что школьная география не обманывает: далеко видать, степь кругом. Да что прикажете, бывают ли без риска подобные предприятия?

Время шло. Известий не поступало. И нет-нет да и обволакивало ощущение, что вот, наверное, ничего и не будет, ничего не произойдет, а так и будут эти тягучие летние дни, эта зацветающая речка Лопань, ласточки над монастырскими крестами, Павловское подворье с нумерами и лавкой, откуда, как в детстве, пахнет теплыми свежими пряниками, и этот ресторан-пивная, принадлежащий какой-то Марье Ивановне, который сейчас пустовал, а осенью и зимою будто бы пользовался чрезвычайной популярностью у здешних универсантов и профессоров.

Казалось бы, и порожние провинциальные будни, и само это ожидание должны были бы ввергать в дурное расположение духа. А выходило так, что все мы, исключая Перовскую, которая очень нервничала, все мы не только не приуныли, но втайне радовались вынужденному безделью.

И вдруг телеграмма из Петербурга: везут!! Михайлов уверенно назвал имена каторжан: Мышкин и Рогачев, Ковалик и Войнаральский.

Они следовали в арестантском вагоне. К прочим нововведениям генерал-адъютанта Мезенцева надо отнести и появление особых арестантских вагонов, не общих, третьего класса с зарешеченными окнами, как прежде, а с одиночными клетушками для политических.

Узников привезли. Баранников и еще кто-то быстро обнаружили, что троих переправили в почтовую контору, а четвертого поместили отдельно, в тюремном замке.

Как и задумали, наши разделились и выехали на оба тракта. Михайлов с Перовской остались в штабквартире, куда явилась и я, а следом Ошанина.

Михайлов сидел у окна, выходившего сразу на несколько улиц. Почему-то он не снимал своего легкого, светлого пальто, так и сидел в пальто и теребил, теребил, теребил свою шапочку в каком-то охотничьем вкусе. Перовская нервно шагала из угла в угол, а я зачем-то следила за ней глазами, раздражаясь этой никчемной «слежкой».

Минул час, другой, еще час... Я вдруг начала ощущать голод, самый прозаический и неуместный голод. Добро бы жажду, это б еще извинительно.

Наконец все решилось, то есть ничего не решилось: то ли жандармы обманули наших, то ли наши обманулись, но так ли, эдак ли, а троих каторжан, Мышкина в их числе, «благополучно» доставили из Харькова в один из централов.

Я взглянула на Михайлова. Он был бледен, однако не подавлен, не уничтожен, и, увидев его т а к и м, я содрогнулась. Как! Провал, жуткая неудача, а он... Я испытала чувство, похожее на недоумение и негодование, какие испытывала, увидев на Шипке какого-нибудь штабного из главной квартиры. Чувство мое (по отношению к Михайлову, разумеется) было

несправедливым, оскорбительным, да, слава богу, ничего он не приметил, поглощенный своими мыслями.

В городе, в тюрьме оставался один Войнаральский.

Как и других каторжан, я не знала Войнаральского. Но имена Мышкина и Рогачева звучали громко и потому, опять-таки несправедливо, спасение Войнаральского представлялось мне делом менее важным. Конечно, я была бы счастлива его избавлением, но, что греха таить, в меньшей степени, нежели избавлением Мышкина или Рогачева.

А между тем Войнаральский, человек, по тогдашним моим меркам, немолодой, ему было за тридцать, тоже представлял крупную фигуру. Один из пионеров хождения в народ, Порфирий Иванович много работал и в Пензе, и в Москве, и в Поволжье. К тому времени, когда его обрекли централу, Войнаральский уже отсидел полных четыре года в Доме предварительного заключения и в Петропавловской крепости, а теперь впереди у него стояла кромешная тьма каторги.

Детство свое он провел в поместье, по-барски, будучи незаконным, но любимым сыном княгини Кугушевой. Сравнительно недавно и совершенно случайно я услышала, что в настоящее время Войнаральский находится в Якутске. Однажды, говоря о нем с Владимиром Рафаиловичем, я в какой-то связи упомянула о матери государственного преступника. Зотов предположил его родство с покойным писателем кн. Кугушевым, автором и доныне читающегося «Корнета Отлетаева»... Но все это à part *.

Утром — был уже первый день июля — четверо наших выехали спасать Войнаральского. Расположи-

* В сторону (*франц.*).

лись так, чтобы открывались сразу оба тракта: жандармы не могли проскочить незамеченными.

Мы сызнова сошлись у Михайлова. Опять Софья Львовна не могла усидеть, все ходила, ходила, зябко передергивая плечами, а потом вдруг придержала маятник часов: «Не могу слышать, как они стучат...» Тут я заметила, что Ошанина... Ей-богу, не сразу поняла, что она уснула. Прилегла на кушеточку, аккуратно и ладно прилегла, подогнув ноги и не сбив свою тяжелую светлую косу. И вот — спит.

Мы переглянулись с Александром Дмитриевичем...

На дворе с утра натягивало дождь. Около полудня он брызнул, а потом полил что было силы.

Как раз в ту минуту, когда мы оторвались от окна, не выдерживая ожидания, а Перовская задержалась у окна, опершись на подоконник, в ту самую минуту на улице появился Баранников.

— Один!! — ахнула Перовская, и мне мелькнуло, что она перекрестилась.

И точно, к нам спешил, почти бежал Баранников — высокий, сухощавый, в распахнутом офицерском пальто. Александр Дмитриевич бросился в прихожую. Задыхающийся, потный Баранников яростно швырнул свою фуражку, и было слышно, как она четко и крепко клюнула козырьком об пол.

Вот коротко, как сложилось.

Наши на тройке отъехали несколько верст и стали караулить. Жандармы, тоже на тройке, но рослых и сильных почтовых, махом вылетели из города. Наши двинулись вперед. Потом подались к обочине и осадили. Жандармы приближались. Улучив минуту, Баранников оставил коляску и шагнул на середку. Бывший юнкер, он был как влитый в форменное платье.

— Стой! — крикнул Баранников.— Куда едешь?

Ямщик откинулся, удерживая почтовых, они с разгона еще пробежали.

— Куда едешь, спрашиваю?!

Унтер — он помещался напротив Войнаральского, лицом к лицу — отдал честь, отрапортовал... Кто-то из наших выстрелил. Баранников — следом. Унтер закричал, падая вниз лицом, в ноги арестанта, а почтовые шарахнулись, рванули, понесли.

Опять загремели выстрелы. Стреляли по коням. Они — видимо, раненые — мчали, не разбирая дороги, как от волков.

Наши — вдогонку. Не тут-то было. И почтовые оказались резвее, и страх гнал их пуще кнута. Впереди показалась колокольня большого села. Преследовать было немыслимо...

6

Минуя петербургские месяцы, опишу вторую летнюю поездку в провинцию. Харьковская случилась летом семьдесят восьмого, а эта — летом следующего года.

Занятия на моих курсах еще не кончились, но Михайлов поторапливал, и я уехала после дня Бориса и Глеба, когда Неву тяжело колыхал холодный ветер, а шаткая погода не давала определить, что надевать, выходя на улицу.

То ль дело Киев! Теплынь, запах молодой зелени и эта ясность далей с приднепровской кручи. Как хорошо! И вдруг... вдруг грубая сила, которая коверкает и шелест акаций, и шепот тополей, речные звоны и шорохи.

Город казался военным лагерем. Солдатские пикеты, казаки, ружья, составленные в козлы, ржанье полковых коней, окрики хмурых, озабоченных офи-

церов. Словно бивачное положение: судили политических; власти опасались эксцессов со стороны революционеров; их боевой пыл уже достаточно выказался именно здесь, в Киеве.

В Харькове каждый из нас горел — спасти, выручить. В Киеве мы не питали подобных надежд. Приходилось делать денежное дело, связанное с лизогубовским наследством. Александр Дмитриевич должен был повидаться с одним товарищем (человеком живым, энергии необычайной, вошедшим впоследствии в Исполнительный комитет «Народной воли») и получить письма к Дриге.

А пишущая эти строки, как и всегда, была, что называется, на выходных ролях. Вообще меня не зачислишь и в третьестепенные. Отмечаю не ради уничижения, которое паче гордости, и даже не затем, чтобы оправдать узость своих записок.

Дело в том, что я довольствовалась третьестепенным. Удерживала не робость, хоть и не утверждаю, что щедро наделена храбростью; доказательством — приступы страха, испытанные мною на войне. Но нет, не робость.

Многие народники не тотчас, а после внутренних бурь осознали необходимость политической борьбы. Я осознала довольно быстро и довольно легко. Приняла и необходимость оружия: поначалу как средства оборонительного, а после и как наступательного. Терроризм именно у нас, в наших русских условиях,— это я разумом понимала. В ту пору иное не дано было.

Да, разумом понимала, но душа, сердце противились. Я сто раз слыхала: на войне как на войне. Может быть, моя недалекость, моя ограниченность, но я не умела отождествить войну с турками и войну против доморощенных турок.

Впрочем, повторяю, в Киеве не было у нас дел, пахнущих порохом. Я приехала «чиновником для поручений» при Александре Дмитриевиче. И не ради одних мелких поручений, а и для того, чтобы находиться au courant * всех отношений с Дригой: на случай провала Михайлова, или Дриги, или обоих.

Александр Дмитриевич определил меня на краткий «постой» к своим родственникам Безменовым. Павел Петрович Безменов преподавал географию и историю в реальном училище. Молодая жена его, Клеопатра Дмитриевна, недавно окончила московский Мариинский институт. Жили они, если не ошибаюсь, на Житомирской, в старепьком, без затей, опрятном одноэтажном доме с вишневым садом.

Клеопатра Дмитриевна уступила мне свою комнату. Помню портрет ее, еще институткой, в камлотовом платье. Помню полку с книгами: Некрасов и Решетников, Щедрин и Успенский, Чудинова «История русской женщины», два тома «Физиологии» Монса, Бюхнеровы «Физиологические картины»...

— Это я собрала по Сашиному настоянию,— сказала Клеопатра Дмитриевна, улыбаясь улыбкой, очень похожей на улыбку ее старшего брата.— Он как-то из Петербурга целый список прислал.— Рассмеялась: — Великий аккуратист, против каждого автора нумера выставил — очередность установил. Некрасова означил первым. И разделы означил: беллетристика, история, естественные науки. У меня совсем немного: он около сотни назвал, не меньше... А эти,— прибавила Клеопатра Дмитриевна,— эти уж я сама.

Те, что она «сама», были берлинское издание сочинений Фридриха Фребеля, комплекты журналов

* В курсе чего-либо (*франц.*).

«Детский сад», «Воспитание и обучение», еще что-то в этом духе. Оказывается, Клеопатра Дмитриевна надумала устроить детский сад по фребелевской системе и по сему поводу состояла в оживленной переписке с какими-то петербургскими немками.

В отличие от сестры Александра Дмитриевича, такой славной, муж ее, Безменов, был несимпатичен. Увидев Михайлова, он откровенно струхнул. Александр Дмитриевич поспешил успокоить свояка:

— Я уйду, не останусь. А у моей спутницы — все хорошо, бумаги в порядке.

Безменов проглотил слюну. Михайлов, смеясь, прибавил:

— Ну, а в случае чего не робей, Павел Петрович, у нас бо-о-ольшая заручка есть...

— Это что? Это как? — суетливо оживился Безменов.

— Генерал Антонович. Понял? Вот так-то, брат.

Безменов покачал головой и вздохнул, словно покоряясь судьбе-злодейке. Впрочем, за вечерним чаем нашел на него стих: он разглагольствовал прогрессивно. Речь его была косолапая, сбивчивая, неумелая, совсем не свойственная учителю истории.

Я не скрыла от Михайлова, что мне неприятно, неловко быть Безменову в тягость. И подсластила пилюлю, ведь как-никак, а родственник Александр Дмитриевича: дескать, я понимаю Безменова — времена на дворе строгие, кому радость во чужом пиру похмелье.

Михайлов поморщился.

— У свояка — глупый характер. Знание — грошовое, амбиция — рублевая. Это я еще в гимназии понял: он у нас, в Северском, историю с географией... Но хуже всего: глупый характер. Я и матушке гово-

рил, и Клене говорил, когда он сватался. Но вот, не послушали...— Александр Дмитриевич махнул рукой.— Э, пусть терпит, мы с вами скоро уедем, не сегодня-завтра.

Он отвел глаза и спросил как бы в сторону, какова, по-моему, Кленя. Он пытался скрыть конфузливое желание услышать хорошее, доброе. Я это поняла, и меня это тронуло. И, услышав хорошее, доброе, Александр Дмитриевич так и разлился в улыбке.

— Они у меня, знаете, все такие...

И продолжил:

— Я как-то написал в Путивль родителям... гимназистом написал: есть, мол, разница в наших с вами взглядах, и она, эта самая разница, мешает. Как думаете, умно ли, а? По-моему, глупо. Весьма глупо. Глотнул из одной книжки, глотнул из другой, да и захмелел, да и нос задрал: дескать, куда вам, старые, где уж вам меня понять?! Ребячество! В толк не берешь, что́ такое семья. А семья-то и есть наиглавнейшее. Кто, как не мои старики, и подвигли меня на служение идее? С детства запали в душу вечерние, тихие рассказы о Страдальце за грехи мира. И многим так-то рассказывают, но многим ли в душу западает? Значит, все от рассказчиков, от их сердца в зависимости. Так начинаешь постигать высшее назначение жизни. Да, поверьте, все от семьи, из семьи. По крайней мере, у меня, со мною. Вот и люблю, благодарен...

Скоро мы «разбогатели»: Александр Дмитриевич получил восемь тысяч. Солидная сумма. Но лишь незначительная часть лизогубовских средств. Однако мы радовались: у наших в Петербурге совсем ничего не было.

Из соображений конспиративных Михайлов уклонился от почтовых операций и встреч с людьми, брав-

шими на себя обязанности фельдъегерей. Отправкой денег озаботилась пишущая эти строки. Она отродясь не видывала эдакой кучи кредиток! И боялась ошибиться счетом, боялась утерять, а мазуриков боялась пуще филеров. И впервые сознала поговорку: бедняк спит спокойно.

Я отсылала деньги и ценными пакетами, и с оказией. Согласно почтовым правилам, ценные пакеты, засургучив, надлежало скрепить собственной печатью. Всеведущий Александр Дмитриевич предусмотрел и печать.

Мы оба, не сговариваясь, спешили с отъездом.

Каждый лишний день в Киеве был мучителен. Суд свершился. Четверых ждала смерть, остальных — каторга. Ожидалась конфирмация. Какова она будет, мы понимали. И не чаяли, как поскорее уехать. (Странно, но в Петербурге при подобных обстоятельствах я не испытывала столь непереносимого желания скрыться, исчезнуть, как там, в чужом городе.) Родственники навещали узников, полицейские офицеры-мздоимцы нарушали обет молчания — и тюремные известия распространялись мгновенно.

И вот наших собрали в тюремной конторе. Полицмейстер объявил окончательный, конфирмованный приговор. Некоторым чуть сбавили, большинству оставили в силе. Среди смертников была женщина Софья Лешерн; ее «помиловали» каторгой.

В тюремную контору вызывали всех осужденных, кроме т р о и х: Валериана Осинского, которого я знала и любила, как и Александр Дмитриевич; Людвига Брандтнера и Владимира Свириденко. Т р о и х из общих камер поместили в одиночные. И у каждого в камере встал особый стражник. А стражник внутри камеры, как черный ангел у изголовья больного, вестник смерти...

На другой день, уже к вечеру, взяв извозчика, я отправилась на свидание с очередным «фельдъегерем». Эта оказия была предпоследняя. Еще одна, завтрашняя, и я, свободная от тысячных сумм, вольна оставить этот город.

День тихо мерк. Все розовело и словно бы никло. Побрякивали железные щеколды на калитках, был слышен скрип ворот. Ехала я долго, куда-то на окраину, название улицы запамятовала.

Меня поджидал молодой, с вислыми усами человек в вышитой рубашке. Мы обменялись паролем, и молодой человек, не произнеся ни слова, удалился. Удалился как-то слишком поспешно, я об этом подумала, и эта поспешность меня чуточку покоробила, хотя он и поступил разумно.

Извозчика я отпустила раньше. Оставшись одна, я огляделась. Было так безветренно, что и свечи горели б ровно, нетрепетно.

Я услышала в тишине какой-то стук. Он был то мерный, то перебивчивый. А потом увидела пустырь. Большой, в рытвинах, размытый сумерками. Пахнуло полынью, чабрецом, дичью, как из веков татарского ига.

Опять, но уже ближе был этот стук, то мерный, то перебивчивый стук плотничьих топоров. Я увидела помост и виселицу. Помост казался тяжелым и темным, а виселица была тонкой и черной, как прочерченная тушью на литом золоте заката...

Я вернулась затемно. Безменовых беспокоило мое отсутствие. Клеопатра Дмитриевна обрадовалась, Безменов тоже, но радостью иного свойства,— очевидно, ему вообразилось, как я, арестованная, открываю жандармам место киевского жительства... Ужинать я не стала, кусок бы застрял в горле, и, сославшись на мигрень, вышла в сад.

Я села на скамью. Были луна и безмолвие, и мне опять примерещились ровно оплывающие свечи. Потом послышался стук, но уже не смешанный, как давеча, а лишь мерный, как метроном, хотя я и сознавала, что отсюда, от Безменовых, не услышишь плотничьи топоры, сознавала и то, что на пустыре, где полынь и лопухи, там давно артельщики пошабашили.

Но шагов-то я не услышала и едва не вскрикнула, когда меня негромко, почти шепотом окликнул Александр Дмитриевич. Он сел рядом. Я сказала, что встретила «фельдъегеря», Михайлов кивнул.

Я больше не слышала топоров, а слышала одно беззвучие теплой, тихой, светлой ночи, но, странно, я была убеждена, что Михайлов слышит, непременно слышит, и еще одно странное убеждение владело мною, что он тоже видел это сооружение на фоне червонного заката, непременно видел, потому что тоже побывал на пустыре, где полынь и лопухи и стук топоров.

Клеопатра Дмитриевна с зажженной лампой в руках вышла на крыльцо. Освещенная женская фигура, горящая лампа — будто встречают кого-то, будто сейчас опустит копыта усталый конь. «Как все это было давным-давно»,— почему-то так, именно так, мне подумалось.

— Кленя,— тихо позвал Александр Дмитриевич, и она послушно приблизилась, села рядом с нами и поставила лампу у ног.

— Боже мой,— молвила она,— неужели свершится...

— Не надо, Кленя,— сказал Александр Дмитриевич.

Она вздохнула и перекрестилась.

Мошкара вилась у огня, мошкара и ночные бабочки.

Кто-то пел про старого капрала. Как его ведут на расстрел, как он просит получше целить... Про старого капрала кто-то пел в ту светлую киевскую ночь, и у растворенных настежь окон темнели неподвижные фигуры... Некто спел про старого капрала, как вели его на расстрел и как его расстреляли... Казалось, обезлюдела земля, никого, ни единой души, но вместе чувствовалось немое присутствие множества людей. И певца, и старого капрала, и тех, кто провожал его в эту последнюю ночь, и тех, кто повел его на казнь, и привел, и убил. А ночь все длилась, все длилась, будто невзначай разминулась с рассветом.

— А что Фаня? — спросил Михайлов.

Спросил негромко, но я вздрогнула и прошептала:

— Какая Фаня?

(Фаней звали в семье Михайловых самого младшего, Митрофана, в ту пору еще гимназиста; я это знала, но словно бы начисто позабыла.)

— Фаня? — отозвалась Клеопатра Дмитриевна и невпопад ответила: — Фаня очень хорошо рисует.

— Да, да, хорошо, хорошо рисует Фаня... А ты помнишь, как он болел дифтеритом?

— Помню, конечно,— недоуменно ответила Клеопатра Дмитриевна.

И я тоже недоумевала: «Фаня... дифтерит...»

Александр Дмитриевич слабо повел плечом, словно отстраняя и меня, и мое недоумение, повел плечом и забрал в свою руку сестрину.

— А мне казалось... нет, не казалось, так было: я умирал вместе с Фаней. Умирал физически. И когда Фаня хрипел, я тоже задыхался. Я готов был умереть и за него, и вместе с ним.

Он помолчал, потом произнес упавшим голосом:

— Проклятое бессилье, ничего не можешь сделать...

Пробрезжило, и стало зябко. Пичуга в шиповнике осторожно пробовала голос.

Александр Дмитриевич вздохнул.

— Ну,— сказал он с фальшивой будничпостью,— пора. Пора на дилижанс.

Он поднялся, а за ним и Кленя, и они о чем-то заговорили, не знаю, о чем, а меня будто полоснуло чем-то холодным, в зазубринах: он уезжал, а я оставалась в э т о м городе. О-о, конечно, мне надо передать последпюю толику из тысяч последнему «фельдъегерю». О да, да, конечно. Но он уезжает, как бежит, а я остаюсь в э т о м городе, остаюсь один на один с э т и м днем. А между прочим, ничего, решительно ничего не произойдет, если мы приедем в Чернигов на сутки-другие позже.

Он посмотрел на меня. В глазах его мелькнула детская робость, едва ль не просьба о снисхождении. Но может быть, мне почудилось...

Последний киевский день описать не могу. Было что-то огромное и порожнее, необыкновенно долгое, залитое солнцем. Я ловила дальние, но мощные звуки военных труб — полк возвращался с места казни. Я видела, как рысят конные полицейские. В ушах моих застревали чьи-то слова — о казни, о казни, о казни.

Двигались коляски, люди, возы. Мальчишки торговали холодной водой в больших кувшинах. Зычные окрики доносились с одномачтовых днепровских байдаков.

А я кружила, как на привязи, как слепая. Но и не думала о казни, а думала о том, куда бы мне деться из этого громадного, порожнего круга, сплошь,

без полоски тени, залитого белым-белым, нестерпимым светом.

И все-таки после полудня, в назначенный час, сама не понимаю как, я очутилась на Соборной площади. Без ошибки и сразу отыскала дом, соседний с пивной. Увидела условный знак на подоконнике — толстенный фолиант в соседстве с барашковой шапкой.

Мне долго не открывали, но я звонила и ждала, не удивляясь и не беспокоясь. Дверь наконец приотворилась, и оттуда вырвалось с присвистом, точно струя пара:

— Не хочу, уходите, обещал, теперь не хочу, уходите...

И я ушла, не испытывая даже презрения.

Надо было отправить последние деньги. Для того хотя бы, чтобы там, в Петербурге, не предположили нашего с Михайловым ареста. Но тут-то и отказала «заведенная пружина». Я не то чтобы не умела решить, как мне теперь поступать, а вовсе ничего не решала.

Не знаю, пошла ли я к дилижансу или ночевала у Безменовых и уехала на другое утро. Кажется, последнее. Кажется, именно Безменов, шмыгая носом, путаясь и повторяясь, говорил о белых саванах, об отказе осужденных принять напутствие священника, о запекшихся, искусанных в кровь губах Осинского.

Но может быть, все это я узнала позже, как позже узнала о том, что в ночь перед казнью кто-то пел песенку Беранже о старом капрале, пел по просьбе Валериана, а тюрьма, затаившись, слушала... Валериан надеялся, что будет расстрелян. Не страшась пули, он страшился петли. Его повесили. На петле настоял государь. Так сообщили нам из Киева со слов караульных офицеров.

7

Казалось бы, не мне добром поминать губернский город Чернигов: там мы с Александром Дмитриевичем потерпели фиаско, там едва не попались, там свели очное знакомство с человеком, который потом оказал жандармам вескую услугу, опознав Александра Дмитриевича... Да, вроде бы и нечего поминать добром Чернигов, но все равно он симпатичен мне больше всех иных провинциальных городов: Десна с ее прозрачно-быстрыми струями, где лунной ночью непременно плещут русалки; обозримые с вала заречные луга, где на закате четко-недвижны силуэты табунов, как из времен Кочубеевых; храмы, кажется, древнейшие на Руси; старинные, в патине, нагретые солнцем пушки у входа в Константиновский сад; тротуары из битого кирпича по сторонам улиц, просторных и ровных...

Впрочем, не тотчас прониклась я черниговским очарованьем: едва передохнув от тряски и духоты почтовой кареты, я уже опять была в пути. Дело в том, что Дриги не оказалось в Чернигове. По справкам, наведенным Александром Дмитриевичем, этого Дригу следовало искать либо в Седневе, либо в другом лизогубовском гнезде, в имении Листвена (не поручусь за точность названия); последнее находилось в тридцати пяти верстах от Чернигова, а Седнев — в двадцати пяти, Михайлов джентльменски пустился в более дальний путь, а я — в Седнев.

Дело было неопасное: ежели Дриго в Седневе, условиться с ним, где и как он встретится с Михайловым.

Я ехала в крестьянской телеге, любуясь лугами, перелесками, хатами, гармонией линий и света. На языке у меня было некрасовское о врачующем про-

сторе, а на душе истома горожанки, услышавшей ласковый зов матери-природы. Неподалеку от дороги вставали курганы. Их было много, я сбилась со счета, перейдя на вторую сотню, и задумалась о мрачных тайнах этих могильных холмов, кое-где уже распаханных.

Открылся Седнев — в садах, с парком на горе, при речке, что притоком Десны. Верно, каждому знакомо наивное, детское удивление: и во сне не мерещилось, а вот оказался там-то или там-то. Да и вправду, приходило ль мне на ум, когда я встречала в Петербурге Лизогуба, что я приеду в Седнев, в лизогубовскую «столицу»? А в это время, в эту самую минуту он, Дмитрий Андреевич Лизогуб, заключен в Одесскую тюрьму, и ему уже так мало, какие-то недели, жить на земле, где древние курганы, где купол седневской церкви с фамильной усыпальницей, старинная усадьба, и эти мужики, бабы, ребятишки, эти богадельня и лавки, и сильный запах кожевенного товара, который выделывают чуть ли не в каждом здешнем доме... Так мало остается, какие-то недели, до августа, и Лизогуб уже никогда не покажется в Седневе в своей коричневой свитке, схваченной красным пояском, в барашковой шапке и яловых сапогах. Ни в Седневе, ни в Чернигове, ни в Киеве, где он когда-то обворожил Михайлова, да и только ли Михайлова...

Высокий он был, гибкий; голубые глаза чуть косили, казалось, что он смущен. Он был застенчив, но как-то спокойно-застенчив; и манеры у него были спокойные, и грассировал он мило, естественно, без нарочитости доморощенных «парижан». В Петербурге, будучи университантом, он жил, как всякий нуждающийся студент, платил за комнату восемь рублей, столовался в кухмистерских и щеголял в нанковом костюме.

Его, помню, называли «святым революции». Я бы сказала, что он был ее послушником; мне кажется, это больше подходит ко всему его облику. И при этом от него веяло глубокой, подлинной культурой. Не просто осведомленностью, начитанностью, а культурой, не боюсь сказать, тургеневской, во всяком случае, Тургеневу родственной.

Среди социалистов России, думаю, не было тогда человека культурнее Дмитрия Андреевича. Не потому, что в детстве за ним смотрел гувернер-француз, что мальчиком живал он во Франции, и уж, конечно, не оттого, что графиня Гудович, фрейлина императрицы, приходилась ему теткой.

Позже, в Петербурге я однажды беседовала о Лизогубах с Колодкевичем...

Одна тень зовет другую: упомянула Николая Колодкевича — вижу Гесю Гельфман, хозяйку конспиративных квартир, молчаливую, преданную, не знающую устали Гесю, жену Колодкевича; ее взяли вскоре после первого марта, судили вместе с Желябовым и Перовской, ей о т с р о ч и л и смертную казнь, потому что она была беременна; роды были ее смертной казнью, она умерла в тюрьме, бедная Геся, о которой писал Гюго, за которую просили царя итальянские женщины... А Николай Колодкевич был из застрельщиков «Народной воли», членом Исполнительного комитета, одним из самых любимых товарищей наших; на скамье подсудимых сидел он рядом с Александром Дмитриевичем и так же, как Александр Дмитриевич, сгинул в Алексеевском равелине...

Так вот, с Колодкевичем случилось мне однажды разговориться о Седневе, о Лизогубах. Он знал их давно, не стороною, не мельком: отец его управлял седневским имением, главной усадьбой богатой лизогубовской фамилии, происходившей от удалых казац-

ких старшин. А мать нашего Лизогуба была из рода Дуниных; кажется, Дуниных-Барковских... Седнево принадлежало дядюшке Дмитрия Андреевича, отставному полковнику, но отец Лизогуба с семьей постоянно жил в Седневе, благо покоев во дворце хватало. Но главное — атмосфера дома, воздух, которым дышал наш Лизогуб: дом был радушно открыт живописцам, музыкантам, литераторам, наезжавшим из Киева, из Петербурга. В Седневе гостевал и Тарас Шевченко. Поныне шумит липа, под сенью которой Кобзарь слагал стихи. И кто знает, может быть, ропот этой липы старался расслышать наш Лизогуб, дожидаясь своего смертного часа в глухой секретной камере Одесской тюрьмы?

Немало воды утекло с тех времен; оглянешься вокруг — нет друзей, смолкли шаги, смолкли голоса; память — прекрасное свойство, но и мучительное. Вдруг повлечет, где некогда бывала, но тотчас тормозом — к чему, зачем? Однако неизъяснимое дело, в Седнев, верю, соберусь, поеду...

Дриги там не оказалось, и надо было спешить в Чернигов.

Теперь уж мне не уйти от Дриги, хоть и мешкает рука писать о нем. Испытываю гадливую дрожь, как при виде гнид на койках военных госпиталей.

Одни говорят: не верь первому впечатлению; другие утверждают: первое впечатление не обманывает. Дриго иллюстрирует правоту последнего. Поначалу, однако, не только я, но и Александр Дмитриевич, вопреки столь развитой в нем интуиции, поначалу мы оба противились первому впечатлению. Да, сквозила в этом кряжистом Дриге какая-то нечистая тупость, темное что-то, пошлое. Но мы отводили глаза — дескать, мало ли что, а вот в Киеве аттестовали этого Дригу честным малым. И Лизогуб из-за тюремных

стен слал ему нежный привет, называя «милым», так и начинал свои письма: «Милый дед» (дед — была его кличка).

У Вербицких, где меня приютили, я слышала о привязанности улыбчивого, благожелательного Лизогуба к мрачному бирюку Дриге. Казалось, Дмитрий Андреевич относился к нему, как к человеку, чем-то обиженному в детстве и обиду свою не изжившему.

Дриго учился в Черниговской гимназии. Существовал он на крохи со стола дядюшки, генерала Антоновича. (В описываемое мною время Антонович был попечителем Киевского учебного округа. Вот почему Александр Дмитриевич, утешая струхнувшего свояка Безменова, шутил, что в случае чего у нас-де «бо-оль-шая заручка».) Выйдя из гимназии, Дриго жил уроками; вскоре перебрался он в имение Лизогубов, но не в Седневское, а туда, куда ездил на розыски Александр Дмитриевич. Там-то Дриго и сошелся с нашим Лизогубом, на беду и самого Дмитрия Андреевича, и многих революционеров.

Всякий раз, наведываясь на Черниговщину, Лизогуб непременно встречался с Дригой, появлялся с ним и у Вербицких, и у местных радикалов, и у земцев, среди которых были такие светлые личности, как гласный Петрункевич и статистик Варзар, автор знаменитой «Хитрой механики».

Обаяние Лизогуба, общее к нему расположение светили отражением и на Дригу. Он был всюду вхож; ему случалось при малейшей опасности умыкать на своей тройке нелегальных и прятать в лесной сторожке. Он пользовался безграничным доверием Лизогуба, состоял посредником в переписке и прочем. Дружество его к Лизогубу простиралось до того, что он пенял Дмитрию Андреевичу, не стесняясь присутствием товарищей: «Да что это вы все это им — день-

ги, деньги, деньги? Право, как дойная корова! А они-то вас совсем не щадят...»

Коротко говоря, Лизогуб ни на йоту не сомневался в Дриге, а тот, как я слышала в доме Вербицких, прямо-таки «обожал» Дмитрия Андреевича.

Кружок Лизогуба, сперва чисто пропагаторский, а потом и бунтарский, представлял сообщество революционеров-южан; Валериан Осинский был ближайшим сподвижником Дмитрия Андреевича. Михайлова влекла к нему не простая симпатия, но единство помыслов. Я имею в виду не общие цели, идеалы, мечты, это само собою, а понимание значения организации. Тогда такое понимание далеко не всем было присуще. По свидетельству Александра Дмитриевича, Лизогуб выступил одним из первых адептов дисциплины, согласованности, принципа строгого централизма, и это было созвучно умонастроению Михайлова. Ведь, в сущности, вся энергия Александра Дмитриевича, все силы его были отданы именно организации.

Я упомянула выше дом Вербицких. Сожалею, не привелось познакомиться с хозяином: Николай Андреевич, словесник и беллетрист, находился где-то в Рязанской губернии — его переместили «за неблагонадежность», как будто «надежность» зависит от географической широты и долготы... Очное знакомство заменилось заглазным, наслышалась о нем немало. О любви к Вербицкому учеников его, как он приохотил юношей к рефератам, посвященным Белинскому и Добролюбову, и как рыбалил с ними на Десне, в плавнях, или жег костры за Троицким монастырем... И о том, как гордилась черниговская публика: «Наш писатель». В доме были журналы с произведениями Вербицкого. Он печатался еще в «Основе», где сотрудничали и Костомаров и Шевченко; печатал-

ся в «Неделе», «Природе и охоте». Гимназисты зачитывали до дыр его очерки, клеймившие гимназических наставников, тех, что министр Толстой спустил с цепи для искоренения «вольномыслия».

Обо всем этом, скромно рдея, поведала мне Фрося, молоденькая племянница Вербицкого, красавица с румянцем во всю щеку и пунцовыми губами, залюбуешься. Но все это, может быть, и не сохранилось бы в памяти, когда б не «исповедь» Михайлова.

Он как-то застал меня с повестью Вербицкого в руках, да вдруг конфузливо прыснул. Я подняла на него глаза и заулыбалась, не знаю, чему, а он, поворошив бороду, обхватив руками грудь накрест, так, что ладонями прихлопывал по своей спине, признался в давней мальчишеской мистификации.

Оказывается, обличительные очерки Вербицкого глотали и новгород-северские гимназисты. И вот гимназист Михайлов Александр однажды прихвастнул: автор-де не кто иной, как его, Михайлова Александра, близкий родственник: «А очень, господа, просто: моя матушка — урожденная Вербицкая».

— Бухнул, как из купальни в пруд,— улыбаясь и прихлопывая по спине ладонями, «исповедовался» Александр Дмитриевич.— Бухнул, куда денешься — держусь на линии. Приезжаю из Северска домой, на вакаты. Радость, шум, объятия. А потом заскребли кошки: надо бы, думаю, справиться у матушки. А что, ежели и впрямь родственник? Но и робею: а что, ежели и не родственник? Тогда, стало, прямой ты пакостник. Надо вам сказать, в нашей семье первым постулатом было: главное — не потерять самоуважения! Вот я и мыкался: спросить или не спросить?.. И все отлынивал. То у нас с Дианкой, собака такая у меня была, майн-ридовский лесной поход. То в Алеево, на хутор наш, подамся, друг у меня там

закадычный, хитрющий мужик и умный... И знаете, так ведь и не решился обнаружить истину. Не решился. Потом, понятно, забыл, а вот сейчас и выскочило...

— Эка,— говорю,— беда, мы в доме Вербицких. Займитесь-ка генеалогией. А вдруг вы и не «пакостник»? Вдруг ваша матушка не просто однофамилица?

— А конспирация? — лукавит он.— Нельзя.

— Отчего «нельзя»? Вы ж не Вербицким значитесь?

Рассмеялся:

— Какое! Безменовым значусь.

— То есть как — Безменовым?!

— А так, такой у меня нынче вид на жительство, сударыня. Нет, слуга покорный, не стану.

— Опять малодушничаете? А? Как и тогда, в Путивле?

— Угадали, сударыня, в самую точку. Но при случае когда-нибудь, во Питере...

Действительно, «во Питере», на Каменноостровском, постоянно жили Вербицкие, семья дядюшки Александра Дмитриевича; да и теперь еще живы его двоюродные сестры и братья.

Наперед скажу, что вряд ли Александр Дмитриевич занялся своим родословным древом — генеалогией интересовался он, как прошлогодним снегом. А из тогдашней «исповеди» запало: «Главное — не потерять самоуважения» — то была могучая нравственная пружина, до последнего вздоха не ослабевшая в душе его...

Итак, мы были в Чернигове.

Время уходило, а Дриго вел себя более чем странно. Он манкировал своими обязанностями, не исполняя волю Лизогуба, неоднократно подтвержденную

из-за тюремной стены: отдать партии наличные, векселя, недвижимое, огромную сумму, сто пятьдесят тысяч. Все нужные бумаги находились у Дриги. А он скользил, увертывался.

Между тем одесское следствие заканчивалось. Мы совершенно не ждали смертного приговора Лизогубу, но в том, что его по суду лишат всех прав состояния, не сомневались. Нельзя было терять и часу, а этот Дриго, повторяю, как будто гнул совсем в другую сторону.

Наконец мы прослышали, что лизогубовский поверенный исподтишка приценяется к весьма богатому имению, желая приобрести его в собственность.

Что делать? Александр Дмитриевич не знал. Я негодовала, и только. Положение было оскорбительное, беспомощное. И эта чудовищная подлость Дриги, который пользовался бессилием «обожаемого» Дмитрия Андреевича.

И эта проклятая медлительность почты. Михайлов телеграфировал (разумеется, шифром) в Одессу; одесские товарищи писали (разумеется, нелегально) заключенному Лизогубу; Дмитрий Андреевич бился в своей клетке, изыскивая способы сношения с волей; я бегала на почтовую станцию... А Дриго тянул, пропадал где-то, появившись, мямлил о формальностях, нотариусах, гербовых бумагах и т. д.

Когда Александр Дмитриевич жестко и напрямик выставил, что имущество Лизогуба есть «общественная собственность» и что партия «своих прав не уступит», Дриго побагровел, набычился и выдал себя с головою: он-де не «дойная корова», его-де «на кривой не объедешь», он-де поверенный Лизогуба и претендует на многое.

Никогда я не видела Михайлова в такой ярости.

— Понимаю... Стало быть, подлость? — проговорил он, запинаясь и страшно бледнея.— Стало быть, вы... милостивый государь... предали? Так прикажете понимать? — Он медленно опустил руку в карман.

Дриго смешался, попятился.

Дело происходило в Константиновском саду, в отдалении, публики не было. Я цепенела на скамье, сжимая зонтик.

— Да нет... Вы не поняли...— забормотал Дриго, озираясь.— Но мне, поверьте, необходимо решительное и окончательное слово Дмитрия Андреевича. Это не просто...

Мерзавец, мало ему было прежних писем Лизогуба, ясных и недвусмысленных, и я подумала, что Александр Дмитриевич сию секунду предпримет нечто ужасное, такой он был взбешенный. Но Михайлов ссутулил плечи и отер лоб.

— Ладно,— сказал он, переводя дух, — ладно... Да только зарубите на носу: это уж будет последнее слово.

Наконец было получено письмо Дмитрия Андреевича. Лизогуб называл Михайлова своим вторым «я»: «Аз в нем, и он во мне». Следовательно, все распоряжения Михайлова подлежали неукоснительному исполнению. А далее «милого деда» постигал еще удар: если вы не отдадите моих денег, значит, вы их зажилили (хорошо помню: «зажилили»).

Да, решительное и окончательное слово Лизогуба было произнесено. Но Михайлов не произнес своего последнего слова Дриге: Дриго исчез...

Люди, вкусившие лотос, забывают прошлое. Это мифология. Люди, вкусившие золота, забывают прошлое. Это реальность. Большие тысячи плыли к Дриге; он забыл Лизогуба, забыл порядочность. Мотив вульгарный, но всегда почему-то поражающий.

Предательство, измена... Помню, жалела Гришу Гольденберга: поверил посулам иезуита-прокурора, надеялся, что никого из оговоренных и пальцем не тронут, но убедился, что кругом обманут, и сам наложил на себя руки, повесился в Петропавловской... А Меркулов, Васька Меркулов? Не выдюжила душа одиночного заключения, пустили его на волю — и ну выдавать одного за другим. Простить — никогда, а понять... понять можно. Или Рысаков? Тут страх смерти, необоримый, неподвластный разуму. И это сознавали, стоя на эшафоте, Желябов и Кибальчич: они обменялись с Рысаковым прощальным поцелуем. (Софья Львовна — нет, Перовская уклонилась... Не мне, уцелевшей и благополучной, не то чтобы осудить, но и не мне укорить ту, что погибла на виселице первой изо всех русских женщин, нет, не мне, но какое, однако... Что это? Ведь только она уклонилась от предсмертного поцелуя с полумертвым от ужаса юношей, не Желябов и не Кибальчич — она, Перовская... Величайшая сила презрения? Не знаю, не знаю... Я не очень-то постигаю туманные рассуждения об особенных свойствах женской души. Но что правда, то правда: среди женщин не нашлось ни Гольденберга, ни Дриги, ни Меркулова, ни Рысакова.)

Да, Дриго! Вот где сребреники и только сребреники — алчность звериная. Ведь не голодный бедняга, готовый и ограбить, и убить, и поджечь. И не бродяга, которому негде приклонить голову. У-у, большие плывут тысячи! Хватай, не упусти, а все прочее — гиль! Банальный, извечный мотив, но, понимая, отказываешься понять...

Дриго исчез. Мы терялись в догадках. Так минуло несколько дней. Александр Дмитриевич сбивался с ног, наводя справки. Меня он определил наблюдать

за городской квартирой Дриги и, ежели что, хоть в полночь-заполночь, дать знать на постоялый двор, где Александр Дмитриевич ночевал.

Дом Вербицких стоял «ле» — Фросино словцо, означавшее «рядом»,— с домом Дриги. Я не упомянула, что все это предместье называлось Лесковица, и отсюда до самого Киевского шоссе тянулся громадный луг. Весною, при разливе Десны, достигавшем десяти верст, луг покрывался половодьем настолько высоким, что к дому Вербицких и Дриги Лизогубу случалось переправляться в лодке. Но теперь полые воды отошли, стояло роскошное луговое разнотравье.

В саду Вербицких удивительный каштан рос: один год цвел с южной стороны, другой год — с северной, и никто не умел объяснить загадочное явление. Вот у этого каштана-уникума и угнездился мой «наблюдательный пункт».

Было бы неправдой сказать, что я увлеченно и прилежно отдалась наблюдениям. Сидя со старыми журналами, где публиковался Вербицкий, прохаживаясь в саду или любуясь лугом и медленными кучевыми облаками, плывущими над ним, я чувствовала и вялую усталость, и недовольство собою, неудовлетворенность, а еще, пожалуй, скуку. Я как бы ощущала: что-то значительное, важное, интересное неслышно и плавно проносится мимо меня, а я точно бы погружаюсь в дрему, бесцельно упуская время.

Должна признаться, недовольство, неудовлетворенность вызывались не вынужденной пассивностью, не жаждой опасности, когда роют подкоп, начиняют динамитом жестянку, похожую на коробку конфект «Ландрин», или погружают итальянский стилет в грудь голубого генерала.

Я вовсе не иронизирую, совсем напротив; готова

 каяться в отсутствии порыва к яркому, недюжинно-

му, слепящему воображение. Я просто отмечаю тогдашнее свое душевное состояние, которое не умела объяснить, как не умели объяснить в Чернигове, отчего каштан Вербицких каждый год цветет по-разному.

Впрочем, теперь, на склоне лет — мне почти сорок,— могу снисходительно-грустно уличить самое себя: Михайлов был тому причиною, Александр Дмитриевич Михайлов, относившийся ко мне с симпатией и заботливостью, но лишь товарищеской...

Как бы ни было, я вовремя обнаружила Дригу. Он подкатил, нагруженный, как дачник, свертками, и приказал извозчику: «Спеси-ка, братец!»

Я бросилась к Александру Дмитриевичу, думая, что вряд ли застану его в этот дневной час на постоялом. К счастью, он, как из-под земли, вывернулся.

Михайлов был озабоченно-мрачен. Увлекая меня назад, к дому Вербицких, резко отбросив жасмин, свисающий над забором, шепнул:

— Дриго арестован.

— Но... я видела... Вот сейчас, только что...

— Видели? — Он быстро накручивал на палец прядь бороды, как делал всегда в минуту опасности, поглощенный мгновенными практическими соображениями.— Видели? Вот оно что! Ах, подлец...

Мы проскользнули задней калиткой.

— А-а, Фросюшка, здравствуй, голубушка,— беззаботно произнес Михайлов.— Будь добренька, напои молочком: жара-а-а... С погреба, с погреба молочка...

Дриго был арестован.

Дригу выпустили из-под ареста.

Дриго у себя.

И, судя по всему, Дриго весел.

— Кажись, дело пропащее,— сумрачно резюмировал Александр Дмитриевич.— Остается самим не про-

пасть... Знаете, Анна, давайте-ка на постоялый, там есть один малый, он вас к утру на станцию доставит.

— А вы?

— А я... Я-таки попытаюсь, я его к стенке прижму. А вам-то зачем?

— Ну, увольте. Как хотите, одна не поеду.

Он чуть было не вспылил, но тут к дому Дриги подкатил фаэтончик.

— Пожалуйте, господа! Прошу! — позвал Дриго.

Они там, должно быть, запировали. Донеслись возбужденные голоса, потом песня, причем выделялся довольно красивый тенор.

Вечерело.

Дриго с гостями шумно выбрался на улицу.

— Ну,— поднялся Александр Дмитриевич.— Держитесь поодаль.

Он вышел первым и скоро, со свойственным ему умением надевать шапку-невидимку, затерялся невесть где, хотя и затеряться вроде бы негде было.

А тех-то, «пирующих студентов», я не упускала из виду. Поигрывая тросточками и жестикулируя, они шли к валу над Десной, где черниговский променад, как у нас на стрелке Елагина острова.

На валу уже зажгли керосиновые фонари, свет выхватывал из сумрака старые деревья. За деревьями на мраморных столиках приятно постукивали костяные ложечки любителей мороженого. Знакомые раскланивались, а так как здесь все были знакомы, то светлые шляпы-котелки беспрерывно и словно бы сами собою описывали легкую полудугу.

Я как-то вдруг потеряла моих гуляк. Забеспокоилась, убыстрила шаги... Публика мне мешала... Но вот опять приметила кряжистую фигуру Дриги. Компания рассеялась; рядом с Дригой возвышался на

 голову Александр Дмитриевич, с заложенными за

спину руками и в сдвинутой на затылок белой дворянской фуражке.

Они стали спускаться к Десне. Я тоже.

С реки стекала прохлада. Слышно было, как гдето, за версту, наверное, шлепают плицы...

Было поздно, совсем темно, когда мы с Александром Дмитриевичем направились в город.

Береженые, которых бог бережет, затворяли ставни и, отвязывая на ночь дворовых псов, звучно роняли цепи. Огни гасли, пахло древесным углем, залитым водою, и этот запах почему-то казался сизым.

Мы шли на почтовую станцию ради нового свидания с Дригой. Видите ли, у изножья вала, близ Десны негодяй не счел возможным говорить с Александром Дмитриевичем: «Я только-только из-за решетки, и, конечно, они следят... Меня нынче полицмейстер пытал — а нет ли, спрашивает, в городе одного приезжего господина, не здешнего, и нет ли, спрашивает, барышни, тоже приезжей?»

Тугой завязался узел. «Кажись, дело пропащее. Как бы и самим не пропасть...» Лизогубовское наследство партии не достанется, это уж было яснее ясного. Ну, а полицмейстер? Пугал ли Дриго, желая прогнать нас из Чернигова, чтоб не досаждали своей докукой или, боже спаси, не учинили чего? А может, и вправду жандармы «взяли след»? И если «взяли», то не по указке ли этого мерзавца? Тугой завязался узел. Но как было не повидать Дригу еще раз? Как было уехать, не исчерпав все до дна?..

Поднималась луна. На площади лежали черные тени пирамидальных тополей. Окна станции были освещены.

Дриго просил дожидаться его в станционном помещении. Но мы предпочли схорониться за тополями — пусть-ка первым явится Дриго.

Прошло около часа. Вдруг несколько дрожек подкатили к станции. Гуськом мелькнули темные фигуры. Послышалось звяканье сабель о чугунные ступени крыльца.

В ту ночь Александр Дмитриевич подрядил на постоялом дворе лихого возницу, и мы полетели что есть мочи к железной дороге. На душе было скверно. Мы молчали.

Наш кучер, молодой русый малый в пестрядинной рубахе и с шапкой за поясом, тоже молчал, но время от времени оборачивался с видом человека, которого так и подмывает не то разузнать о чем-то, не то рассказать что-то.

Наконец Александр Дмитриевич, выйдя из мрачной задумчивости, протянул ему папиросу, и кучер, будто дождавшись разрешения, тотчас заговорил.

— А вот, ваша милость, мужики-то у нас балабонят: распоряжение вышло... Не слыхали, часом?

— Какое распоряжение? — спросил Михайлов и усмехнулся: — Уж чего, чего, а распоряжений хватает.

— Э, не, ваша милость, это от самого царя распоряжение дадено. Запрет! Это чтоб у господ землю исполу нипочем не брать. Ни-ни!

— А как же?

— А так,— пуще оживился малый, польщенный заинтересованностью седока.— А так, ваша милость, чтоб нанимались поденно: мужикам — рупь, а бабам — полтина. И ни копейкой меньше, вот так.

— Гм... Оно будто и недурно?

— Известно! А еще балабонят: ездят-де переодетые начальники...

— А это зачем?

— То есть как «зачем»? А записывают, чтоб те, которые господа не сполняют, наказание понесли.

Стро-о-огое наказание: не балуй! Сказано: сполнять, сполняй.

Не докурив папиросу, кучер бережно загасил ее и спрятал. И продолжал:

— Дак вот незадача какая, ваша милость. Мужики-то стали сполнять... Ну, стали, значит, исполу не брать. А коли меньше рубля, а бабе меньше полтины — от господских ворот поворот. И что думаешь? За это вот за самое да в кутузку, за клин, видишь, заклинивают. Даже одного солдата,— ерой, егория имеет, так нет, не посмотрели, что ерой — туда, за клин. Это ведь что? Непорядок?..

— Непорядок,— повторил Михайлов.— Какой уж порядок. А может, парень, и нету указа-то государя, а?

Кучер сплюнул, отер губы рукавом.

— Беспременно есть, да только баре не хотят, ну и супротив царя...

Мы подъехали к железной дороге. Светало, ложилась роса.

Михайлов расплатился. Кучер, довольный, пожелал нам счастливого пути и заговорщицки мигнул Александру Дмитриевичу.

— А ты, ваша милость, тоже из этих будешь.

— Из каких?

— А из тех, которые записывают. У меня глаз-то походный, вижу.

И он стал распрягать лошадь, совершенно убежденный в своей проницательности.

8

Есть малость, которая словно бы подтверждает мое возвращение в Петербург: остренький сладковатый душок светильного газа. Ощутила — значит, вернулась.

Летом семьдесят девятого возвращение не обрадовало. Ну, приехала и приехала. Вот Эртелев с угловой кондитерской, вот ворота, вечный Прокофьич, дворник, снимает картуз, а вот и флигель, щербатая штукатурка... Ну, приехала и приехала... Опять владела мной неудовлетворенность, какое-то нервическое состояние. Будто что-то потеряла, а что именно, не разберешь.

С Александром Дмитриевичем мы расстались на полпути и, как всегда на росстани, был у меня страх за него, и печаль, и смущение, а он поднимался, как отчаливал, легко, свободно, уже весь заряженный своим электричеством, своей жаждой деятельности, и уходил, уходил, уходил.

Осенью я поняла, что некоторое время был он в Липецке и Воронеже. Там свершилось важное, решающее, поворотное, давно назревавшее; уже там, можно сказать, приказала долго жить «Земля и воля», оттуда, собственно, и пошли своими дорогами те группы, что несколько позже стали называться «Народной волей» и «Черным переделом».

Писать об этих событиях не буду. По той причине, по какой не описывала раньше общий ход событий на театре военных действий. Это требует «бархатного воротника» — надо обретаться в генеральном штабе. А я, как говорила, всегда занимала место незначительное. К тому же липецкий и воронежский съезды, где столь явственно отлилась террорная доктрина, достаточно известны, хотя бы по газетным отчетам о судебных процессах. Моя доля — частности. И я пишу о них, сознавая, что и частности необходимы общей картине.

К таким частностям, правда дурным, но из песни слова не выкинешь, принадлежит история с Дригой.
 Она разъяснилась быстро благодаря нашему бесцен-

ному ангелу-хранителю Клеточникову, служившему в Третьем отделении...

Черниговской ночью на площади, укрывшись в тени тополей близ почтовой станции, мы с Александром Дмитриевичем услышали бряканье жандармских сабель. И все-таки я, в отличие от Александра Дмитриевича, медлила признать Дригу полным мерзавцем. Не то чтобы считала его полуподлецом, но не считала и совершенством подлости, если только позволительно так выразиться.

Он, может и не достиг бы «совершенства», если б не арест. Давно за ним присматривали; как человек близкий Лизогубу, он был на заметке; но, думаю, ему не угрожало ничто особенное — улики отсутствовали... Он уже и руки простер — лизогубовские тысячи плыли, а тут вдруг арест, небо с овчинку.

Не ведаю перипетий игры, которую и жандармы затеяли с Дригой, и Дриго завел с жандармами. Известно, однако, что он очутился между двух огней: кара судебная и кара революционная. И предложил жандармам, как впоследствии Рысаков: «Вы — купцы, я — товар». Его и в Петербург привозили, к начальству нашего ангела-хранителя. Дриго выдавал, называл имена. Его то выпускали на волю, то опять — на казенные харчи.

А почти два года спустя после черниговских встреч, когда жандармский подполковник и прокурор тщились доказать отставному поручику Поливанову, что он вовсе не поручик и не Поливанов, а давно разыскиваемый важный государственный преступник, два года спустя кряжистый Дриго возник в сумраке тюремного коридора, по которому нарочно в ту минуту вели Александра Дмитриевича...

Итак, я снова была в Петербурге. Гремели телеги и конки, стучали кровельщики и плотники, а Петер-

бург казался притихшим. Очевидно, в столице такая прорва бездельников, что дачный разъезд «опустошает» город.

Я снова взялась за корректуры, предложенные Владимиром Рафаиловичем. Я нуждалась, конечно, в заработке, но еще в большей мере нуждалась в занятиях, чтобы убить время.

Двукратное путешествие в провинцию — в семьдесят восьмом и в семьдесят девятом — не принесло ничего, кроме горечи: мы не избавили каторжан от централок, мы не выручили лизогубовского наследства.

На литом закате была как вырезана аспидная виселица, назначенная Валериану Осинскому.

В августе кончилась жизнь Лизогуба. «Полоса ль, ты моя полосанька...» — он любил эту песню.

А я жила в Эртелевом переулке, я правила убористые гранки третьего тома зотовской «Истории всемирной литературы», получала гонорар в аккуратной конторе Вольфа и покупала марципаны в душистой кондитерской на углу Эртелева и Бассейной.

Мой брат обитал в другом мире. Капитан и кавалер Платон Илларионович Ардашев пошел в гору: назначенный состоять при генерале Рылееве, коменданте главной императорской квартиры, он оказался в приятной близи к сильным мира.

Государь и двор находились в Царском. Платон звал меня к себе. Я отговаривалась занятостью. Как человек «нигилистический», я не считала себя вправе принять приглашение. Не стану, однако, кривить душой, в моем нежелании крылось и другое, пусть микроскопическое, но оно было: я стеснялась. Стеснительность моя была свойства мелкого, дамского: нет подходящего платья, не знаю, как держаться... А любопытство щекотало, и я сердилась на себя.

Виделись мы нечасто. Наезжая из Царского, Платон восторженно живописал тамошнюю жизнь: верховые прогулки, когда он сопровождал кн. Долгорукую и кн. Мещерскую, катавшихся на одинаковых фаэтонах-виктория; какие-то юбилеи, торжественные крестины великокняжеского дитяти, полковые празднества преображенцев и большие ропшинские маневры. «Громкие» имена произносил Платон почтительно, но с оттенком светской осведомленности о чем-то таком, чего простые смертные не знают и знать не должны.

Это было смешно. И это было печально.

Я убеждалась, что человек, родной кровно, окончательно чужд мне духовно, и это было печально, мучительно, потому что я все равно его любила, догадываясь, что буду всегда любить, как бы ни завершилась его метаморфоза.

Когда мы встретились в Болгарии... О, тогда брат казался внутренне обновленным, иным, не прежним, не петербургским. Та ночь во дворе турецкой школы, где размещался наш госпиталь. Он был задумчив, сдержан, он говорил о товарищах, о солдатах, о страхе смерти и как они с его другом капитаном играли в «прятки». И во всем, что он говорил, и в том, ка́к он говорил, был другой человек, не прежний забияка и собутыльник.

А теперь?

Я вглядывалась в красивое лицо с черными дугами бровей и темно-синими глазами, вглядывалась в этого статного человека в открытом офицерском сюртуке с манишкой — и думала: куда девался тот Платон, который стал мне очень дорог посреди чудовищного безобразия войны? Где тот Платон, который был на горе Св. Николая,— спокойный, дельный, скромный храбрец?

И все-таки сердце подсказывало: Платон пусть и не такой, каким был на театре военных действий, однако и не тот, каким был прапорщиком армейской артиллерии, гулякой и волокитой. Сердце подсказывало: не прежний, другой. Но какой?

Посреди своих восторгов, адресованных Царскому Селу, Платон, бывало, осечется, призадумается и осторожно-вопросительно взглянет на меня, точно в ожидании. А я долго не могла сообразить, чего он, собственно, хочет, и принималась трунить над мишурой дворцового времяпрепровождения. Он скучнел и тяготился, хотя и не защищал и не защищался.

Прозревать я начала, расслышав наконец лейтмотив его рассказов: Платон кружил на маленькой площадке, словно бы отграниченной двумя именами, именами Екатерины Долгорукой-Юрьевской и Марии Мещерской. Но с этой-то маленькой площадки открывалась обширная, как на императорском театре, сцена, где давали царскосельский «балет» со множеством актеров, и потому, должно быть, глаза мои разбегались, не задерживаясь на фигурах двух сестер, одна из которых и оказалась «музыкальной темой», владевшей моим братом.

Мне претят дворцовые тайны, претит писать о них, я б и читать не стала, попадись такой роман. Но, с одной стороны, тут опять-таки частности общей картины, как и истории с Дригой, а с другой, такая частность, которая, сколь ни странно, соприкоснулась с моей жизнью и внесла неожиданную ноту в наши отношения с Александром Дмитриевичем Михайловым.

Дворцовая тайна (о которой ниже), может, и была секретом полишинеля во дворцах, однако долгое время оставалась неведомой даже тем пронырливым петербуржцам, которые питают неодолимую страсть

к таинственным обстоятельствам подобного разбора. Я этой страстью не одержима и никогда бы, наверное, ничего не узнала, если б не брат мой. Добавлю, я была бы счастлива остаться неосведомленной, то есть чтобы Платон ничего не знал, а попросту тянул бы где-нибудь батарейным командиром.

Постараюсь кратко, хотя это и затруднительно, ибо тут подобие цепочки, где звеньшки сцеплены.

Когда Платон впервые посетил кн. Мещерскую, к ней на минуту приехала сестра вместе с мальчиком в форменном платьице казачьего офицера. Не стесняясь присутствием старших, мальчишка нецеремонно проказничал, а на замечание кн. Мещерской ответил бойко и твердо: «А я с вами, тетя, не говорю!»

Этот мальчик, первенец Юрьевской, был сыном государя. Связь царя с Юрьевской, тогда, повторяю, Долгорукой, началась давно, кажется с институтских балов в Смольном, и была, если верить Платону, обоюдной и подлинной страстью.

А почему бы и не верить? Правда, Александр II был почти на тридцать лет старше, «но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Правда, Юрьевская была почти на тридцать лет моложе, но отчего не вспомнить героиню «Полтавы»?

Нет охоты опровергать скептиков, буде они найдутся, всеми наблюдениями, сделанными Платоном не через бинокль и не в течение дня. Однако вот еще что. В самом начале романа с Юрьевской Александр Николаевич дал обет жениться на княжне, если он будет свободен. Лет пятнадцать спустя государыня преставилась, и он, едва сорокоуст отчитали, встал с Юрьевской пред аналоем. Но это позже.

А пока приходилось осторожничать. Впрочем, по мере угасания императрицы, император все смелее

не щадил порфиропосную супругу. Юрьевская оставила Английскую набережную и поселилась в Зимнем дворце. Ей отвели флигель в Царском и виллу в Ливадии. Желая любоваться Юрьевской и на придворных балах, царь назначил ее фрейлиной императрицы. Не сомневаюсь, все это было достаточно жестоким испытанием для больной государыни и, очевидно, приблизило ее смерть.

Сколь бы ни упрочивалось положение Юрьевской, а существовала оппозиция — и великосветская, и в Аничковом, где тогда жил наследник с цесаревной, множество недругов, державших сторону государыни, и не все они поступали лишь своекорыстно.

В этой «внутривидовой борьбе» Юрьевская тоже приискивала союзников. У нее был самый могущественный союзник изо всех мыслимых в империи, но как обойдешься без наперсников, наушников, компаньонки? Первой «богатырской заставой» встали, разумеется, ближайшие родственники: два брата Долгорукие и сестра кн. Мещерская. Потом — невестка Софья Шебеко. И сестра ее, незамужняя Варвара Шебеко, которую я имела честь узнать; она не разлучалась с Юрьевской, заменяя ей секретаря, ее детям — гувернантку. (Кстати: нынешний командир корпуса жандармов — из этих Шебеко.)

А союзники Юрьевской в свою очередь озаботились союзниками, создавая партию, до времени подпольную. Тут-то и подвернулся капитан Платон Ардашев. Не бог весть кто, без связей и веса? Да так. Э, а может, оно и к лучшему? Вообще-то человеческая благодарность — ладья утлая, быстро тонет. Однако и по-другому случается, в особенности вот с такими бедными рыцарями, боевыми офицерами.

Но в случае с Платоном был не один лишь голый
 практический расчет. Платон, красавец собой, сделал

известное впечатление на вдову Мещерскую. И тогда, и теперь я ловлю в себе странное, смешанное чувство. Прежние, довоенные похождения брата не вызывали у меня ничего, кроме легкого раздражения и снисходительной иронии, а здесь явилось что-то схожее с ревностью, как бывает у матерей. Однако и другое: обида за Эммануила Николаевича Мещерского, погибшего на позиции, принявшего смерть грудью. Да, обида, хотя я не могла не понимать, что скорбь преходяща, что мы не в Индии и вдов не сжигают на погребальных кострах вместе с мужьями и что любовь самое свободное чувство, не поддающееся ничьей воле.

Но все дело в том, что любви к Платону у княгини Марии Мещерской я не предполагала. Увлечение — да, любовь — нет, решительно нет. Отчего? Литературные реминисценции? Моя «нигилистическая» закваска? И так и не так. Если бы тут не Платон, не мой брат, я бы допустила мысль о любви какой-то княгини к какому-то бедному офицеру. Но главное и не в этом, а в том, что я, увы, оказалась права...

Но Платон, Платон! То не была влюбленность, то была любовь, первая в жизни несчастного моего брата. Вот это-то я и не сразу сознала.

Я помню, как однажды он ворвался ко мне, на рассвете ворвался, поднял с постели; он не кричал, не бегал по комнате, а рухнул на стул, глядел незряче и все повертывал на пальце, будто ввинчивая, отцовский перстень. А я стояла перед ним в одной ночной рубахе и повторяла: «Что?.. Что?..»

Он сказал чужим, незнакомым, но ровным голосом: «К ней сватается Мирский. Святополк-Мирский, князь, старик, и она склонна...» У меня не отлегло от сердца, моя давешняя почти материнская ревность

исчезла, его беда была моей бедой, и я тотчас возненавидела этого негодяя Мирского, мне совершенно неизвестного.

Брак с Мирским расстроился. Старик испросил разрешения другого старика — государя, а тот отказал; из каких державных соображений, не знаю, да и неинтересно. Но она была «склонна», и эта ее «склонность» постоянно мучила, терзала Платона.

Не так было бы больно и не так тяжело, если бы все последующее я могла объяснить лишь слепотой любящего человека, полетевшего словно с горы. И все-таки эта подлая лига вряд ли приманила бы брата, если бы он не увидел в ней средство настолько вырасти в глазах государя, чтобы заслужить согласие на брак с Мещерской...

Платону отвели казенное помещение в Мошковом переулке, за Мойкой и бесконечной стеной дворцовых конюшен. У подъезда торчал шишак жандарма: в этом доме жил прямой начальник Платона, генерал Рылеев, комендант императорской квартиры.

Брату было жаль покидать меня, да и жаль расставаться с нашим щербатым флигелем, памятным с детства, и в свободное от дежурств и Мещерской время он приходил в Эртелев. Он ничего не тронул в своих двух комнатах, даже оставил почти весь гардероб, в котором не было статского, зато хранилась старая походная форма, и Платон надевал ее, согласно церемониалу, на ежегодные торжественные обеды в Царском по случаю юбилея форсирования Дуная.

Не сентименты водят моей рукой, а воспоминание о том прозаическом часе, когда я, запасшись нафталином, затеяла борьбу с молью.

И вот в братнином шкапу, как раз рядом с его походным глухим артиллерийским сюртуком, я и

обнаружила черное, из крепа одеяние с широкими, как у рясы, рукавами. Удивление мое перешло в изумление, когда я заметила на левом рукаве вышитую золотом звезду с лучами, а посреди крест, похожий на орденский и тоже вышитый золотом. Это не все. На груди означались крупные литеры — «Т. Ас. Л.» из серебряной канители.

Недоумевая, теряясь в догадках, я рассматривала нелепый хитон с кабалистическими знаками, да, так ни о чем и не догадавшись, повесила на место.

Глава четвертая

1

Извольте припомнить: в тетради Анны Илларионны — мне панегирик: дескать, Зотов хранил портфели!

А ведь никакой особенной доблести. Право, не скромничаю. Рассудите сами: ну, положим, явились «недреманные». Положим, обнаружили. Конечно, скандал! В портфелях-то что, думаете? Представьте, господа, архив — «Земли и воли», «Народной воли». Да, да, да! Бумаги самые разные. И общественные и личные. И даже наисекретнейшие: это где Клеточников, который служил в Третьем отделении, в департаменте полиции, шпионов называет поименно, с адресами, с особыми и неособыми приметами. А сверх документов — печать Исполнительного комитета. Представляете, ежели б нашли... У-у, форс-мажор! И меня, раба божьего, опять бы эдак вежливо доставили...

Почему говорю: «опять»? А потому, что бывал. Давно, почти полвека тому, еще при государе Николае Палыче, а бывал-с. Это, знаете ли... Я вам, кажется, говорил про знакомство с Петрашевским?

 Так вот, когда Михайлу Васильича взяли, широко

забросили сеть — и давай тянуть, авось побольше вытянут. Попал и такой пескарик, как ваш покорный слуга.

Жил я тогда на Морской, неподалеку от Яхт-клуба. Но и там катакомбы были: книги, книги, да еще книги-то на шести языках, и рукописи, и вырезки, и корректуры, и афишки. Жандармский полковник, очень, помню, обходительный господин, прямо-таки остолбенел — конюшни Авгия, а он не Геракл. Пойди-ка попробуй сие не то чтобы постранично, а хоть с полки снять — мафусаилов век. Стали жандармы валить все подряд в мешки. Пыль вздымается, сапоги топочут, полковник на меня косит с немой укоризною.

Помчали на Фонтанку, к Цепному. Я нос повесил. Ничего за собою эдакого не чувствую, зато чувствую, где живу: «Выпорют, и просто...» Дальше — хуже: из Третьего отделения помчали в крепость.

Привозят в Петропавловскую. Там следственная комиссия как на помелах летает. Главным Леонтий Васильевич Дубельт, тогдашний начальник штаба корпуса жандармов,— сухая жердь, физиономия старого филина.

Где-то в моих бумагах погребены его своеручные записочки, к отцу моему адресовался — по театральной части. Ахти нам! Жандармы всем ведают, репертуаром тоже: сей диалог изменить, здесь сценку сократить, там реплику убрать...

Да. Принимается он за меня. И что же? Оказывается, заговорщики, фантазер Петрашевский причислили меня, Зотова Владимира, к тем лицам, кои примкнут к ним после переворота.

Я обомлел. Опять-таки не потому, что чувствовал за собою что-то, зато чувствовал, так сказать, обстоятельства времени и места.

А Дубельт движет брови к переносице, голос у него без модуляций, а что возвещает — плохо слышу, плохо понимаю. Взмолился: помилуйте, вашество, ни сном ни духом...

Держали до сумерек. Однако отпустили, наказав быть в связях разборчивее.

Все это я к тому, что с портфелями-то, где архив революционеров, особенной моей доблести не было. Во-первых, катакомбы книг и рукописей у меня за десятилетия не уменьшились, напротив. Во-вторых, положим, и обнаружили. Но где? В прихожей! А там у меня, вы видели, всяческие папки. Я и развел бы руками: а черт знает, кто позабыл? Ко мне, журналисту, эвон сколь публики шляется, калейдоскоп... И наконец, ежели при грозном Николае Павлыче, в сорок девятом черном году отпустили, то отпустили б, наверное, и при Александре Николаиче...

Да и как было отказать? Здесь опять не надо курить фимиам, как Анна Илларионна в тетради. Я мзды потребовал: по экземпляру каждого нелегального издания. Корысть была! Прельстился!

А как получилось?

Приходит однажды Ольхин — рыжий и ражий, как викинг. Явился прямиком из судебного присутствия: в адвокатском фраке со значком... Вы уж, конечно, Ольхина не помните? А тогда кто его в Петербурге не знал: известный присяжный поверенный.

Он был мне хорошо знаком. У него на дому, случалось, реферировали разные вопросы — философские, научные. Вот, скажем, кружок при «Отечественных записках» шутливо именовали «Обществом трезвых философов», а тех-то, кто у Ольхина,— «Обществом нетрезвых философов». Но это так, шутя, а пьянства не было. (Тогда вообще интеллигентные

люди чурались зеленого змия.) Разве что побренчат на фортепиано. Или там кто-то принесет бутылочку кислятины и засядут в уголку, именуясь «государством в государстве».

Так вот, пришел Ольхин, а с ним еще некто. Этот в гостиной остался, а «викинг» — сюда, в кабинет. По обыкновению, без предисловий — привел-де революционного деятеля, три года тюремного заключения, к тому еще и стихотворец.

Эх, вздыхаю, еще один пиит на мою головушку. Ольхин рассмеялся, как гром прокатил: «Не пугайтесь, тут другое. А стихи его вы, сдается, читали. Я вам сборник подарил, заграничное издание...» — «Это что,— спрашиваю.— «За решеткой», что ли?» Ольхин кивает. «А какие,— говорю,— стихи вашего-то протеже?» — «Да хоть возьмите «Видение в темнице»».

Э, думаю, божья искра, не бог весть какой яркости, но есть искра... «Хорошо,— говорю,— но какая у него докука, а?» — «Да он вам сам объяснит, я вас оставлю.— И Ольхин, воздев палец, улыбнулся: — А там зачтется!»

Входит юноша, стройненький, пушок на ланитах, в очках и серьезный. Батюшки, думаю, три года заключения! Садитесь, говорю, милый, садитесь.

«Чего,— спрашиваю,— вы и ваши товарищи намерены достичь?» Отвечает: «Республики».— «Эка,— говорю,— замахнулись! Я,— говорю,— может, в душето и демократ, но народ наш к республике не готов. Какие республиканцы, кто ни «аз», ни «буки»? Из вашей,— говорю,— республики, мигнуть не поспеешь, Бонапарт вылупится. Да и доктрина социализма страшноватая, многих пугает, чревата «гибелью Помпеи», всей цивилизации. Так что, милый, лучше дай нам бог конституционную монархию».

Юноша рассеянно улыбался (должно быть, думал: «Была охота перекоряться с этим шепелявым грибом») и отвечал в том смысле, что «аз» и «буки» не очень-то знали и американцы сто лет назад, когда учреждали республику, что бонапартам нечего делать, если общество живет на основах братской любви и труда, а если и вылупятся бонапарты, значит, опять разовьется революционное движение, но легче пойдет... (Отчего «легче», хоть умри, доселе не уяснил.)

Перешли к «архивной теме». Тут-то я и потребовал, чтобы мне доставляли нелегальное,— корысть библиофильская, жадность к новизне во всех ее проявлениях.

Он изредка навещал меня, никогда не сталкиваясь с Михайловым. А потом... Да, нужно вам сказать, что имени я не спрашивал, из деликатности. Не спрашивал ни у Михайлова, ни у Анны Илларионны. Впрочем, она и не подозревала о моем архиве, покамест я не открыл ей... А стихи моего таинственного визитера были мечены литерами: «М. Н.» — дешифруй как хочешь.

Однако имя назову, потому что совсем недавно, в этом вот году, вернулся Ольхин... Судьбина! Один бедовый малый в Дрентельна стрелял. (Был и такой шеф жандармов, губастый, вихрастый, с апоплексической шеей.) А Ольхин укрыл террориста. Это сделалось известным. Александра Александровича из защитника да в обвиняемые. Сослали беднягу! В семьдесят девятом сослали, а нынче у нас девяносто четвертый. Сосчитайте! Российская арифметика, она машистая...

И жену Ольхин потерял, прекрасная была женщина. Выдержала экзамен на сельскую учительницу; увы, недолго учительствовала, заболела и умерла.

Между прочим, Варенька Ольхина состояла в свойстве с Феоктистовым — катковское охвостье, уж какой год командует всей разнесчастной русской прессой...

Так вот, в этом, стало быть, году обнялись мы с Ольхиным. Многое вспомнили и многих. Я и спросил: «Кто такой «М. Н.»?» И услышал: «Морозов Николай». То есть это Морозов, осужденный вместе с Михайловым по процессу 20-ти. Стало быть, товарищи.

Не знаю причины, оторвавшей Морозова от архивных портфелей. Эмиграция? Провинция? Сказать не берусь. Скажу только, что заменил его Александр Дмитрич Михайлов и оставался до конца, до ареста. А после никто не являлся.

Да, Морозова заменил Михайлов. И вышло так, что мы словно бы в другой раз познакомились. Но это уж не был «старовер», «пожиратель» моей библиотеки, а был участник опаснейших дел, которым я не сочувствовал.

2

Опять про записки Анны Илларионны. У нее два лета — семьдесят восьмого и следующее. И оба — в провинции. Но дело-то в том, что один из тех летних сезонов завершился громким происшествием здесь у нас, на Михайловской площади. А другое лето предварило еще более громкое — и тоже в Петербурге, но уже на Дворцовой.

Начну Мезенцевым.

Было это в первых числах августа, накануне Преображенья. Поехал я в пятницу к Мамонову. Рано поехал, хотел за день все своротить, чтобы в субботу на дачу.

Мамонов был из Москвы, редактировал медицинскую газету, потом взлетел — вице-директор меди-

цинского департамента. Не смекну, кому обязан, но доктор Мамонов просил об одолжении: литераторским глазом глянуть его материалы к истории русской медицины. (Он их потом издал.) Не плюй в колодец: медицинские светила пригодятся. Это уж житейская мудрость моей супруги; я и поехал.

Приезжаю. Сели за работу. Работалось легко — Мамонов был без авторского самолюбия, то есть человек редчайший. Нам кофий подали, все хорошо. Вдруг шум, поспешное движение, двери настежь. В дверях — жандармский офицер, глаза вразбежку: «Генерала Мезенцева зарезали!» (Так и брякнул: «зарезали».) Мы опрометью вон, к пролетке, она у подъезда стояла.

Я-то, главное, зачем? Мамонов понятно: он врач, он чин, за ним нарочный. А я? Черт знает, вихрь понес. В голове стучит: «Зарезали! В столице! Средь бела дня! Шефа жандармов!»

А по сторонам так и мелькает. Летим Фонтанкой, к углу Пантелеймоновской. Мамонов, откуда прыть, через две ступени, я — за ним; меня не спрашивают — то ли вселенский переполох, то ли за помощника принимают.

Большая, смотрю, зала. Полно публики. Мамонова в комнаты провели. Я перевел дух. Вижу, министры: военный — Милютин, лицо простое, умное, с твердым подбородком; юстиции — Набоков. Вижу, и Маков тут, товарищ министра внутренних дел, а может, уже и министром был, не скажу. Еще и еще — все первых классов. На лицах смятение. Пожалуй, один Милютин сдержан. Он сказал какому-то генералу: «Сатанинский план, хотят навести террор на всю администрацию». А генерал пробасил: «Исключительные законы нужны, Дмитрий Алексеич. И солонее германских, да-с!»

Выходит Мамонов, медленно отирает руки полотенцем. Все к нему. «Пульс слаб, но кровотечение остановлено. Надежда, господа, есть. Но рана в область желудка, печень задета, так что... гм...» И пожимает плечами.

Опять все заговорили, задвигались, разбиваясь кучками и смешиваясь. Публику больше занимали обстоятельства покушения, чем жертва.

Мезенцев, оказывается, имел в обыкновении утрешние прогулки. Обыкновение приятное, и с государем сходство. Компаньоном ему был какой-то полковник или подполковник. Этот в штатском, с зонтиком — настоящий петербуржец: на дворе вёдро, а он не верит и берет зонтик... Идут, значит, рядом. Мезенцев вспоминает, как четверть века назад он на Черной речке, в Крыму, сражался. Михайловскую площадь почти миновали, вот и Большая Итальянская, это там, знаете, очень хорошая кондитерская была, в доме Кочкурова. Тут-то и осаживает пролетка, запряженная вороным жеребцом. А из пролетки — двое; один, косая сажень, ринулся с кинжалом. Грудь с грудью, не из-за угла, нет. А другой стрелял в полковника, а тот на него с зонтиком. Миг — опять в пролетку, и-и, ух, молнией.

Тот, с кинжалом который, был Кравчинский, отставной офицер, позже эмигрант, писатель. Степняк — слыхали? Не скажу — могучая словесность, но жаром пышет... Второй, который стрелял, Баранников, с мальчишества приятель Александра Дмитрича... Да! А конь вороной, скакун кровный, это тоже знаменитость: Варвар, на нем похитили князя Кропоткина из тюремного госпиталя. Вот они, обстоятельства. Конечно, многое позднее, с годами прояснилось. А тогда, как каруселью, где правда, где враки, не разберешь...

Так вот, очутился я ненароком в доме Мезенцева. Э, думаю, пора и честь знать, надо ретироваться, а то какая-то хлестаковщина. Полегоньку к дверям, но тут останавливает Маков — эдак брюшком останавливает. И вид у него: высказаться, не то кондратий хватит. «Извините,— щурится.— Вы-с?» Я назвался. «А-а, наслышан, наслышан. Это хорошо, это нужно, давно пора прессе...» И за локоть меня увлекает. Увлек и разразился, пальцами от нетерпения прищелкивая.

«Весь,— говорит,— ужас-то в чем? Им (понимать надо, относилось к террористам), им,— говорит,— до человека дела нет! Подавай выдающиеся жертвы. Министров подавай! Нет нужды, что я за человек,— министр, и баста, вот и мишень — пали, пали! Я сам теперь заведу себе револьвер, с казаками ездить буду... А за что? За что они меня, а? — Он понизил голос, будто поверяя государственную тайну.— Мстят. Да-с, мстят: в сущности, мы проиграли. Вон в газетах-то что пишут, когда войска возвращаются в Петербург? «Вид у людей усталый, но бодрый». Экая чушь, батюшка мой! И знаете ли... знаете ли...— В голосе послышалось негодование.— В принципе, в душе я согласен с этим чувством разочарования. Как! По призыву с высоты трона вся Русь пошла на освобождение славян. Апофеоз преданности! Царьград видели — и шиш... А эти-то,— он сделал жест в сторону, где, очевидно, лежал шеф жандармов, но сказал вовсе не о Мезенцеве,— а эти негодяи, эти убийцы — самозванцы, мнящие себя представителями народа. Они народные чувства эксплуатируют, вот что, сударь мой. И для чего, спрашивается? А я вам скажу: ради личных целей... Ну-с нет, слуга покорный, я теперь, я сегодня револьвером обзаведусь и казаков, казаков потребую, чтоб около, чтоб ни на шаг...»

Я едва сдержал улыбку. И не потому, что Маков говорил смешно и смешное. Нет, мне вспомнилось единственное, что я знал об этом сановнике, именно как о человеке: пуще всего на свете он чурался слабого пола. Не представлялся даже великим княгиням. И, вспомнив, я подумал: а боится он не только женщин, не только.

Следовало что-то отвечать воспаленному оратору. В ушах моих будто сызнова прозвучал бас давешнего генерала, который с Милютиным: дескать, законы нужны похлеще германских. Я и сказал Макову, что вот, мол, Германия войну с Францией не проиграла, а выиграла, но и там, в Германии, стреляют.

Нужно отметить, действительно стреляли. И не в каких-нибудь министров, а в императора. И как раз в то самое лето. Какой-то берлинский бондарь несколько раз кряду пальнул. Неделя минула — опять. И попали-таки. Из ружья, крупной дробью. Это уж — доктор Нобилинг. (Немецкая пресса расстаралась на целые страницы, с портретами злоумышленников, прекрасные гравюры, немцы умеют.) Громадные толпы пели у дворца «Nun danket alle Gott» * — в честь того, значит, что император Вильгельм уцелел.

Все это Маков, конечно, знал, как и я. Но моя «параллель» несколько озадачила его. Он колыхнул брюшком: «Э, не-емцы... Кто покушался-то? Сумасшедшие, идиоты... А наши, о-о-о...» — и, тряся рукой, обронил на лацкан пепел сигары.

Я опять едва не улыбнулся: такая опасливая уважительность прозвучала в министерском «о-о-о». Но Маков, как спохватившись, снова указал в сторону,

* «Возблагодарите все господа» (*нем.*).

где находился Мезенцев: «Прав Николай Владимирыч, великодушие к революции немыслимо».

Сдается, я отчасти «повинен» в публикации одного адреса. Думаю, не ошибусь, если скажу, что параллель с немцами понудила Макова призадуматься. Но чего было ждать от канцелярского мышления? Ну и переломилась моя параллель в некий зигзаг.

Макову, очевидно, ассоциация на ум вспрыгнула: ежели колбасники хором поют «Возблагодарите», хорошо бы и здешним, петербургским, обывателям изъявить эдакое патриотическое, общественное. А как на Руси деется? Известно: указание необходимо, скомандовать надо, и вся недолга.

(Наш брат журналист про дальнейшее, как все это было, вызнал. Тогда корреспондентов даже на придворные балы допускали. Правда, на хоры, но допускали. И они туда шастали задолго до полонеза, которым все дворцовые балы начинались.)

Ну вот, дал Маков идею градоначальнику. И пошла писать губерния. Мезенцев еще не остыл... Он в тот день к вечеру отошел. Назавтра, в субботу, отпевали его в церкви корпуса жандармов. Где служил, там и отпевали... А «губерния» писала...

Градоначальник, получив идею, призывает городского голову и — как по эскадрону — объявляет: сей же секунд изготовить всеподданнейший адрес! Так, мол, и так, петербургское общество с негодованием узнало... петербургские жители презирают убийц... повергаем к стопам вашего величества выражения своего уверения...

Голова схватился за голову: сей секунд никак нельзя, не соберешь, невозможно, а в понедельник, вашество, очень возможно. Градоначальник побагровел: «В понедельник?! Эт-та еще что? Садись!! Бери перо!! Записывай!» — и диктовать, и диктовать.

Вот, господа, как надобно изъявлять патриотизм, общественный гнев, а равно и ликование.

А после правительственное обращение вышло, как бы ответный призыв к обществу: вырвем зло, позорящее русскую землю... Опять-таки департаментская мыслительная работа. Ну что может быть бесцветнее, беспомощнее? Общество приглашают к содействию! А как содействовать, ежели это общество и презирается, и подозревается? Но самое-то примечательное в чем? В том, что у многих улыбка расцвела: смотри, пожалуйста, к нам правительство обратилось... Да, верно и умно кто-то сказал: беда не в том, что страдаем, а в том, что не сознаем, что страдаем.

Прошу еще заметить. Что значит — правительственное обращение? Очевидно, обращение министров. Теперь вопрос: а кто у нас министров знает? И в лицо, и как личности? Имя-фамилию не назовешь, ежели под ним не служишь. А тут — обращение. Кто обращается? Нечто анонимное. Я уж не беру в расчет, что каждым министром крутит дворцовая партия. А просто: не видим мы их и не слышим. Да и невелика беда, впрочем: увидели б ординарнейшее, а услышали банальнейшее — «к стопам припадаем». Давно уши вянут...

Ладно. На устах общества блуждала, говорю, довольная полуулыбка — к нам обратились! Совсем не то — михайловы.

Не стану о брошюре «Смерть за смерть». Ее смысл был ясен: ты, Мезенцев, нас, а мы, Мезенцев, тебя. И верно, заколотого генерала ангелом не наречешь. Одиночное заключение, централы, попранные законы, административная ссылка, виселицы — все это за ним числилось. В канун покушения была казнь в Одессе... Все так, верно. Но, скажите на милость, отчего человек бросает кинжал, хватает перо и берется

за брошюру? Очевидно, потребность объясниться. Стало быть, ощущает душевную неувязку...

Хорошо, я не об этой брошюрке, о другой — «Правительственная комедия». И там история, которую я сейчас рассказывал, про это самое «общественное негодование» — как его власти сами соорудили. И тут все точки над «и», никаких иллюзий, в отличие от нашего брата, который то младенчески улыбается, то старчески нюнит.

Обе брошюрки принес Александр Дмитрич. Не изменял правилу, заведенному у нас с Морозовым. И пока жив был, доставлял мне нелегальное. И то, что печатала «Земля и воля», и то, что выходило из народовольческой печатни в Саперном. Вот уж наделала она лиха властям предержащим! Никак не могли обнаружить... Был и такой опасный слушок: дескать, из «Голоса» тоже кое-какие статейки туда поступали — из тех, которые нельзя было цензору показать...

В те дни, после Мезенцева, ну, может, спустя неделю, навестила меня Анна Илларионна. Вижу, не желает, голубушка, ни полсловечка о Мезенцеве. А я тогда ее записок еще не читал, не было еще тех записок. Откуда мне было знать, что она следила за Мезенцевым?

Она его видела на войне, при посещении государем госпиталей, ну и «показывала» шефа жандармов своим друзьям — Александру Дмитричу и Кравчинскому. И в Летнем саду указывала — вот он, и на Михайловской площади в канун покушения. Этого я тогда не знал, а только вижу — не хочет она, избегает.

Очень обрадовалась, когда Рафаил заглянул...

Тяжко вспоминать сына. Есть жестокая «насмешка бога над землей». Вы молоды, вам не понять, а

только не приведи господь на старости терять детей. Но вот потекут воспоминанья — отрада. Не тогда мы умерли, когда умерли, а тогда, когда никто в целом свете не может, не умеет мысленно увидеть наш облик. Вот так, во плоти...

Рафа мой, я говорил, был офицером. В ту пору перешел он из Сибирской флотилии в Балтийскую эскадру. Но сидел на берегу — заканчивал минные классы. Курс был такой — управление приборами гальванической стрельбы... Один мой знакомец, тоже моряк, но севастопольских времен, он, знаете ли, утверждал: дескать, после Севастополя, с его чудовищными жертвами, люди никогда не решатся на войну, за ум возьмутся. Куда там! Не видать конца произведениям человеческого гения... Вот и эти самые гальваническая стрельба, мины шестовые, мины самодвижущиеся, кто их разберет...

Он много плавал, мой Рафаил. Чуть не четыре года на «Боярине», парусном корвете. Вокруг света ходил. Стало быть, моряк соленый, а не паркетный, как здешние.

Анна Илларионна, увидев Рафу, оживилась. Рассказчик он был отменный; возьмите хоть кругосветное — уже одиссея. Да и пришел с приятелем.

А тот... Я красивых людей встречал, но этот был редкостный. Правильность черт — еще не красота. А если и она, то хладная, а коли хладная, то и не красота, а кладбищенская поэзия. Но тут черты духовным дышат, мыслью веет, вот она — красота. Глаза большие, серые, взгляд открытый, смелый, искренний. Говорят: на море смотреть — значит, размышлять. Вот такими глазами, как у него, и смотрят.

Покосился я на Анну Илларионну. Ага, думаю, голубушка, каков твой Михайлов, если рядом с Николаем Евгеньевичем? Ну, то-то! Его звали Николаем

Евгеньичем Сухановым. Прошу запомнить! Суханов, Николай Евгеньич...

Сели ужинать. Разумеется, при графинчике — Рафаил весьма жаловал. В доме повешенного не говорят о веревке; в доме литератора непременно говорят о литературе. Рафа напустился на повести «из быта народа» — дескать, надоело жевать сено. Анна Илларионна оспаривала — дескать, надоело жевать лососину итальен. Суханов, Николай Евгеньич, слушал серьезно, но помалкивал.

Я почему-то был уверен, что он на стороне моей Аннушки. Вышло иначе. Он Рафин натиск не поддержал, но и Анне Илларионне не пособил.

«Извините профана,— сказал без улыбки,— но все эти повести из народного быта — мода. Умиление, вздохи, ну, горечь, а правды-то, огромной и единственной, не найдешь. А есть одна книга — песни, сказания! Вот где правда, и мысли, и чувства. Нищий поет, пахарь, мать у колыбели. А писатели?.. Сонм писателей, извините, должен быть в ладах с теми, кто все решает и вяжет. А историки? Хвалят презренных, палачей выдают за воинов».

Мне не были внове суровые осуждения нашего цеха. Но меня всегда раздражало, когда пишущих — под одну гребенку. «Сонм», черт задери! Бери бумагу и марай, а мы поглядим, каков ты наездник. Однако наивность Николая Евгеньича не раздражила. То была наивность чистой натуры.

Мой пробурчал: «Ну, сел на своего конька. Будет тебе, Николай. Твое здоровье... А самые лучшие книги знаешь какие? Лоции. Я не шучу, лоции. Вот где стиль, точность... А ты, брат, носишь мундир и служи государю своему. За ним служба не пропадает. Твое здоровье».

Суханов поднял глаза. Не на меня, не на Рафаи-

ла — на Анну Илларионну. И сказал как бы без связи с прежним: «В Одессе осудили на казнь кого-то из крайних. А молоденькая девушка обратилась к публике на бульваре: ваших братьев вешают, а вы разгуливаете как ни в чем не бывало. Стыдитесь! Ее бросились ловить. Артиллерийский офицер, граф Сперс, схватил девушку за шиворот. Она, однако, вырвалась и скрылась. Потом был офицерский суд: графа принудили оставить полк».

Анна Илларионна просветлела: «Прекрасно!» Рафаил казался раздосадованным и, пожалуй, смущенным: «Оно, конечно, нечего было соваться не в свое дело. Но скажу напрямик, судить я бы не стал». Суханов и Анна Илларионна промолчали. Они промолчали, как сообщники.

Годы спустя... Рафаил уже здесь обитал, в гидрографическом департаменте, а с Сухановым было уже кончено... да, годы спустя Рафаил рассказал мне, как Суханов объяснял каким-то своим кронштадтским друзьям: «Я служил государю до тех пор, пока его интересы не разошлись с интересами народа. А служить моему народу я считаю своим первым и прямым долгом».

Николай Евгеньич посетил меня лишь однажды. Они с Рафой все круче, а потом и вовсе не встречались. Но сыну довелось видеть последний час Николая Евгеньича, это я вам после расскажу.

Что до Анны Илларионны, то она Суханова из виду не выпустила... Э, нет, господа, нет. Я сам, признаться, питал надежду: Николай Евгеньич холост, почему бы и... Помоги, думаю, господи. Тут было и несколько мстительное чувство к Александру Дмитричу. Я все понимал, хотя Аннушка никогда ни словом... Вот, думаю, натянут тебе нос, сударь мой, Александр Дмитрич, хватишься, ан поздно... Но нет,

Суханова она из виду не выпустила, потому что сразу распознала, каков он. Да и трудно было б не распознать.

А далече мы, однако, от Мезенцева-то убрели?

3

Кинжал Кравчинского — это в августе. Пули на Дворцовой — это в апреле. Стало быть, в семьдесят девятом, так выходит.

После убийства Мезенцева полиция, понятно, не знала ни сна, ни отдыха. Там и сям хватали. Александр Дмитриевич терял верных друзей. Он был как глухой. Тяжелая угрюмость сердца, сжатого болью.

Скажешь: «Шли аресты», а вы и вообразите, что окрест все затаилось, от островов до Охты. Ничего похожего! Ну, там квартирная хозяйка, где арест случился, соседи в этажах, сиделец мелочной лавки, эти перешепнутся: «Вчерася гляжу: чегой-то он какой-то не такой? Э-э, думаю, дело нечистое...» И все. Камешек швырнут в Неву — бульк, и нету. Река попрежнему сплывает в залив.

А Михайлов мне однажды — из апостола: «Помните узников, как бы и вы с ними во узах». Александру Дмитричу не надо было помнить: он не забывал.

Отжили зиму. К весне переламывалось медленно. В марте грянули «варфоломеевские ночи» — так Александр Дмитрич определил тогдашние аресты. Теперь действительно от островов до Охты покатилось. Михайлов говорил: «Совершенно истребительное направление!» Даже в Литовский замок, где уголовные, везли политических. И не одних интеллигентов, эти уж вечные вифлеемские младенцы для всех иродов. Не только, а и рабочих, мастеровых.

Пасха в тот год была, помнится, в апреле. И вот на второй день Святой... Загадочная штука — воля случая! Вставь в повесть, непременно одернут: тасуешь, мол, колоду, чтоб совпало; белыми нитками шито. И вправду, как ведь получилось?

У Певческого моста поныне коптит небо Жижиленков, родственник моей жены, она урожденная Жижпленкова. Я с этим коллежским советником мало знался — толстокожая посредственность.

На великий пост он простыл. Жена моя тоже недомогала. После светлого воскресенья наказывает: поезжай, мол, с пасхальным визитом. Поехал. На душе хорошо: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Город вылощенный, перезвон, запах нагоревших свечных фитилей.

Я к Певческому мосту всегда так, чтоб Мойкой ехать. Люблю этот сомкнутый строй строений, плавный изгиб. Вот и дом Пушкина... Я, помните, издателя Краевского щипал: такой, сякой, скупердяй и прочее. А ведь надо и то заметить: как Пушкина убили, все промолчали, один Краевский напечатал — «Солнце поэзии русской закатилось...» Да, мимо дома Пушкина. Разве зайдешь поклониться памяти? Там ведь теперь что? Охранное отделение; извините, центральное шпионское депо... Ну, а тогда, когда я ехал к Певческому, не скажу точно, кто жил: может, еще графиня Клейнмихель, а может, уже гофмейстерина Кочубей.

Приезжаю к болезному шурину. Домочадцы: «Ох, батюшка, ах, батюшка...» Прохожу в первую комнату, у него это вроде гостиной, окнами на Дворцовую. Медлю, гляжу себе в окно. Вижу рослую фигуру в теплой шинели, одна рука в кармане, другая — в свободной отмашке.

Кто бы вы думали? Государь.

И — мельком — баба с пасхальным узелком, полицейский обер-офицер, еще кто-то. И вот не то какой-то титулярный, не то учитель, бородка клинышком. В пальто, ворот поднят, зеленый околыш фуражки.

Миг — и по стеклу как палкой. Я отпрянул. И еще выстрел. Я кинулся вон, к выходу, не попадая в рукава, выскочил на Дворцовую. Вижу: государь бежит, а тот, в фуражке, за ним и — стреляет, стреляет. Государь бежал зигзагом, подхватив полы шинели и будто на бегу приседая...

Я что хочу отметить? На другой или третий день был у меня Платон Ардашев, Аннушкин братец. Говорили о давешнем происшествии: все тогда обсуживали и пересуживали. И вот мы о том, как государь бежал зигзагом. Я не ухмылялся: и на четвереньках поползешь, и на брюхе. А Платон Ардашев утверждал: именно так, если по-военному, так и надо было уклоняться от пуль, не имея возможности отстреливаться. И ничего в этом зигзаге не было заячьего, а, напротив, верный расчет...

Да. Так вот, на Дворцовой. Угловым зрением я приметил офицера, кинувшегося наперерез преступнику. Не поручусь, но, кажись, террорист навел на офицера револьвер — эдаким мгновенным, инстинктивным, защитным движением. Но пальнул-то опять в государя. Ударом шашки — плашмя по спине — офицер сбил с ног террориста. Набежали люди. Потрясенный происшествием, офицер пробормотал не то удивленно, не то с удовлетворением: «Погнулась». То был капитан Кох, приятель Ардашева.

Помню, кто-то из литераторов: Соловьеву-де в минуты покушения внезапно сделалось жаль своей жертвы, он заколебался... Э-э, беллетристика! Я видел, он шел на государя широким, ровным, мерным шагом, как идет человек, знающий, на что он идет.

И последним штрихом: какая-то фурия, лицо перекошенное, капор съехал — вцепилась она Соловьеву в волосы, рвет, тянет, а серьга на ухе прыгает, бьется...

Соловьеву заклешнили локти. Повели. Я тупо смотрел ему вслед. У меня было состояние, которое, наверное, испытывает тот, кто каким-то чудом вывернулся из-под ревущего локомотива. Темное, чудовищное, страшное пронеслось надо мной, обдавая жаром и смрадом.

Я побрел к арке Главного штаба. Мне показалось, я так же вяло переставляю ноги, как Соловьев. Я подражал, невольно подражал.

Близ арки различил человека. Лицо было в крупных, с горошину, каплях пота. Я сознавал, что знаю, хорошо знаю этого человека... Он исчез, словно привидение. И когда исчез, я сообразил, кто он... А на площадь натекала толпа. Ждали, что государь выйдет на балкон.

«Nun danket», как немцы, наши не пели. Редактор мой Бильбасов, известный историк, был на площади с женой, она — Краевского дочь... Владимир Алексеич говорил, что рядом с ними дожидался выхода государя какой-то малый, мастеровой. Он громко сказал, указывая на балкон: «Если патриот — кричи «ура», а если социалист — молчи». «И знаете,— смущенно прибавил Бильбасов,— ведь все слышали, а, представьте, никто не возмутился!»

Дома я слег. Ни температуры, ни кашля с насморком. Но я был болен. Я все думал: как это я там, у арки, не признал тотчас Александра Дмитрича? Лицо его не исказилось, только крупные капли пота... Как последние, когда кран завернешь... А я его не признал. Он исчез, а уж тогда-то я и признал, что это был именно Михайлов.

Не волею случая, как я, очутился он на Дворцовой. Скверно мне стало, нехорошо. Не потому, что обманулся в Михайлове, и не потому, что Михайлов меня в чем-то обманул. Тут другое... И не оттого даже, что я террорную доктрину отвергал. Другое... Само безобразие картины: старый человек, с грыжей, одышливый, бежит от стрелка, а Михайлов высматривает: убит иль не убит старик в теплой шинели? Высматривает, покрываясь тяжелыми каплями пота. Безобразным все это было, иначе сказать не умею.

Либерал? Телячий студень? А я и не спорю, я согласен. Но что такое обвинение в либерализме? Кто в меня бросит рифмой: «либералы — обиралы»?

Да, забыл было... Соловьев-то палил из того самого «гиппопотама», за которым — помните? — Анна Илларионна ходила к доктору Веймару. Тот самый револьвер, «американец», который был у них в Харькове, когда хотели отбить каторжан...

Ладно, либерал, согласен. А вина моя в чем? В том, что противлюсь мракобесию, произволу, разухабистому шовинизму, да только не револьвером, не метательным снарядом. Так за что уничижать? За то лишь, что не могу и не хочу палить в старика, бегущего зигзагом?

Между прочим, в программе землевольцев было, сам читал, она у меня хранилась: заводить связи среди либералов с целью эксплуатации их. Меня-то как раз и эксплуатировали.

Но никогда, ни разу не явилась мысль: укажу — вот он, вяжите его. Почему? А не потому ли, что меня «т а м» гражданином не считают? А если не считают, чего я «т у д а» пойду? Я подданный, и только. А не гражданин.

Но это не все. Есть неистребимое омерзение к до-
 носительству. Ты в принципе противник террора,

а пойди-ка донеси? Э-э, нет, слуга покорный! Мерзит. Опять потому, что есть «мы» и есть «они». «Мы» — это те, на которых доносят. А «они» — те, которым доносят. Рубеж и пропасть.

У этого «мы» широкие крылья, многих обнимают. С Александром Дмитричем я часто не сходился, а лучше сказать, часто расходился, но обоих обнимало это «мы». И какая уж тут «эксплуатация»?

А самое-то примечательное в наших отношениях не хранение кожаных архивных портфелей, а наши диспуты. Случались такие часы, откровенные и доверительные. Мне кажется, Александр Дмитрич в них нуждался. И не потому, что дискутировал с Владимиром Рафаилычем Зотовым, не семи он пядей во лбу. Оттого нуждался, что в товарищеском круге, где все в согласии, если и спорили, то о частном, практическом. А человеку нужно потрудиться мыслью, потребность есть. А у меня возражения — вот и трудись, одолевай.

Но о терроре не заикались. Какая-то особенная помеха. Нет, не архисекретность; я вовсе не хотел проникать в тайны. Иная была помеха, глубоко, в сердце.

Однако приспел час. Мне кажется, до отъезда Александра Дмитрича с Анной Илларионной в Киев и Чернигов. Тогда уж знали, что Соловьев подсуден Верховному уголовному, ну и двух мнений не возникало — эшафот, виселица.

А ночь накануне покушения скоротали они вдвоем: Соловьев и Михайлов. На квартире у Александра Дмитрича. И какую ночь — пасхальную! Вникните, господа, призадумайтесь и вообразите.

Когда царствие божие замешкалось где-то за горизонтами, в мареве, Христос предал себя своей участи, обрек себя Голгофе. Страх был пред чашей сей.

Он страх одолел. И все на себя взял, ради того, чтоб убыстрить наступление царствия божиего.

В ночь светлого воскресенья, когда везде огни и радость и этот веселый трезвон, в такую вот ночь сидели в какой-то невзрачной петербургской комнатенке Соловьев и Михайлов.

По лицу Соловьева перебегали нервные тени. Вообще скупой на слова, молчаливый, он совсем в себя ушел. Чрезвычайная сосредоточенность владела им.

«Я метель вспомнил,— вдруг сказал Соловьев.— Ужасная метель была. И если б не мужик, пропал бы».

Из давнего ему вспомнилось, довоенного, когда ушел он в народ и работал кузнецом. На пороге войны хозяева сворачивали дело, людей гнали. Соловьев остался без копейки. Бродил с толпой бедолаг в поисках куска хлеба. Зимою, в ознобе, в горячке, тащился по заметенному снегом проселку. Смеркалось, нигде ни луча света, метель. Он упал и не мог подняться. Его спас мимоезжий мужик.

«А ты знаешь,— спросил Соловьев Александра Дмитрича,— знаешь ты легенду о Касьяне-святом и Николе-угоднике? Ну, слушай, брат... Один мужик увяз в грязи с возом. Бился, бился — не вытащит. Шел Касьян-святой, поглядел на мужика — и дальше. Не хотел замарать райское облачение. Идет Никола-угодник, тоже поспешал куда-то по своим заботам. Видит, мужик совсем обессилел. Сейчас засучил рукава, плюнул на ладони, да и приналег, да и выдрал воз из грязи...»

Вот ночь-то какая в канун покушения...

И еще надо вам сказать: не было у Соловьева братской поддержки. То есть, вернее, единодушной поддержки не было. В революционном сообществе резкая брань разгоралась. Спорили: целесообразно

или нецелесообразно? Заметьте, не спорили: дозволено или не дозволено? Впрочем, вопрос сей как бы и разрешился молчаливо. Ежели дозволено прокурора или шефа жандармов, отчего не дозволено государя? Все люди, все человеки...

Соловьев все на себя взял. Михайлов, единственный из коротких знакомых его в Петербурге, поддерживал. Соловьев ему первому открыл свой замысел. Но сам Михайлов еще не был готов.

Вот когда он мне это сказал, я... Тяжело продолжать, а нельзя не продолжить... Я и подумал: сам не готов, но готов был высматривать. И в августе, когда Мезенцева, тоже не готов и тоже высматривал. И еще раньше, в Харькове, не ты оружным выехал на тракт. И вот — Соловьев.

Я вам сказал, что был у нас диспут о терроре. А сейчас и сообразил: после он был, а не перед отъездом Михайлова в Киев. Ну, о том, что потом,— это потом, в свой черед.

А тут, вы заметили, получилось у меня так: темными красками — покушение, светлыми — покушавшегося. Выходит, запутался? Выходит, концы с концами не умею? Эх, господа, а кто это умеет?

Впрочем, не оправдание. Да я и не оправдываюсь. А только, ей-ей, очень бы мне нежелательно, чтоб сочли вы меня за одного журнального деятеля. Имя довольно известное, ни имени, ни псевдонима называть не буду, не суть важно.

Он у нас, в «Голосе», высказывался эдак, и весьма пространно высказывался, а в «Русском мире» сам себя опровергал, и тоже весьма пространно.

Прошу за таковского не принимать. А коли не умею выстроить по ранжиру, стройно, затылок в затылок, так ведь и жизнь-то, она тоже, пожалуй, не умеет.

4

Недели за две до рождества... Это я все еще в семьдесят девятом году обретаюсь... Да, недели этак за две возникает на Невском огромный парящий ангел, в руках у него маленькие, словно игрушечные, паровозик и вагончики. Ангел парит, парит... А под ним, внизу, далеко означается крохотная железнодорожная станция... Вот какая картина на Невском, в витрине художественной фотографии Дациаро. Аллегория!

Год начинался выстрелами на Дворцовой, а заканчивался взрывом под Москвой. Свинец уступил место динамиту. С позволенья сказать, убойная сила нарастала.

«А ну как и ангел проморгает?» — выражали лица тех, кто останавливался у витрины Дациаро... Долгим эхом отозвался подмосковный взрыв. Не сразу, но определилось новое настроение... Вот говорят: Рим пал под напором варваров. Мысль грубая. В крушении Рима «повинно» и множество причин внутренних... Но я сейчас не о нашем мужицком разорении. Не о стачках. Не о том, что студенты бурлили, а общество раздражали неуклюжие действия администрации. Я не об этом... Я о том, что есть некая психологическая тайна — тайна отношения толпы и владыки.

После Каракозова, после Соловьева — ужас, смятение, негодование. А потом исподволь возникает иное — любопытство, ожидание: кто кого? «Они» царя или царь «их»?! И чем пуще накалялось, тем пуще взвинчивалось: «Неужто опять промахнулись?» Или: «Ну что, скоро?» То есть что именно? «Да то, что носится в воздухе! Чего уж там, ждать надоело...»

А когда в марте восемьдесят первого свершилось, когда носовые платки смочили царской кровью, когда лоскутки да пуговицы царской шинели подобрали у Екатерининского канала, тогда — съежились. И тут опять не какая-то там необразованность иль косность, а тут тоже тайна отношений толпы и владыки...

В ноябре семьдесят девятого промахнулись. Ангел сохранил. Та самая воля случая, какая и в малом, и в большом.

Я вам называл наш московский источник: господин Мейн, чиновник канцелярии генерал-губернатора. Он слал нам в «Голос» подробнейшие отчеты. И такие, что хоть сейчас под перо Евгения Сю.

И дом описал в подробностях, мещанский, о два этажа дом на окраине Москвы, в лефортовской части, где столько раскольников. И минную галерею описал, приложил даже чертежик, словно к докладу инженерному начальству. И как в темноте грянуло под полотном Московско-Курской, по которой государь возвращался из Ливадии, так грянуло, что вся Рогожская дрогнула, в дворовых сараях сонные куры забились.

А царь, живой-невредимый, ехал тем временем в Кремль. Его поезд прошел первым, а следом — свитский, с прислугой, и этот свитский взорвали. Ошибка. Случай. Ведь долго следовали в ином порядке: сперва свитский, потом царский. Где-то неподалеку от Москвы, а причину никто не знал, поменяли.

И вот государь невредим. В Кремле сообщают ему о происшествии, у него темнеет в глазах... Словом, как говаривал старый нувеллист, жизнь предвосхищает все вымыслы романистов...

Михайлова я не видел с весны. Он уехал на Украину невдолге перед тем, как его друг Соловьев

взошел на эшафот. А из Киева — заметьте! — «бежал», по слову Анны Илларионны, в день казни другого своего товарища, Осинского.

Могу понять, что стабунивает духовно неразвитых, духовно незрелых на площадях, где палач, как мясник, разделывается с жертвой. Не могу понять Тургенева, который в Париже наблюдал гильотинную казнь... Не приемлю поверки самообладания видом публичного убийства. Но полон благоговения перед теми, кто идет на плац, чтобы послать — скорбным ли взглядом, горькой ли улыбкой — последнее «прости» осужденному.

Михайлов не ходил. Михайлов исчезал дважды, раз за разом. Я уверен, он не гнал от себя мысль о казнимых. Но я не уверен, не гнал ли его от реальных эшафотов телесный, бренный страх?

Помню, однажды он сказал: «Кто победил страх смерти, тот почти всемогущ!..» Дело не в этом «почти», а в том, победил ли он? Вот вопрос! И может, тайное сознание того, что не победил, и гнало его из Петербурга, из Киева, от помостов, где Соловьев и Осинский?

А те, что встали на эшафотах, хоть Желябов, они-то победили? Да, внешне. Ну, а в глубине, там, в огненной точке, где-то в мозгу или где-то в сердце?

Есть, правда, и такое... Есть, понимаете ли, не только инстинкт самосохранения, но и инстинкт самоуничтожения. Упоение погибелью, русское упоение. Тут — бездна. Кто не погиб, не знает, а кто погиб, не расскажет...

Да, с весны не видел. Киев, Чернигов — это вам Анна Илларионна сообщила. Потом были «липецкие воды» и Воронеж — съезды землевольцев. На судебных процессах достаточно говорено, как из «Земли

и воли» два течения возникло. Нелегальная пресса тоже немало писала о спорах, раздорах, несогласиях.

Я как-то, это уж позже, спросил Александра Дмитрича: как он отнесся к расколу в своей подпольной среде? И он ответил мне по Аввакуму: «Грызитеся прилежно! Я о том не зазираю. Токмо праведно и чистою совестию разыскивайте истину».

Но Анна Илларионна усмехнулась: «А разрыв с Жоржем?» Он сразу потух. И признался: «Да, нелегко терять такого друга. Нелегко». Это он — о Плеханове.

У меня на Бассейной Александр Дмитрич объявился в декабре, то есть вскоре после московского покушения. Снег порошил, но ветер сметал, и все на дворе было темным, жестким. Об эту пору страшноват наш Петрополь.

Пришел, мы вдруг обнялись, чего прежде не случалось. Должно быть, после столь долгой разлуки и обнялись. Я принес архивные портфели, на ходу пыль сдувал, изрядно запылились.

Он сел вон за тем столиком, у окна, и занялся делом. В такие минуты мы помалкивали. Он что-то посмотрел, что-то положил, что-то писал, наморщивая лоб, задумываясь.

Я тоже был занят: обязательный Александр Дмитрич не забыл очередной номер нелегальной газеты. Конечно, не могу сейчас определить содержание, но памятью библиофила помню типографское изящество.

Отменно печатали, мошенники! И это в подполье, когда нерв напряжен, каждый звук ловит — не идут ли?!? Долго не шли, с ног сбились. Но пришли, взяли на Саперном, от меня недалеко. И все ахнули: в самом что ни на есть центре столицы...

И еще помню библиофильской этой памятью: прекрасная бумага, очень тонкая, но притом и очень

плотная, вот так, на ощупь, подушечками пальцев помню.

Я дивился и чистоте печати, и качеству бумаги. Про бумагу мне Александр Дмитрич объяснил: этак не весь тираж, а несколько экземпляров, для избранных. Спрашиваю: «Кто сии?» Отвечает: «Государь, министры...» Оказывается, посылали почтой: дескать, покорнейше просим ознакомиться. Вот, стало быть, и мне на такой бумаге. «Ну,— говорю,— весьма польщен...»

Так вот. Он занялся архивом; я — газетой, искоса поглядывая на него. Мне показалось, что Александр Дмитрич перенес болезнь: лицо осунулось, виски запали.

Он покончил с архивом, замочки на портфелях щелкнули. Как обычно, наступила мешкотная минута. Вопросов я не выставлял. Даже банальнейших: о здоровье, о погоде — всегдашняя боязнь тронуть конспиративное. А черт ведает, где оно кроется, в чем. Может, и в погоде... А он, Александр-то Дмитрич, тоже испытывал неловкость по причине моей неловкости. Ведь не будешь понукать: спрашивай, расспрашивай, я тебе, Рафаилыч, верю.

Обычно осведомлялся: каково мнение о газете? Я отвечал, беседа слаживалась. Но в тот день я задал встречный: про витрину на Невском, у Дациаро.

«Как же, видел, полюбовался,— отвечал он. И прибавил: — А ручки-то у ангела белые-белые, отмороженные. Того и гляди выронит».

Я покачал головой: «Удивительно!» Он спросил: «Что вас удивляет?» — «А замысел,— говорю,— замысел удивляет: больно дерзко».— «С технической стороны,— спрашивает,— или как?» — «Да хотя б и с технической,— отвечаю.— Экие,— говорю,— тотлебены сыскались».

Он посмотрел на меня, я — на него. И тут меня лукавый попутал. Э, думаю, ладно, сейчас это я тебе... Вытащил пачку бумаг Мейна, из Москвы. Полистал и подаю отчет, где чертежник изображен.

Михайлов взглянул, прищурился и опять взглянул. «Ну что,— говорит,— точнехонько изображено, верно».

Меня как пронзило: вот отчего вид нездоровый, вот отчего лицо землистое, виски запавшие, вот оно, вот! Да-а-а, поработай в подкопе, под землей поработай, будешь землистым... И тотчас в голове стукнуло: «Каково, однако, он доверяет мне!» И, признаться, не обрадовался, а эдаким меня подленьким страхом просквозило: «Зачем тайны, да еще такие тайны, зачем мне знать их?!»

Александр Дмитрич догадался и вроде бы мне на подмогу — разговор переводит на общее: что, мол, у вас, середь пишущих, о московском происшествии толкуют? А я ему не без раздражения отвечаю в том смысле, что и «свой резон найду — сковородником хвачу».

«О-о-о, — говорит, — позвольте полюбопытствовать?» — «Извольте, — отвечаю, — любопытствуйте». И называю имя: «Березовский». Поляка Березовского называю, который в Париже на государя нашего покушался. Первым был Каракозов, тут, дома, у Летнего сада, а вторым этот Березовский, в Париже.

«Так вот,— говорю,— я об этом самом покушении в свое время Герцену писал, Александру Иванычу Герцену. И ежели желаете знать, то основным тезисом выставил: безумец поляк воображал, что замена одного властителя другим есть изменение традиционного порядка вещей на свете».

Представьте, Михайлов и ухом не повел. «Да,— говорит,— от перемены мест слагаемых...— И спрашивает: — А Герцен что́?»

Тут он, негодник, меня в угол загнал. Сейчас объясню. Во-первых, тезис-то тезисом, а писал я и о другом.

Писал, что против Березовского, как и против Каракозова, громче всех и злее вопиют потомки душителей Павла. Семеро одного удавили, имея девяносто семь шансов. А тут — самопожертвование. Есть разница?

Во-вторых, писал: монархи ради династических интересов лишают живота сотни тысяч ни в чем не повинных подданных. И никто, даже беспристрастная история, не считает их преступниками, извергами рода человеческого. А тут одинокий фанатик поднял руку — тотчас: «Неслыханный злодей!»

Вот это я и писал Герцену. Еще в шестьдесят седьмом году писал. Но этого-то я и не сказал Михайлову.

А он — опять: «Ну, а Герцен?» Дескать, что вам Герцен-то отвечал? А он мне, признаюсь, ничего не отвечал...

Между нами... Это уж только в глубокой старости, как я теперь, такие признанья возможны. Герцен до меня не снисходил, не очень-то я его интересовал. Но в молодости, вернее, в зрелости я с этим никак не желал смириться. И суетился, нес дичь, злословил насчет петербургских знакомых, хотел блеснуть... Смешно вспоминать, неприятно. Что? Да нет, не в Лондоне. Это десять лет спустя после Англии — в Женеве. Он был очень невесел. Его точила тоска по России, он был отравлен ядом эмиграции.

Ну да, Герцен мне не отвечал. Однако я знал его мнение: ни малейшей пользы от цареубийства... Про-

стите, господа, сейчас сообразил: это, собственно, мнение бакунинское, но Александр Иваныч солидарен был, это верно. Так вот, ни малейшей пользы. Но коли нашелся человек, доведенный до крайности, и задумал разрубить гордиев узел, то нельзя не уважать такого человека.

Но даже об этом-то, то есть что такого человека уважать можно, я, представьте, тоже не сказал Михайлову.

Нехорошо, нечестно, признаю, но как было, так было.

5

Шурин мой, который у Певческого моста... Я вам рассказывал, как к нему ездил на пасху, когда Соловьев-то... Каюсь, жениных родственников разве что терплю, а Петра этого Иваныча Жижиленкова, прямо сказать, и вовсе не терплю. Крапивное семя, как и покойный тесть мой.

Я звал Жижиленкова Жи-Жи: претензия у него была светская — рассуждать об иностранной политике и дворцовых сферах, словно он только что от барона Жомини или графа Адлерберга.

Впрочем, и Жи-Жи меня не жаловал. Как! У Зотова квартира в шесть комнат, за одну квартиру восемьсот рубликов в год. Видать, гребет деньгу совковой лопатой. А книг-то, книг! Императорская публичная! И для чего? А затем, чтоб думали: «Академик!»

Наезжая, он всякий раз указывал на мои полки: «Все врут календари», — и осклабливался. Вот бы, думаю, тебя, болвана, в наши домашние спектакли. То-то б роли нашлись хор-рошие. Дома у нас, когда я еще молодым был, чаще всего давали «Горе от ума»; я Чацкого играл, а сестра — Софью.

Спасибо, Жи-Жи нечасто наказывал меня визитами. После рождества больше месяца не слыхал про календари, которые врут. А в первых числах февраля, слава те господи, услышал.

Жи-Жи почему-то один глаз прижмуривал, а другой выпучивал — и ну в рассуждения. Тогда как раз Скобелев снаряжался против ахалтекинцев, в закаспийскую, азиатскую сторону, и Жи-Жи очень волновался: какова будет британская реакция?

Перемыв косточки англичанам, Жи-Жи, по обыкновению, занялся дворцовыми «новостями». Тут он и вовсе почитал себя чрезвычайно осведомленным. Во-первых, он брил бороду, как чиновники придворных ведомств. Во-вторых, ежедневно обозревал Дворцовую площадь. И, в-третьих, соседом ему, в полуподвале, жил отставной гренадер — швейцар шинельной, что в Собственном его величества подъезде.

«Великие приуготовления происходят,— сообщал Жи-Жи, растягивая слога.— У Собственного подъезда будет теплый тамбур. Гер-ме-ти-ческий!»

Из дальнейшего оказывалось, что «великие приуготовления» — не только тамбур, а еще и карета с внутренним обогревом. Дело в том, что со дня на день из-за границы ожидалась императрица Мария Александровна. Она давно болела, у нее был катар легких, и вот она возвращалась совершенно безнадежная. Ее везли в особом вагоне. Здесь ее будет ждать особая карета. А войдет она в Зимний особым тамбуром — «гер-ме-ти-чес-ким».

Кто мог догадаться о совсем иных, но тоже «великих приуготовлениях»? О тех, какие производил во дворце совсем неподалеку от Собственного подъезда некий краснодеревец. Может, старик швейцар, главный осведомитель Жи-Жи, может, он и знал

краснодеревца, да где было признать в нем «сицилиста»?..

Я видел Марию Александровну не раз. Она не улыбалась, сидела, надменная и замкнутая, в своей царской ложе. Она была изможденной, как слабогрудые женщины, которым приходится часто рожать. У нее было шестеро сыновей и две дочери. (Прибавьте троих детей от Юрьевской, и вы поймете чадолюбие нашего государя.)

Так вот, накануне войны с Турцией императрица пользовалась некоторым влиянием на Александра II. После — нет. Она не жила, а доживала. Ее почти никто не видел, кроме камер-юнгфер да секретаря Морица. (Между прочим, милый был человек.)

Единственное, что оставалось по-прежнему, так это протежирование немецким родственникам. Особенную любовь она питала к племяннику. А как не порадеть родному человеку? И порадела: тот сделался князем Болгарским.

Волей-неволей вспомнишь Михайлова. Как он в канун войны корил Анну Илларионну: «Желаете участвовать в романовском пикнике?» Выходило, что русские солдатики гибли под Плевной и мерли на Шипке, дабы немчику-племяннику досталась Болгария.

Вот этот самый князь Болгарский и отец его приехали в Петербург. Назначили фамильный обед. И уже направились во главе с государем в малую столовую... Вся фамилия направилась, кроме императрицы — бо́льшую часть времени она проводила в постели.

Вы знаете, господа, посуда была перебита. Случилось то, чего не случается там, где бдит тайная полиция. Где она бдит, там ежели завтрак, значит, завт-

ракают, обед, значит, обедают. И все аккуратно, без помех. А тут...

Я не хромой бес из романа Лесажа: в чужие дома соглядатаем не проникаю. Но вот рассказ очевидца. Имя вам знакомое: Ардашев. Платон Илларионыч Ардашев, в прошлом артиллерист, а тогда адъютант коменданта главной квартиры его величества.

Не знаю, какие поручения он исполнил. А исполнив, заглянул в дежурную комнату дворцового караула — поболтать с Вольским.

Капитан фон Вольский, лейб-гвардии Финляндского, в тот день начальствовал караулом. Большими приятелями они с Платоном не были, но знавали друг друга на войне. Тут еще Вольский приступил к военным запискам, а Платон ему выдал головой некоего литератора Зотова: дескать, не ленись, брат, пиши, а «мы пособим».

Так вот, заглянул Платон к этому Вольскому. В громадной дежурной комнате было несколько широченных диванов. В мраморном камине пылал огонь. Каминные часы указывали год, месяц, число, часы, минуты, секунды. (Стало быть, указывали: тысяча восемьсот восьмидесятый год, февраль месяц, пятое число, около шести пополудни.) Рядом с часами был звонок. Электрический звонок, соединенный с рабочим кабинетом государя. По сигналу офицер с частью караула обязан был лететь на всех парусах к императору. Звонок, впрочем, всегда молчал. Один только раз, по словам Платона, прозвенел, и, когда дежурный с солдатами вломился в кабинет, государь отшатнулся: «Что это значит?» После объяснилось: царский сеттер ткнул носом в кнопку звонка.

Однако дворцовое дежурство требовало постоянного напряжения. Государь еще в колыбели изощрился в уставах, следил придирчиво. Но в тот ве-

чер офицеры могли немножечко расстегнуться: назначен был фамильный обед.

Все шло своим чередом. Фельдфебель осматривал людей, готовящихся к разводу. Тихонько возник старенький-престаренький казначей, и Вольский вышел с ним — рядом с дежурной комнатой, за решеткой, где особый пост, помещались железные ящики дворцовой казны для текущих нужд; ящики отворял казначей, но в присутствии начальника караула.

Вольский вернулся, весело указал пальцем на потолок: «Там скоро сядут за стол. Пора и нам, господа, отобедать!» Подали обед. «Роскошнейший,— заверял меня Ардашев, тонкий гастроном.— Караул на дворцовом довольствии, на каждого офицера — по восемь рублей!»

Кроме Вольского с Платоном и еще двух капитанов явился пятый — казачий офицер, командир ночных конных разъездов вокруг Зимнего. Перекрестились на лампаду. Сели.

И в ту же секунду — грохнуло. Блеск — тьма кромешная. Бесконечные мгновения черного, как сажа, безмолвия. И наконец протяжный долгий грохот, со звоном стекол, скрежетом балок, падением кирпича, градом штукатурки.

Платона швырнуло, ударило головой. Он потерял сознание. Но, очевидно, ненадолго, потому что различил светящуюся точку. Ему почудилось, что она пулей летит ему в лоб, и он зажмурился. А вокруг — крики, стоны, проклятия. «К ружью!» — кричал Вольский. И колокол, колокол взахлеб. Не звоночек каминный, а колокол для вызова всех отдыхающих караульных.

Платон это слышал, но видел только светящуюся точку и не понимал, откуда она, что это такое. Ему даже казалось, что это и не точка, а будто б ружей-

15*

пое дуло, из которого беззвучно стреляют. Как ночью с неприятельской позиции.

(Он убеждал меня, грозясь призвать в свидетели Вольского, что светящаяся точка была не что иное, как лампадка. Она, понимаете ли, как горела, так и горела. Негасимая лампада! Чудо? Все динамитом разнесло, а лампада горит. Конечно, чудо, если только Платоше не примерещилось: ведь у него голову разламывало от боли.)

Он поднялся. В дежурную комнату пробирались солдаты. Они были контужены, в пыли. Кто-то принес факел. И тогда разглядели, что все вокруг в каком-то геологическом разрушении.

В караульне среди кирпича, известки, тяжелых глыб рухнувших сводов корчились, стонали солдаты лейб-гвардии Финляндского полка. Десятеро было убито, около полусотни ранено.

Замелькали еще факелы, еще. Платон увидел широкую, с лентой грудь наследника, парадные мундиры увидел. Платон крикнул: «Что государь?» Ему ответили: «Тише! Жив! Слава богу, жив». У наследника прерывался голос: «В жизнь мою не забуду этого ужаса...»

С Кирочной, из казарм прибыли два батальона преображенцев. Финляндцы не хотели оставлять постов без разводящего, а тот умирал под обломками. Вместо него отправился Вольский, опираясь на шашку и плечо фельдфебеля.

Взрыв в Зимнем далеко слышался. Жи-Жи был дома. На улице, по его словам, грохнуло один раз, без раската, точно в гигантское дерево вонзилась молния и оно хрястнуло. Жи-Жи побежал на площадь. Народ валил, как из трубы. Фонари метались. Полицейские кричали: «Стой! Не смей подходить!»
 Жандармы, казаки, пожарные.

Опять, как видите, воля случая! На какие-то несколько минут и без особой причины государь задержался — взрыв застиг его с семейством и гостями не в малой столовой, а у дверей в малую столовую. И второе. Теперь-то мы с вами знаем, кто был виновником «скандала»: Халтурин, краснодеревец, поджег динамит... Он, этот Халтурин, квартировал как раз под главной караульней... Поджечь-то поджег, а дверь за собою не только не запер, а даже и не притворил. Оттого часть взрывной волны ринулась в коридор. А пойди она да всей своей массой кверху? Половину дворца разнесло бы!

Долгий был риск у Халтурина: надо было накопить и надо было сохранить такую массу динамита. А вот на последнюю каплю натуры у него и не хватило, с этой-то дверью, чтобы ее поплотнее, и не хватило...

На другой день вышла прокламация: Исполнительный комитет «Народной воли» объявлял взрыв в Зимнем дворце своим делом. Впечатление получилось тоже взрывное. Оно понятно: тут вам не глухое предместье, не московская застава с курями и голубями, даже не столичная площадь — дворец, средоточие империи! Пусть опять промахнулись, пусть опять «ангел», как в витрине Дациаро, но, судари мои, если уж во дворец проникли, если уж во дворце угнездились, выходит, спасенья «ему» нету. И опять ни единой души не изловили. Халтурина когда поймали? Два года с лишним минуло, вот когда!

Но было одно обстоятельство... Такое, знаете ли, обстоятельство... С одной стороны, прокламация Исполнительного комитета, а с другой — пожертвования. Да-да, сбор начался. Нет, не на храм иль часовню, а в пользу пострадавших солдат лейб-гвардии Финляндского. И это без министров-маковых, без

градоначальника началось, не то что адрес после Мезенцева.

Вдруг приходит ко мне Анна Илларионна. Говорю «вдруг», потому что не домой, как всегда, а в редакцию, как никогда. И время дневное. Кажется, недавно пушка стукнула. Значит, за полдень. Я только было расположился у своей конторки. Смотрю: не то чтобы бледная, или дрожит, или слезы на глазах, нет, а, как говорится, каменная. Стоит, рук из муфты не вынимает, молчит.

Мне первое в голову: Михайлова взяли, Александра Дмитрича! Бросил гранки, а дальше не придумаю. Потом — под руку ее и... куда, не знаю. Так, машинально, беру под руку и иду с нею вниз. Она подчинилась, как дитя. Внизу швейцар подал, я шею шарфом. Выходим на улицу. А на дворе ветер, мороз градусов двадцать.

Я хотел было в Эртелев вести, она отрицательно покачала головой и просит: «Поедемте, Владимир Рафаилыч».— «Куда?» — «На Васильевский».— «Это еще зачем, голубушка?» Чувствую, зябну, а тут — ближний свет: «На Васильевский». Но что-то такое было с ней, что я не решился отказать.

Благо быстрый ванька попался. Едем. Неву стали переезжать, ну, думаю, батюшки светы, унесет ветром в залив. И ноги у меня коченеют, быть простуде. Ах ты, девчонка, девчонка... Во мне строгости никакой, не получается. Но тут постарался: «Куда ты меня везешь?» Она как очнулась: «Разве не слышали, Владимир Рафаилыч? Я извозчику сказала: в девятнадцатую линию».— «Что такое? Объясни, Христа ради!» — «Госпиталь».

Тут я все понял.

Сворачиваем с Большого проспекта. Фасад длин-

нющий, конца не видать. Казенное строение, какие

возводили во времена моего детства, в двадцатых годах.

В приемной пришлось ждать. Солдат-санитар пошел за начальством. Анну Илларионну будто в жар бросило, она распахнула шубку. Я в госпиталях отродясь не бывал. У меня при слове «хирургия» начинает ныть в коленях, от страха ныть. А тут в нос так и шибает что ни на есть хирургическим.

Приходит военный медик — насупленный, в вытянутых двух пальцах погасшая сигара, как позабытая. Взглянув на Анну Илларионну, заметил знак отличия Красного Креста и поклонился. И ко мне: «А вы, позвольте узнать?» Я назвался, подал визитную карточку. «Гм, писатель...»

Мы прошли к раненым гвардейцам. Я не знал, что делать: мне было стыдно. Нет, и жалость, и сострадание, но, главное, стыд, стыд и чувство вины, хоть я и ни в чем как будто не был виноват. Я не смел взглянуть им в глаза. И ничего лучшего не придумал, как раздавать деньги. Они благодарили, но равнодушно.

Анна Илларионна — лицо горело, жест быстрый, точно подменили, — о чем-то говорила с насупленным военным медиком. Потом подошла ко мне. «Владимир Рафаилыч, извините, обеспокоила вас, сама не пойму... Что-то у меня,— она провела рукой по лбу.— Извините. И спасибо вам, спасибо. Я останусь, надо помочь, я должна остаться...— Она смотрела мимо меня.— Тут есть несколько из гвардейской полуроты, Дунай форсировали. — Глаза у нее были сухие, только морщинка, тоненькая, иголочкой, морщинка над переносьем углубилась.— Тогда, на Дунае, уцелели. И вот, видите...»

И тут окликнули: «Сестрица?! Барышня?!» Удивление, радость были в том оклике. Я выпустил ее

руку или она вырвала, устремившись на зов. У меня полились слезы.

Я не понял, почему поднялась суета. Почему санитары, подгибая ноги, побежали между койками, оправляя одеяла и посовывая в стороны табуреты и тазы. И почему насупленный медик каким-то гимназическим движением выбросил свою сигару и пригладил волосы. Оглянулся на меня и, будто оправдываясь, произнес: «Государь». А моя Анна Илларионна, как склонилась над раненым, очевидно над тем, который окликнул, как склонилась, так и не переменяла положения.

Вошел государь. Я прилип к стене. У него было лицо несчастного старого человека, которого позавчера хотели убить, но не убили и которого, наверное, убьют если и не завтра, так послезавтра.

Он взглянул на меня мельком, будто я и стена неразличимы, и двинулся в глубь покоя.

6

Вообразите Исаакий, взлетающий на воздух... Д-да, тыща пудов динамита и — фью-ють! Гранит, железо, мрамор — все кверх тормашками. И пылает университет, там и сям горит. Еще немного — Петербург провалится в преисподнюю. Кое-кто давай бог ноги из города. Многие спали, как в караульне, не раздеваясь.

Говорят, подобная паника разражается во время вооруженного восстания. На моем веку оно было, на Сенатской площади было, да я тогда под стол пешком ходил. Но после взрыва в Зимнем дворце паника действительно объяла петербуржцев, это так. Я не верил, конечно, в «летящий» Исаакий, однако неизвестное гнетет.

А «известное» тоже не радовало. У нас как? У нас чуть что, первым делом прессу оглоблей огреют. Кажись, куда дальше гнуть? А нет, всегда возможно. Оно и нетрудно — позвали редакторов, топнули ногой, притопнули другой: не сметь об этом, не сметь о том. Нагнали страху, вроде бы что-то государственное предприняли.

Такие вот денечки наступили после взрыва в Зимнем дворце. Но тут из мрака, из сумятицы, в феврале этом возникает нерусский человек. Кавказский варяг возникает. Я серьезно, ни тени иронии.

Он был не из старой колоды, которую тасовали годами. Ну, кто до войны знал Михаила Тариелыча Лорис-Меликова? Казарма знала, Тифлис знал, горцы знали. Его превосходительство, и только, а генералов на Руси с избытком.

В войну имя его звучало. Ну, не так, как Скобелева или Гурко, но звучало, когда он штурмом взял Карс.

Но генералы перво-наперво друг с дружкой воюют. Ответственность, увы, тяжелее орденов. Охота ответственность избыть, а крестов и звезд прибавить. (Так, впрочем, не в одной военной сфере.) Лорис все пикировался с другим кавказцем — генералом Гейманом. Наконец Лорис такое выдумал, что и железному канцлеру нечасто снится. Берет и письмо пишет, по-французски, приятельское, будто от одного офицера к другому. И посылает курьером туземца. А тот попадает в плен к туркам. Нарочно угодил нарочный? Не знаю, а все-таки, думаю, не заплутался. И вот письмо, обеляющее и восхваляющее генерала Лорис-Меликова, а другого генерала, Геймана, очерняющее и унижающее, письмо это попадает к неприятелю. А там — свой Мак-Гахан... На театре военных действий были иностранные корреспонденты. У нас, ска-

жем, Мак-Гахан (между прочим, он и в «Голосе» сотрудничал), а у них, стало быть, свой Мак-Гахан... Ну и появляется заветное письмецо в «Таймсе». А «Таймс» — это вам не «Молва», во дворце читают. Вот, господа, каков «полет» хитрости!..

После войны в низовьях Волги открылось чумное поветрие. «Виною» была... чалма. Турецкая чалма. Один-де солдат убил на войне богатого турку, снял с него чалму. Приезжает домой, в деревню, бабе — подарок знатный. Она его шалью приспособила и ну бахвалиться. Все, кто чалму-шаль пощупал, потрогал,— все зачумились и померли... Послали на войну с эпидемией боевого генерала Лорис-Меликова. Тотчас в народе разговор: «Слышь, велят какую-то дикую специю заводить! А где ее возьмешь? Да и денег, чай, стоит, сукина дочь...» — «Специя что, а будет, брат, геенна огненная!»

Это как понимать? Проще простого: дикая специя — дезинфекция, а геенна огненная — гигиена... «Специей» ли, «геенной» ли, а чума поутихла, прекратилась. Известность Лориса, напротив, разгорелась. Про Харьков не буду. Скажу лишь, что там, на своем генерал-губернаторстве, Михаил Тариелыч действовал, можно сказать, мягким манером.

А все это к тому, чтоб вы поняли: не был он из петербургской колоды. И не из департаментской чернильницы.

Учреждается Верховная распорядительная комиссия. Граф Лорис — во главе. От разных комиссий, да еще верховных, не приучены мы добра ждать. Первая мысль: новая погудка да на старый лад. И вдруг как форточку распахнули. Как струя свежего воздуха в спертую грудь.

От имени Верховной Лорис обращается к жителям столицы. Верно, бывало и такое. Но так да не

так. Тут сразу поворот наметился, а не сотрясение воздусей. У нас всякое бывало, одного не бывало — уверенности в завтрашнем дне. Тут — появилась. Полномочия у Лориса громадные, а он не стращает, не приказывает, он — обращается.

В душе человеческой есть место и для социальной мечтательности. У таких, как Михайлов, разве не было? И очень даже разгоряченная. Отчего и другим, которые не михайловы, не помечтать?! Да и поводы чуть не каждый день.

Граф Лорис приглашает к себе редакторов газет. Почти диктатор, а говорит с журналистами. Не «конский топ», нет, беседа. Да ведь это почти то же, как если б государь зазвал нашего брата в Петергоф...

Редактор мой Бильбасов вернулся от Лориса: «Вот умница! Будем сотрудничать, в унисон с ним будем!» А Бильбасов, надо сказать, не очень-то жаловал вышних сановников, был автором характеристик покрепче царской водки.

Что Бильбасов! Михаила Евграфыча Салтыкова на мякине никто не провел. А и у него будто брови не так насуплены, и он будто помолодел. В руках Лориса, говорит, громадная власть послужит к облегчению общества.

Встречаю Григоровича... (Ваш покорный слуга имел честь быть первым «настоящим» литератором, который приветил Григоровича еще в молодых его летах.) У Григоровича галльские глаза так и блестят: «О-о, Владимир Рафаилыч, у этого Лориса в одном мизинце больше материалу для государственного человека, чем во всех здешних деятелях».

Стали поговаривать о переменах положения ссыльных, о конце произвола, о подчинении Лорису Третьего отделения... Как бы свет разлился... Вот

тут, соседом мне, жил некогда Некрасов. По кончине Николая Алексеича квартиру его занял Яблочков, изобретатель. Поселился и устроил у себя электрические свечи. Воссияли необыкновенно! Под окнами, бывало, толпа. Я выходил и тоже любовался. Знакомое, сто раз виденное преображалось. Снег летит такой легкий, такой веселый, в искрах... Вот что-то подобное заманчивое и возникло с приходом Лориса.

Какое оживление, упования какие! Вчера никли во мраке, на всех отблеск зловещих взрывов, а нынче — «погляди в окно». Опять ездят друг к другу, опять собираются.

Помню воскресные утра у Безобразова. Тоже лицейский, но много меня младше. А я его через Маслова узнал. Я рассказывал, как меня, молодца, выпроводили из военной канцелярии и как Маслов, Пушкина однокашник, пригрел в своем департаменте. Безобразов, тоже лицеист, был ему зятем. Безобразов — само трудолюбие, не знаю человека более усидчивого. Он и в «Голосе» сотрудничал постоянно: поставщик солидных статей, финансовых, экономических. Одно время и в Зимний был вхож: учил царских детей...

У Безобразовых, на Троицкой, в воскресное утро полон дом был, ученые мужи, не пустобрехи. Бывал и другой наш лицейский — Константин Степаныч Веселовский. Больше трех десятилетий нес он крест непременного секретаря Академии наук... Племянницу Константина Степаныча я видел дважды: у себя на даче... и на колеснице, в черном капоре, с доской на груди: «Цареубийца»; я ее рядом с Кибальчичем тогда видел — Софью Перовскую. Да, племянницей приходилась она Веселовскому, по материнской линии. Меня всегда удивляет причудливость ветвей, исходящих от одного корня...

На утренних собраниях у Безобразова не жужжали, как в прочих салонах. Там слушали регулярные сообщения: экономика, право, состояние финансов, промышленности — предметы сухие и серьезные. Все желающие приглашались высказаться. Тон задавал Безобразов. У него и приезжие из губерний не чинились. (Нечто похожее пытался учредить министр Валуев: не вышло. Больно любил себя послушать, баситую «музыку» собственной фразистости. Он и на бумаге любил ее — романы выпекал. И добро бы в столе прятал, нет,— выдавал в свет. И всегда это важничал, как спикер.)

У Безобразова появлялась и моя фигура с покрасневшими от недосыпанья глазами. Приходили и молодые чиновники, прикомандированные к Верховной распорядительной. Их лица носили отпечаток озабоченности, сознания выпавшего жребия. Немножечко смешно было: во всем подражали графу Лорису.

Про Михаила Тариелыча толковали, разумеется, много. И главное, с горячим сочувствием. «Хитрый» произносилось тем тоном, каким произносят: «Пьян, да умен — два угодья в нем». Ядовитое и завистливое валуевское: «ближний болярин», «Мишель Первый» — с негодованием отвергалось. Правда, побаивались, что он знает не Россию, а только русского солдата, но тотчас успокаивались: «С таким гибким умом...»

Вообразите отзыв на выстрел Млодецкого! Лорис едва начал, едва приступил, а тут этот юнец, этот мономан! У подъезда и часовые, и городовые, и казаки верхами. А юнец очертя голову... Выстрел... Пуля вырвала клок шинели, разорвала мундир... Кавказский солдат — так граф часто себя называл — хватает террориста за руку: «Для меня еще пуля не отлита!»

Передавали, что граф противился виселице. Положим, и не совсем так, а может, и совсем не так. Млодецкого казнили сутки спустя... Я не мог бы повторить за наследником: «Вот это энергично!» Но и я, как многие, очень многие, поехал на Мойку, в дом Карамзина, где жил Михаил Тариелыч. Поехал, расписался у швейцара, сказал: «Дай бог успехов...»

Нет, подумать только! Человек ничего худого не сделал,— не какой-нибудь там Муравьев-вешатель, а ему пулю в спину! Храбрость Млодецкого? Э-э, есть и такая, что хуже простоты, которая, в свою очередь, хуже воровства. Храбрость храбростью, да надо и о России подумать, вот что я вам скажу.

А перед глазами еще стояли у меня и госпитальная палата на Васильевском, и людные похороны солдат-финляндцев. Тех, что были раздавлены каменными глыбами в Зимнем. Понятно мое расположение духа, когда пришел Александр Дмитрич?

Пока он разбирал бумаги, все во мне кипело. Раздражал и шелест бумаг, и наклон головы, аккуратно подстриженной и аккуратно причесанной, и то, что на нем свежие манжеты, и то, что указательный палец легко, без нажима лежал на ручке с пером, и то, что, закидывая ногу на ногу, он поддергивал брюки и мне был виден каблук, сбитый на сторону. В особенности почему-то бесил этот сбитый каблук.

Едва Михайлов отщелкнул замочки портфелей, как я поднялся из-за стола: «Бессмыслица! Чудовищная нелепость!» Он взглянул на меня своими светлыми, внимательными глазами. «Вы еще спрашиваете! — воскликнул я, хотя Михайлов и слова не молвил.— Вы еще спрашиваете!»

«Владимир Рафаилыч,— произнес он мягко,— прошу вас, не горячитесь».— «Какое, сударь, «не го-

рячитесь»! Впору зубами скрежетать. Являются геростраты из местечка, и пожалуйста... Где чувство ответственности?!»

Он смотрел на меня; глаза его темнели и сужились.

«Хочу предварить вас: партия не повинна в акте Млодецкого. Партия не имела отношения...» Он говорил несколько запинаясь.

«Ах, вот как! «Не имела»! Позвольте, Александр Дмитрич, я не об этом,— и указал на портфель: дескать, вполне допускаю, что бумагу, направляющую террориста к Лорису, не составили.— Но здесь, но в сердце, здесь-то как?»

Он сделал боковой выпад: «Расправой с Млодецким ваш «обновитель» России показал свои зубы. Его нравственность...»

Я оборвал: «Стойте! Чем кумушек считать...»

У него вздулись желваки, так он сжал зубы. И процедил: «Хорошо, давайте оборотимся. Случай с Млодецким, Лориса — в сторону. Давайте попробуем».

«Давно,— говорю,— пора». Перевел дух и сел, всем своим видом показывая готовность выслушать терпеливо.

«Скажите, Владимир Рафаилыч, вы признаете Миля, Джона Стюарта Миля благородным мыслителем признаете ли?»

«Э-э... Миля? Допустим. Но прошу без сократических приемов. Излагайте, я слушаю».

«Да это и не прием вовсе. Я не ритор, говорю, как умею... Начну Милем. Он утверждал: гражданин, убивший человека, который поставил себя выше закона, выше права,— такой гражданин совершил акт величайшей добродетели... Может, и не слово в слово, но смысл точен».

«Не-е-ет, батенька Александр Дмитрич, как раз слово-то в слово, а смысл, простите, несколько иной. Интонация, помню, вопросительная. И Миль прибавил — сие есть серьезнейший вопрос морали. Слышите: серьезнейший и морали! Вы, надеюсь, переросли шальных мальчиков, которые кричали: «Все средства хороши, все дозволено во имя святой цели?»»

«Не все средства, Владимир Рафаилыч, далеко не все. Вернее, так: все, кроме тех, что порочат самое идею».

«А убийство вашу идею не порочит?»

«Убийство убийцы? Я сейчас говорю, Владимир Рафаилыч, о главном виновнике. Тысячи и тысячи убитых там, за Дунаем, на его совести. Десятки виселиц в Польше и здесь, в России, на его совести. Сотни замурованных в каземате и замученных в каторге на его совести. И миллионы мужиков с воробьиным наделом на его совести... Послушайте, мы были б счастливейшие из смертных, когда б могли оставить его в покое. Мы бы, ликуя, сложили оружие, если б он отказался от власти. Но только не в пользу Аничкова дворца, это дудки. Это и было б, как вы давеча сказали, замена одного другим. Ну нет, ты откажись от барм Мономаха в пользу Учредительного собрания! Свободно избранного, всеми, без изъятия... Неужели, Владимир Рафаилыч, вы так далеки, не знаете и не поняли: да нас насильно толкают к насилию! Ведь это как божий день. Бросят на раскаленную сковороду и вопят: «Не смей прыгать!» Пихают в глотку кляп и возмущаются: «Чего корчишься?!» Еще Аввакум недоумевал: «Чудо как в сознание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить!»

Я видел, что он сильно взволнован. Некоторые его доводы были мне близки. Те, которые я сам выставил

в письме к Герцену. Но «серьезнейший вопрос морали» остался без ответа. Во всяком случае, я не расслышал.

«Послушайте, друг мой,— сказал я ему, и сказал-то, конечно, без следа недавнего раздражения и негодования.— Послушайте, Александр Дмитрич. Вы говорите: толкают к насилию. Но ведь и его тоже. О нет, я не о дворцовых течениях, я сейчас вот о чем... Вы мне из Миля: о человеке, который встал выше закона, выше права. Но тот, о ком у нас речь, он не встал, а самим рождением поставлен. Понимаете разницу? Он с пеленок в совершенно исключительном положении. Эти воспитатели и наставники... Да вот возьмите хотя б Жуковского. Лира чистейшая, добр и чувствителен, а знаете ли вы, что Жуковский был сторонником смертной казни? Да-да, поверьте, так... А эта атмосфера лизоблюдства? А эти рептилии в звездах и лентах, которые только и знают, что подсударивать. Кто не почувствует себя «над»? Власть над жизнью и смертью — власть страшная. И не тем одним, что властвующий волен казнить. Тут есть, может, и пострашнее. А то, что все условия его бытия внушают ему, что он, творя частное зло, творит общее добро? Он истинно верит! Понимаете — истинно. Вот где ужас. А? Вы не приметили одно место в «Войне и мире»? А вот, когда Растопчин натравил толпу на несчастного купца и купца растерзали... Чем Растопчин утешил свою совесть? Я, мол, поступил так ради общего блага! А ему, о котором у нас речь, ему и не надо утешений: он убежден — и, поверьте, не только он! — в том, что он-то и есть общее благо... А теперь прошу: виновен иль не виновен?»

Александр Дмитрич сразу ответил: «Виновен».

Я развел руками. У меня оставалось последнее:

«И те солдаты виновны?» Он не переспрашивал. Да и как ему было не понять?

У него опустились плечи. Он сплел руки в замок, сунул между колен, сжал колени. Должно быть, сильно сжал, косточки пальцев побелели.

«Это... это — трагедия, Владимир Рафаилыч. И вдвойне жуткая, потому что...— Он дышал сухо и трудно.— Потому вдвойне, что ее нельзя было не предвидеть. Но и нельзя избежать. Среди версальцев были тоже несчастные и подневольные. А коммунары в них стреляли».

Он незряче смотрел в окно. На лице медленно проступали тяжелые, крупные капли пота. Точь-в-точь, как тогда, на Дворцовой, в день Соловьева.

«Террориста,— сказал он, опирая лоб на руку,— террориста, Владимир Рафаилыч, преследует видение жертвы. Это нелегко, поверьте. Тут надо самого себя прежде умертвить... Как бы сказать? В том смысле, чтоб не было ничего слишком человеческого... Нет, не так... А лучше — вот: надо насквозь огнем прокалиться. И величайшая нежность к братьям.— Он широко повел руками, словно весь свет обнимая.— Вот этой нежностью насквозь и прокалиться, до последней кровинки».

Я вздохнул: как хотите, Александр Дмитрич, писано: «Не может древо зла плод добра творити».

Он встал, отер лицо платком, обеими руками отер, как полотенцем. И опять — из Аввакума: «Бог новое творит и старое поновляет».

С тем и ушел.

7

Когда в Лондон ездил, к Герцену, то всего-навсего Ла-Манш переехал, а едва с душой не простился: не выношу качки. Но была морская поездка, которую

я не мог избегать. Вы поймете, если вам случится провожать сыновей в дальнее плавание. От чего, впрочем, избави вас небо.

Морские писатели не обошли паруса и ураганы, фрегаты и корабельщиков. Одного нет: родителей моряков, родительских чувств. В тепле, под кровлей настигают приступы тоски, сиротливо, холодно. Пусть сын вон какой, на голову выше, в усах; обнимая, тычешь носом в подбородок, в плечо, а все-таки бормочешь: «Ноги-то сухие? Смотри не простудись!»

Рафаил мой плавал много, долго. Давно пора бы мне привыкнуть. Нет, не привык. И всякий раз ездил в Кронштадт на проводы. Поехал и в мае восьмидесятого. День был с тучами и солнцем, холодный... Я еще помню, как в Кронштадт ездили на пироскафе: длиннющая одинокая труба и пара огромных колес. Берд строил, англичанин. На бердовском самоваре я не катался, а только смотрел на него. Потом появились винтовые, езда убыстрилась.

Да и велико ль расстояние до Кронштадта? Раньше говаривали: Маркизова лужа. Был такой министр — маркиз де Траверсе, адмирал... Ну, кому лужа, Рафаилу, например, лужа, а мне — море.

Взял место и отбыл с Английской набережной. Публики набралось немало. Так всегда перед началом кампании, когда там, на кронштадтском рейде, разводят пары. Родные ехали, знакомые: дамы, барышни, мужчины.

Я откинулся головой к стене и стал ждать. Хуже не выдумаешь, как эдак прислушиваться — не мутит ли? не подступает ли? И знаешь, что дождешься, коли ждешь, а иначе не можешь. Однако обошлось. Должно быть, потому обошлось, что я последний раз в церкви был недавно, на Николая Мерликийского; свечку ему поставил, покровителю плавающих.

Публика задвигалась, оживилась, повеселела. Стало быть, подъезжаем. Набрался храбрости, полез наверх, на палубу... Какая масса неспокойной воды! Плотная, огромная, враждебная — так я ее физически ощущаю всегда. И зачем столько? И эти жадные волны, вечно готовые глодать человечину.

А корабельные дымы красивы. Городские дымы — нет. Гляньте с Невы на Выборгскую — текут какие-то грязные слюни. А тут другое. В корабельных дымах — мощь, неторопливая уверенность.

Но вот и эти железные гробы повапленные: мокнут, не размокая, темные, угрюмые. Понимаю: военная эскадра, морские ассигнования, флот в готовности и все такое прочее. Понимаю, а не люблю. Ничего красивого...

Встречающие, морские офицеры и чиновники, машут фуражками. Где-то в публике и мой Рафаил... Он уже капитан-лейтенант, а это, доложу вам, неровня сухопутному капитану... Причалили. Матросы в белых рубахах встали по сторонам трапа, помогают, подают руку. Все торопятся.

Вдруг замечаю на сходнях... Батюшки, да это Аннушка! Что за притча? Третьего дня была, а ни словом, что в Кронштадт намерена... Я рассиялся, едва не окликнул, но Анна Илларионна остановила меня строгим взглядом. Как отодвинула. Гм, так, так... И будто б не одна. Кто сей, который рядом, удалой, добрый молодец? В пиджачном костюме, уже по-летнему, без пальто. И трость в руке. Все как полагается. Но больно широк в кости, в плечах: не петербургской выделки. Не до тебя, не до тебя Анне Илларионне. Ступай себе с богом...

Рафаил жил на Княжеской, через двор от старинного дома Миниха, где тогда были офицерские минные классы. Рафаил уже готовился съехать с кварти-

ры: он уходил на «Аскольде» в заграничные воды. Да и вообще чуть не все офицеры оставляли Кронштадт на время практических плаваний.

Жил-то на Княжеской, да не по-княжески. Хоть и холостой... его будущей жене еще косички заплетали... Хоть и холостой, а все денег в обрез. Моим субсидиям — всегда решительное «нет». Напротив, огорчался, что в дом не несет.

Рафаил одним в меня пошел — книжник. Впрочем, не легкое чтение, а «тяжелое». Он обдумывал очерк — «Стратегические уроки морской истории». Годы спустя напечатал. Это потом, в береговое, спокойное время, когда служил помощником редактора и редактором «Морского сборника». Стало, моя взяла: хоть и мундирный, а журналист.

Я привез Рафе материнское напутствие. Он скользнул по письму: «А-а, опять инструкция генерал-штаб-доктора? Опять квазимедицинские наставления?» — «Ра-афа»,— протянул я с укором, и мы оба понимающе рассмеялись.

В тот день давали традиционный клубный обед, прощальный. Шампанское, суп бофор с пирожками, и жаркое, и рябчики, и соусы, и мороженое, и кофе. Совсем как в Благородном собрании. Эх, думаю, бедняги, бедняги, и без того кошельки тощие. А бедняги — веселы, беспечны: «Кливер поднят — за все уплачено!»

Оглядываю публику. Офицеры перемешались с приезжими петербуржцами. Много молодых лиц. И очень усердно работают столовыми приборами. Не каждый день такое угощение, понимать надо.

Оглядываю публику и замечаю: кто-то мне кланяется с другого конца стола. Ба, Суханов! Николай Евгеньич Суханов, минный офицер, лейтенант... Помните? Ну, ну, тот самый, что приходил однажды с

Рафой ко мне, на Бассейную. Он еще эдак весьма сурово распорядился нашей братией — «сонмом писателей»... Я ему тоже поклонился, рукой помахал.

Эге, смекаю, вон оно что — Анна-то Илларионна... Я говорил: были у меня некоторые надежды насчет Николая Евгеньича и Аннушки. Были. Относительно Рафаила и Аннушки ничего не возникало: они, по мне, как брат и сестра... Н-да-с, думаю, и Анна Илларионна изволили в Кронштадт прибыть. Однако... Однако что это она от меня-то «отреклась», когда на пристани? И почему это нет ее здесь, в офицерском собрании? Да, наконец, не кажется ль тебе, Владимир Рафаилыч, что рядом с Сухановым поместилась миловидная... хоть и грустная, бледненькая... но весьма, весьма миловидная шатеночка. Это тебе не кажется ли, а?

Но тут меня отвлек крепкий баритон с хрипотцой. Напротив сидел штаб-офицер. Он был уже довольно-таки красен. Широкое лицо лоснилось, черные глазки светились угольями; зубы ровные, белые. Он что-то такое рассказал, все хохотали. А штаб-офицер хлопнул очередную рюмку водки и преспокойно запил несколькими солидными глотками шампанского. Потом осторожно, кончиками пальцев тронул черные усы, словно пробовал — колются иль не колются? И начал:

«А вот, господа, и другой случай. Я еще в лейтенантах хаживал. А вы, надо полагать, кадетами таскали эти дурацкие круглые лакированные шляпы. Вот новшество-то было! Хорошо, недолго... Так вот, господа. Библиотеку нашу, здешнюю, вы знаете. Не красна изба углами, а красна пирогами. Ан нет, неймется. Один болван изрядного чина надумал: давайте-ка уснастим читальную залу бронзовыми бюстами. И чьими? Как полагаете? Бюстами в с е х... От Рюри-

ка до наших дней. Ну, всех, понимаете? Открылась подписка, кто сколь может. Суют и мне подписной лист. А меня черт догадал — взял да и начертал: «Библиотека нуждается в хороших книгах; в бронзовых головах Россия недостатка не чувствует».

Мы так и покатились. А штаб-офицер прежним манером: рюмка — бокал — усы.

«Э, господа, стоп машина. Проходит день, проходит третий, я и думать позабыл. Адмирал Бутаков, Григорий Иваныч, кейфовать не давал: тангенсы-котангенсы... Вдруг снег на голову: явиться под шпиль!

Еду, являюсь в Адмиралтейство. Оказывается, сам требует. Тогда морским министерством управлял вице-адмирал Николай Карлыч Краббе. Адъютант доложил да и юркнул куда-то, крыса адмиралтейская. Сижу полчаса, сижу час.

Наконец дверь настежь, я во фрунт — и остолбенел: сам предо мною... нагишом. В чем мать родила. В одних туфлях. А я трезвый, ни-ни, ни маковой росинки. Чур меня, чур!..

Голый Краббе глянул, как рысь: «Вы что это?!» — и прибавил в три дека, по-боцмански. Заходил туда-сюда, по ляжкам себя хлопает, как в бане, и выкрикивает: «А вот и я либерал! А вот и я либерал! А вот и я либерал!»

Потом руки скрестил на груди, пуп большой, круглый. И понес: «У меня в Кронштадте хоть на головах стой, а либералов не потерплю!!» Я не знаю, куда глаза девать. Взял да и уставился... Извините, господа, что было делать? Он тотчас сник. Кивнул: «Ступайте».

Боже, что поднялось! Я смеялся до слез, это уж, знаете, когда челюсть выворачивает.

Должен вам сказать, Краббе на подобные штуки вполне был способен. Страшнейший самодур!

Но и добряк: своих, флотских, в обиду не давал. Каковы, однако, похабные представления о либерализме?

Вечером в собрании дали бал. Я хотел в Петербург, но Рафаил просил ночевать у него и уехать назавтра. Танцевать он не любил, мы остались дома. Пили чай и разговаривали.

В те майские дни в петербургском Военно-окружном суде был процесс. Государственных преступников судили, в их числе — доктора Ореста Веймара; это о нем так симпатично отзывается в своих тетрадях Анна Илларионна.

Отчеты наш «Голос» печатал из номера в номер. Кстати сказать, генерал Черевин, известный пьяница... Он тогда исполнял обязанности шефа жандармов. Этот Черевин приехал на вечернее заседание в изрядном подпитии. И дозволил себе выходки в духе упомянутого Краббе. И с точно таким набором соленых словечек; до них вообще охотник русский начальственный человек... И нарвался на такой отпор подсудимых, что вынужден был ретироваться. Об этом, разумеется, в «Голосе» ни строки: циркуляр министерства внутренних дел запрещал «всякие неуместные подробности», а паче — «тенденциозные выходки» обвиняемых...

«Веймар? Доктор Веймар? — переспросил Рафаил.— Лечебница на Невском, что ли? Кажется, в том доме я покупал кортик... Н-да, Веймар... Не понимаю! Неужели ему не было ясно, что его дело — именно лечебница? Что за блажь устраивать всеобщее благоденствие? Вот, папа, образец: озабочен судьбами абстрактного человечества, а конкретный человек остается без медицинской помощи... России нужны механики, врачи, агрономы. И не нужны говоруны, динамитных дел мастера. И ты заметь, кто

они? Да все наперечет недоучки. Своего малого дела не знают, а все и вся готовы переиначить!»

Я отвечал, что надо сердцем понять даже заблуждающихся, что они действительно не пестовались в серьезной школе философии и истории, но что это люди большого темперамента, чистых помыслов.

Он вспыхнул: «Скажите пожалуйста, «чистые помыслы»! Чистые помыслы глупцов не стоят выеденного яйца. Эти покушения на государя? Я уж не говорю о мерзости нападений из-за угла... Есть, папа, на кораблях, на корабельных рострах эдакие громадные фигуры: Нептун, витязь, еще что-нибудь. И вот вообрази: приходит такой с «темпераментом». Смотрит на корабль. Замечает, конечно, фигуру на носу, впереди — она золоченая, она сияет. Смотрит и — ничтоже сумняшеся: а вот я ее сейчас опрокину, спихну, и амба... Спрашивается, зачем? А затем, говорит этот, с «темпераментом», затем, чтобы корабль пошел иным курсом. Ему и невдомек, какие силы движут кораблем. Он, как под гипнозом, только и видит что золоченую фигуру... Э-э-э, нет, голубчик! Изволь-ка сперва изучить течения, ветры, действие паровой машины, девиацию компаса... Изволь постигнуть! А постигнешь, тогда, может быть... и фигуру на рострах не тронешь».

Мысль о «течениях», о «паровой машине», о движущих силах — в этом было что-то, я бы сказал, не совсем русское, европейское было, что-то от германцев, от социал-демократов. Я полюбопытствовал: а что, Рафа, ваши-то, кронштадтские, неужто изучают?

«Наши?» — Рафа призадумался, но тут в прихожей позвонили. Вестовой отворил, послышался голос: «Барин дома?» То был Суханов.

Николай Евгеньич извинился, что не подошел ко мне в клубе. А вы, спрашиваю, почем узнали, что я

не уехал? Да потому, говорит, что не было вас на пристани... Что-то мелькнуло в его глазах. Не то настороженность, не то досада. Я опять подумал об Анне Илларионне. Я уже не сомневался, что она виделась нынче с Николаем Евгеньичем. И он проводил ее к последнему пароходу. Не сомневался.

Николай Евгеньич пришел с той грустной, бледненькой, которая сидела рядом с ним на клубном обеде. Она подала руку: «Ольга Евгеньевна Зотова». Суханов улыбнулся: «Моя сестра, а ваша — однофамилица».

Зотовых на Руси, конечно, не раз-два и обчелся. А мы, из которых я, мы во дворянстве совсем недавние. Отца моего с потомством записали в родословную книгу Петербургской губернии: в третью часть записали. Сами понимаете, не столбовые. Но я — снимите шляпы! — я, так сказать, царской крови. Пусть и малость, а на бахчисарайском престоле прадед сидел. «Безмолвно раболепный двор вкруг хана грозного теснился...»

А потому и сидел недолго, что явились екатерининские орлы — пришлось бежать в Балаклаву. Там стоял наготове парусный корабль. Но дед мой, тогда мальчонка, был захвачен русскими. И вместе с матерью отправлен в Петербург. По дороге она умерла, Заремой звали, из Абхазии она... Крестницей деду была государыня Екатерина Алексеевна. Он и Павлу приглянулся, дед мой: хоть и мал ростом, да силач неимоверный; Павел определил его дворцовым гренадером.

У меня семейные записки хранятся. Но они отрывочны, незаконченны, и мне иногда думалось, что есть на свете родственники, которых я не знаю. Может, у деда брат был единокровный? Навряд Зарема
 одного родила. А может, братец сводный? Навряд

Заремой ограничился хан. И этот вот брат или эти братья тоже, глядишь, Зотовыми стали. Ну, уж как там, не знаю, а стали... Думал я об этом мельком, в последний раз незадолго до поездки в Кронштадт, когда письмо получил от Маркевича.

Я это к тому, чтоб поняли, отчего у меня с Ольгой Евгеньевной, сестрой Суханова, почему именно такой разговор завязался. Замысловато получалось: приехал в Кронштадт, пришел Суханов, лейтенант, а с ним сестра, в замужестве Зотова.

Я ей объясняю: так, мол, и так. Она улыбается... Очень она хорошо улыбается, улыбка в тихой гармонии с грустным бледненьким личиком... «Муж мой, Михаил Львович Зотов, он,— говорит,— крымский, из Судака, а сейчас в Симферополе».

Ах ты боже ты мой, крымский... «А свекор ваш,— спрашиваю,— он откуда родом?» (А у самого на уме письмо Маркевича.) «Свекор,— отвечает,— тоже крымский; теперь тяжел на подъем, в акцизных бумагах закопался, а молодым не то было; полагал, что следует жить трудами рук своих — крестьянствовал, сад держал, рыбачил».

(Одно к одному ложилось. И опять это письмо от Маркевича.)

«А вы,— спрашиваю,— вы, Ольга Евгеньевна, роман такой читывали — «Берег моря»?» Смеется: «Еще б не читать! В журнале «Дело» печатался, правда?» — «Правда, — киваю. — Но чему смеетесь?» — «А свекор мой очень гордился: это, мол, про меня! А роман-то из рук вон...»

И верно, не шедевр. Впрочем, тут другое. Я про Маркевича. Видите ли, этот Маркевич, лет десять, еще в шестидесятых, служил в Крыму: директор гимназии, директор народных училищ. В ту пору он и познакомился с Зотовым, будущим свекром Ольги

Евгеньевны. А потом стал сотрудничать в «Голосе». Статья его об адвокатах имела шумный успех, «Софисты девятнадцатого века» называлась. В редакции «Голоса» он, Маркевич-то, и познакомился с другим Зотовым, то есть с вашим покорным слугой.

А в то время, когда я с Ольгой Евгеньевной беседовал, Маркевич жил в деревне, Щигровского, кажется, уезда, а Вольф, издатель, печатал его роман «Берег моря»; отдельное издание после журнального.

Автор вдруг присылает мне письмо. Вроде бы возобновление знакомства. Образом мыслей мы не были схожи, в одной стае не числились. Зачем написал? А черт его знает; так, на всякий случай — столичный все-таки журналист, секретарь «Голоса» и по критической части подвизается. Вот и написал. Эдакая авторская осмотрительность. А сочинение, повторяю, не из блестящих. Персонажи блеклые: татары, двое русских. И для колорита — масса татарских словечек, даже, помнится, песня татарская.

А в письме своем Маркевич писал: обстоятельства взяты из жизни вашего, Владимир Рафаилыч, однофамильца, поныне здравствующего в Симферополе.

Замечаете, господа, какие узелки? Да если б я роман сочинял, получше Евгения Маркевича управился. Но коль у меня не роман, то и должен объявить: доселе не знаю, в родстве ли с крымскими Зотовыми. А впрочем, не зарекаюсь, может быть, и в родстве.

Рафа с Николаем Евгеньевичем тем временем свой разговор вели; у Маркевича в книге словеса татарские, а у этих на языке — голландские, английские: Петр, учредив флот, открыл шлюзы терминам.

У нас с Ольгой Евгеньевной — отдельный разговор. И надо сказать, очень задушевный. Я люблю таких, как она, какой-то жалостливой любовью... Каких — «таких»? А вот как Ольга Евгеньевна, с неустроенной, по-российски неустроенной жизнью. Муж ее сидел в тюрьме. В «родной», Симферопольской. Сидел «за связи». Известно, «связи» — уже преступление. Ты, может, и не такой-сякой, да с таким-сяким чай пил — бац, бац, бац в двери: собирайся... Да, муж в тюрьме, а Ольга Евгеньевна с мальчиком у брата, на его, стало быть, лейтенантском достатке.

«Отец наш,— говорила,— врачом в Риге. Вот и я надеюсь. Учусь на Надеждинских курсах. Скоро избавлю брата от лишних забот. Трудно Николаю Евгеньичу...»

Надеждинские курсы? «Так вы,— спрашиваю,— должно быть, Анну Илларионну Ардашеву знаете?» Спросил и поймал в ее глазах тот же промельк настороженности и досады на себя — как давеча у Суханова.

«Ардашева? Анна Илларионна? — Зотова будто припоминала.— Да... Кажется, знаю... Но не очень, издали, знакомством не назовешь, шапочное».

Опять, чувствую, в стену лбом уперся. Но уже соображаю, где собака зарыта.

Время было позднее. Улица затихла. В прихожей всхрапывал вестовой. Мы еще поговорили, вместе, вчетвером. Стали прощаться, а мне не хотелось, чтобы они уходили. Какие, думал, славные, какие русские, прелесть.

Ни Суханова, ни сестру его больше не встречал. А Рафаилу моему пришлось увидеть последний час Николая Евгеньича. В Кронштадте, два года спустя.

Рафаил уже служил в Петербурге, в гидрографическом департаменте; квартиру нанял в Офицерской;

там и теперь вдова его, внук мой и внучка. Служил он в Петербурге, но часто по службе пропадал в Кронштадте.

А Николай Евгеньич проломил в жизни иную дорогу. Он был с Михайловым. Их и судили одним судом. Николай Евгеньич произнес речь, очень спокойную, полную достоинства: я никогда бы не стал террористом, если бы не ужасное положение русского народа; я никогда бы не стал террористом, если бы не видел в Сибири оборванных и голодных ссыльных, лишенных всякой умственной деятельности; я никогда бы не стал террористом, если б в России мог жить тот, кто не желает делать карьеру, а стремится облегчить участь мужика и работника...

Государь повелел: «В поучение всему Балтийскому флоту...» Была ранняя весна, холодно. И высокое, высокое небо. Рафаил увидел Суханова, когда Николая Евгеньича вели к «позорному столбу». Глаза их встретились. И Рафа... Вы знаете, как он мыслил о «завиральных идеях»; я говорил вам, что он раздружился с давним своим другом... Но вот увидел, как тот идет к «позорному столбу». В старой солдатской шинелишке. И Рафа сдернул фуражку, поклонился ему низким поклоном.

Перед столбом широким полукругом стояли взводы. От всех флотских экипажей: «В поучение Балтийскому флоту». При каждом взводе — барабанщики. Контр-адмирал — главным распорядителем. А поодаль — толпа: офицеры, матросы, чиновники, лабазники, мастеровые. Женщин не было...

Суханов пристально смотрел на небо. Высокое было небо и бледное... Подошли с балахоном. Николай Евгеньич протянул руки, помогая служителям. Ему завязали глаза. Он что-то сказал матросу, матрос поправил повязку.

Ударили барабаны. Двенадцать нижних чинов взяли на прицел. Унтер сделал знак, прозвучал залп.

Одиннадцать пуль — в грудь, одна пуля — в лоб. Никто не промахнулся.

8

Есть болезнь, тяжелая, знаете, болезнь. Иногда накатывает эпидемией, а иногда и черт знает отчего, у каждого по-своему.

Конечно, важно, так сказать, предрасположение. Ну, скажем, в пятьдесят седьмом году я не заболел. После смерти императора Николая, по воцарении Александра Николаича — нет, не заболел.

Вы уже слышали, как Герцен принимал в Лондоне нас, петербургских литераторов... Возвратился я к родным осинам. По возвращении, хоть и не столь часто, как в молодости, посещал театры. Кассиры оставляли за мной всегда одно и то же кресло в четвертом ряду. А крайнее кресло этого ряда принадлежало Третьему отделению. И это кресло регулярно, как и я свое, занимал голубой штаб-офицер.

Звали его — Иван Андреич Нордстрем. Чрезвычайно обходительный человек был. Мы познакомились, как знакомятся завсегдатаи-театралы. Познакомились, но беседовали подчас о предметах, которые... После императора Николая потеплело; казалось, шпоры чинов Третьего отделения стали звенеть мягче и тише. Вот мы и беседовали с Иваном Андреичем о материях не только театральных.

Однажды Нордстрем любезно предупреждает: дескать, у «н и х» осведомлены о моем визите к лондонскому пропагандисту, издателю «Колокола».

Я храбро отвечал, что, уезжая за границу, не подписывался в том, что, ежели встречу кого-либо из русских, зажму рот, зажму уши да и кинусь прочь.

«Так-то оно так,— добродушно молвил Иван Андреич,— однако советую принять меры на случай, когда будет сделан допрос по сему предмету».

Э, думаю, в сорок девятом году, при императоре Николае, в крепость возили и допрашивали, да и то бог миловал. А теперь-то что? Да прах их возьми, чего тревожиться.

Минуло недели три. Опять мы в театре. И он рассказал следующее. Посол в Лондоне (забыл, кто тогда представлял государя в Англии) прислал в Петербург список лиц, посещавших Герцена. Шеф жандармов доложил государю. Государь стоял у камина. «Не дело русского посла заниматься такими донесениями»,— сказал император и бросил бумагу в огонь.

Выслушав Нордстрема, я восхитился: поступок, достойный скрижалей! Я ни на йоту не иронизировал, я искренне. А чем, собственно, восхитился? А тем, что не усмотрено преступления во встрече писателей с писателем. Правда, тот был красным, «Колокол» издавал, эмигрант, но пишущие встретились с пишущим, размен мыслями. Мыслями, а не бомбами. И вот за подобное я не отправлен в равелин. И этим-то и восхищен и умилен...

Я уже говорил: портфели революционеров принял без опаски. И самих революционеров — Морозова, Михайлова — тоже принимал, не опасаясь, хотя вроде бы на дворе морозило и мысль опять почти приравнивали к бомбе. Но ведь что ни говори, а народилась на свет божий долгожданная законность. Пусть и попирают, но есть. И реформы, и уставы, и присяжные... Нет, тут не мужество, когда портфели принял, когда Михайлова принимал, а надежда на невозможность «повторения пройденного»...

Но вот динамитом запахло. Боком, как примериваясь, двинулся к рампе Фролов — палач, исполни-

тель приговоров. А присяжных — в статисты или вовсе долой. Студеным потянуло ветром... Казалось, должно было меня ознобить. Не так ли? Нет, оставался спокоен. Э, думаю, есть мезенцевы, есть дрентельны, но нет ведь ни Бенкендорфа, ни Дубельта. Бенкендорф с Дубельтом исчерпали всю дьявольщину; каким-то там мезенцевым-дрентельнам крохи достались; да почему бы, наконец, не предполагать, что и они не хотят «повторения пройденного»?

А болезнь моя таилась в крови. Приступ настиг под утро. Ночь минула в обычных беспокойствах с выпуском «Голоса»; стало быть, минула спокойно. Я сразу уснул, мне ничего не снилось. И вдруг я мгновенно очнулся. В доме было тихо. Никто не звонил в парадную дверь. Да мне и не мерещились ни шаги, ни звонки. Но это-то и было самое худшее. Отчетливо сознавая, что в квартире нет посторонних, я отчетливо сознавал, что в с е р а в н о кто-то присутствует. Вот это-то и было хуже всего.

Понимаете ли, не предчувствие — чувство. Не предположение — уверенность. Доводы рассудка нейдут на ум. Они бессильны, кроме одного: как можно требовать разумного от действительности, если действительно неразумное?

Не сознаешь унизительности своего ужаса. Потому что ужас-то не рядом, не под окнами, где светает, ужас в тебе, в твоих жилах. И вот сидишь, спустив на пол голые ноги, в ночной рубахе сидишь. Нет, не похолодевший, не в жару. И сердце стучит ровно. Но словно бы опустело, совсем полое. И стучит как бы лишь с разгона, вот-вот остановится. А ты опять-таки будто и не замечаешь. Ничего физического, телесного не замечаешь...

Ужас, однако, не бесконечен. Он медленно сменяется тоской. Ах, как ты хорошо, как покойно ты

жил. У тебя была семья, любимые занятия были, книги были... (Обо всем думаешь так, словно ничего уже и нет, все утрачено.) В конце концов, даже Жи-Жи не плох, даже он, Жижиленков... Все было хорошо, покойно... Так зачем? Зачем? Ты ведь давно знаешь, что ход вещей есть ход вещей, что мир таков, каков есть, что сама несообразность жизни, очевидно, определяется некоей высшей гармонией... Разве тебе мало искусства? Ты мал и нищ в искусстве, но ты — «царь, живи один...»

Боже мой, какая тоска... Встаешь, умываешься, целуешь жену, завтракаешь — все машинально. Потом садишься к столу, заваленному бумагами, книгами, и приливает странное, двойственное блаженство, словно возвращаешься к друзьям, но уже готов сказать: «Прощайте, друзья...» Так же медленно, как смена давешнего ужаса... да, вот так же медленно тоска уступает место обычному досадливому удивлению: ах, как этот абзац неловок!

И начинаешь перебелять, мельчишь на полях, тянешь красную карандашную черту... Какая отрада! Век бы шуршать, как мышка. Я никого не трогаю, подите прочь. Оставьте мне книги, мои бумаги. И эту отцовскую чернильницу. Ее крышка золоченой бронзы весома, рука, ощутив ее тяжесть, не заспешит рысью по бумаге...

Но бьет час, надобно идти в редакцию. Потягиваешься, пьешь чай. И вдруг как выныриваешь: да в чем, собственно, дело? Чего ты? Пустое! Нервы! Будет! Стыдись!.. И лишь далеко и тоненько дребезжит: не-е-е-ет, не пусто-о-о-ое...

Все неизменно в редакции. Швейцар, принимая пальто, легко проведет ладонью по твоей спине, по лопаткам — это он удаляет невидимые пылинки, а вместе и ласково отсылает тебя наверх. Рассыльный

вскакивает и кланяется: его лошадиная, небритая физиономия, как всегда, выражает неудовольствие. А вот и раздражительный метранпаж со своими докуками. Устойчиво пахнет гуммиарабиком, калошами, гранками. И по-прежнему Кирилл с Мефодием глядят тихо, благожелательно: в редакции и в типографии были иконы Кирилла и Мефодия...

Начинают являться сотрудники. Все — ко мне. Редактор приезжает поздно, да и не охотник Василий Алексеич до подробностей. Ну, все и ко мне... Подслеповатый Введенский, шумливый Загуляев. Загуляев политический отдел вел, а потом начудил романом. Исторический роман, прости господи. Загуляевы, они как? Десять книжек прочтут — одиннадцатую напишут. И штришки, и старинный оборотец, а стариной и не веет...

Да, Введенский, Загуляев, третий, пятый... И внезапно обожжет: господи, царица небесная, кто из них твой погубитель?! Кто?.. Опять одернешь себя: пустое! стыдись! совестно подозревать порядочных людей! Но нет, встрепенулась твоя болезнь... Покамест еще не утрешние ужас и тоска, а этот гнусный трепет, когда сам себе противен. И уже знаешь, что все повторится, что будешь сидеть в ночной рубахе, замечая и не замечая, как опустело твое сердце.

Теперешняя наука обнаружила разных мельчайших возбудителей страшных болезней. Вот и во мне гнездилась эдакая палочка. Не доктора Коха, а Николая Палкина. Но скажите на милость, много ль я выстрадал? Всего-навсего день в крепости. Другие в тюрьмах, в ссылках долгие годы — и ничего. Так ведь то другие, из тех, которых сжигали на высоких кострах. А я... я не той породы. Сорок девятый год, крепость, допросы, я вроде бы их позабыл, да они-то, оказывается, словно бы сами меня не забывали...

Посреди такого ужаса, тоски и трепета и застал меня однажды Александр Дмитрич. Конечно, не его вина. Никто меня не приневоливал. А если в корень, то и без его архивных портфелей, без его посещений меня все-таки настигало бы то, что настигало.

Нет, Михайлова я не винил. Однако, едва он вошел, как я... Уверяю вас, совершенно невольно... Я быстро и воровато выглянул из окна. И отпрянул. Должно быть, у меня было жалкое лицо.

Александр Дмитрич смотрел на меня вопросительно. О, я бы дорого дал, чтобы он смотрел подозрительно, хоть с тенью подозрения! Дорого дал, потому что тут бы, наверное, и признался во всем: да, да, да, милостивый государь, вот так-то и так-то и ничего со мной не поделаешь!

Но нет, он лишь молча вопрошал. И, не дождавшись моего слова, сказал: «Когда я к вам, Владимир Рафаилыч, я семь раз отмерю.— Он кивнул на окно: — Там — чисто».

Я, нежданно для себя, рассмеялся: «Шпионина, он тоже душу имеет...» В голосе Александра Дмитрича было столько спокойствия, что у меня отлегло. И вспомнилось: «Ш п и о н и н а».

А это было вот что. Покойный Некрасов посещал водолечебницу на Адмиралтейской площади. (Впрочем, тогда уж бульвар устроили; клумбы пышные, а деревья как шпицрутены.) Николая Алексеича всегда жена сопровождала. После лечебницы сядут они на скамье в сквере передохнуть. В этот час государь совершал свою прогулку. А в Адмиралтействе квартировали филеры. «Мы с Зиной привыкли их видеть выходящими на службу,— рассказывал Некрасов.— Как-то выходит один, а следом супружница с ребеночком на руках. Агент помолился в сторону Исаакия, потом поцеловал супружницу, а ребеночка пере-

крестил. Зина растрогалась: «Ведь вот, шпионина, а душу в себе имеет человечью».

Александр Дмитрич усмехнулся и повторил: «Шпионина»,— видно, понравилось. «А я,— говорит,— на том бульваре другую особь видывал. На Исаакий не молился, а двум дамам кадил, об руку с ним шли. Седой, высокий, усы тоже седые. Свежий старик. Котелок, пальто с иголочки. Некая французская знаменитость. Да-да, Владимир Рафаилыч, своито филеры лядащенькие, ну, вот и милости просим — европейский аршин. Не ради черновой работы, этот тебе не станет танцевать на ветру, нет, наставником его выписали прямо из Парижа: наших доморощенных учить. Говорят, старается, шельма. Велел на запасные фуражки раскошелиться и на пальто двойного покроя. Юркнул в подворотню, вскочил в подъезд, пальтишко вывернул, шапчонку переменил — извольте-с, я не я... Ловко?»

«Ну,— отвечаю,— в прекрасной Франции по сей части продувные бестии. При Луи Наполеоне — ого как изощрились. А «ваш», — говорю, — щеголь с двойными пальто, он, видать, времен Клода».

Александр Дмитрич чрезвычайно заинтересовался...

Позже, когда «пьеса» была сыграна, Анна Илларионна объяснила, что Михайлов был большим... Как бы это сказать? Словом, он пристально изучал Третье отделение. Любую мелочную подробность. Некоторое время Александр Дмитрич жил поблизости от меня, нанял комнату на Литейном, в доме Николаевского... Это там, где теперь цветочный магазин и провизор сидит... А как раз напротив половину второго этажа занимал какой-то крупный чиновник Третьего отделения. К нему на доклад шастали по утрам уличные соглядатаи. Александр Дмитрич часами наблю-

дал из окна — терпеливо, настойчиво, цепко... Анна Илларионна утверждала, что он из толпы на Невском умел выудить «шпионину» — вон, мол, тот...

Наконец, это он, именно он, Михайлов, вел дела с Клеточниковым. У меня, то есть не у меня, а в портфелях, которые у меня, лежат тетради — сообщения Клеточникова: все о «шпионинах». Только не уличных, наружных, а, так сказать, внутренних, домашних...

Позвольте несколько в сторону. Впрочем, не думаю, что в сторону, потому что, упомянув Клеточникова, совершенно необходимо отчеркнуть одно обстоятельство. Я говорю о громадной заслуге моего героя пред своими товарищами...

Клеточникова я никогда не встречал. То есть, может, и встречал где-нибудь на Литейном или Пантелеймоновской, это вполне вероятно, он ведь в службу-то ежедневно направлялся, но такие «встречи» не в счет.

Анна Илларионна его и в глаза не видела. Да что там моя Аннушка, коли этого Клеточникова даже из вожаков «Народной воли» отнюдь не все удостоились лицезреть.

Но представьте: его видела, слышала, и притом зная, что это — именно Клеточников, что это — именно тот, что служил в тайной полиции... Кто? Сто лет гадайте, нипочем не отгадаете! Клеопатра Безменова, сестра Михайлова, у которой моя Аннушка в Киеве останавливалась. Да, да, Клеопатра Безменова, урожденная Михайлова!

Как так? Почему? Каким образом? Однако... Эх, господа, беллетрист во мне очнулся. Не хотел спускать с цепи беллетристику, да велико искушение. И посему не обессудьте, объясню в конце моего рассказа...

Коротко сказать, Клеточников два года гнездился в самой гуще, где «шпионина» роилась. Невозможно переоценить вес и значение его тихой и вместе безумно-отважной деятельности для всего подпольного братства. Истинный спаситель! Равного в этом смысле не найти, судьба редчайшая.

Правда, нечто схожее, не в такой, конечно, степени, но случалось. Про то нынче, может, два иль три человека помнят... Вам имя Глинки что-нибудь значит? Э, нет, не Михайлы Иваныча, музыканта нашего кто забудет... Нет, литератора Глинки?

Да-а, вот наша участь: век пиши — и в Лету бух, никто и не вспомнит... Глинка умер в тот год, когда Михайлова арестовали, стало быть, в восьмидесятом. Умер едва ли не столетним. Во всяком случае, не ошибусь,— за девяносто перевалило, это верно. Я его знавал стариком — во время Крымской войны и позже он здесь жил, в Петербурге. Уже и о ту пору был он чуждым гостем средь новых поколений; общий закон, все ему покорны, кто до глубокой старости тянет. Но дело не в этом...

Видите ли, Глинка, Федор Николаич, молодым обретался в стане будущих декабристов. Можно сказать, один из учредителей «Союза благоденствия». А служебно состоял при санкт-петербургском генерал-губернаторе, в канцелярии. И как раз в круге его обязанностей было наблюдение за крамолой. Голову на отсечение не дам, но слыхал: Глинка кое-что делал схожее с тем, что делал Клеточников. Однако размах последнего — ни в какое сравнение с первым! Да и по длительности во времени тоже не сравнишь.

Я наперед оценку выставил: громадная была заслуга Александра Дмитрича. Попробуем сообразить обстоятельства.

Первое вот что. Если ты задумал водворить своего человека в шпионское гноище, тот должен быть чист как слеза. (Разумеется, по жандармской мерке чист.) Революционер или даже малость причастный — негожи, ибо находятся, могут находиться в поле зрения «голубых».

Второе. Допустим, чистехонький человек найден. Ну и что? Вы берете его под локоток и — на ушко: «Mon cher, ступай на Пантелеймоновскую, к Цепному, будешь сообщать нам...» И так далее, в таком примерно духе... Да он зыркнет на вас диким глазом и шарахнется прочь. А то и хуже: засеменит с доносцем в зубах.

Теперь третье. Хорошо, отыскали вы не токмо чистого, но и наклонного вам содействовать. Опять-таки вопрос: готов ли он сей секунд лезть в пасть акулы? Согласитесь, задача! Прикиньте на минуту к своей персоне. Вот вы, именно вы, а не кто-то другой, если б вам эдакий предмет? А? По сущей совести, как? Я, например, ни под каким соусом! И страшно и мерзко.

В чиновники Третьего отделения сподобиться непросто. Барашком в бумажке не проймешь, не обойдешься. Но это, так сказать, практическая сторона. Как такую шахматную партию разыграть, Михайлов быстро и ясно расчислил. Есть всепроникающее «средствие» — протекцией называется, а этот Клеточников пользовался особым благорасположением какой-то вдовой штаб-офицерши, полковницы кажется. А та была не то в родстве, не то в кумовстве с влиятельным жеребчиком известного ведомства. Тут-то и сквозила лазейка. Понятно, угольное ушко, но все-таки. И получилось, как Михайлов расчислил.

Однако поначалу его иная забота мучила. Круче и сложнее практической. Повторяю, речь шла о чело-

веке не шибко революционном. Да и вообще госпожа Безменова, сестра Александра Дмитрича, она просто была поражена, глядя на Клеточникова: такой слабенький, волосики дымчатые, близорукенький, голосок негромкий... И это простенькое: «Кле-точ-ников». Гм, клеточник... Клеточник — птичьи клетки мастерит...

Оно правда, не всяк тот герой, у кого грудь колесом, а усы пиками. Это так, верно, а только очень не вязались геройство... и Клеточников. А Михайлов уловил, угадал, учуял такое подспудное, чего он, Клеточников, сам за собою не ведал. Пробудил и возжег долгое, ровное пламя. Говорят, Клеточников прямо-таки влюбился в Михайлова, боготворил. Пусть так, но одной влюбленности недостало бы. И надо было быть Михайловым, и надо было быть, согласитесь, Клеточниковым, чтоб сделать то, что они сделали. Ведь тут не вспышка, не мгновение,— нет, долгое и тяжкое подвижничество...

Да, а тетради покойного Клеточникова доселе у меня, в тех самых портфелях. Жаль, не знал я в ту пору о таких связях Александра Дмитрича. Я это к тому, что иной раз приступала ко мне эта боязнь шпионов. Знал бы, глядишь, и не дрожал. А впрочем... Впрочем, наверное, все-таки дрожал: где и Александру-то Дмитричу со своим Клеточниковым углядеть за всем летучим роем?

Так вот, в тот день, когда Михайлов застал меня в приступе моего позорного страха, в тот день, когда я заговорил с ним о записках француза Клода, Александр Дмитрич очень заинтересовался. А меня так и свербило желанием мазнуть дегтем по воротам тайной полиции.

И тут во французской прессе подвернулись мне записки Клода. Потом отдельной книгой в Париже

издали — публика падка до всего, что к полиции относится.

Клод был начальником полиции уголовной, а не политической; однако — малый осведомленный — он и про тайную немало карт раскрыл. Карты битые, времен битого Луи Наполеона. Десятилетней давности, но речь-то об империи.

Записки Клода лежали на столе. Мысль была: а что, ежели перевести, компиляцию сотворить да и напечатать? (Впоследствии в «Историческом вестнике» напечатал.) «Откровения» Клода привлекли Александра Дмитрича. Пусть и французская, но тайная полиция, а он, Михайлов-то, повторяю, был «Народной волей» как бы приставлен особым наблюдателем за Третьим отделением.

Извольте, говорю, хоть сейчас вкратце доложу. Ну и принялся заглядывать в эти самые Клодовы записки: как нанимают агентов-подстрекателей, как перлюстрируют, как его величеству народные чествования устраивают и все такое прочее.

Александр Дмитрич — весь внимание. И что-то вдруг особенное почудилось мне в его глазах, едва упомянул я про то, что Луи Наполеон учредил сверх всего еще и личную тайную полицию.

Да-да, представьте, мало такой, обыкновенной, что ли, он личную завел. И вот это, мне показалось, особенно насторожило моего гостя.

Почему? Я в толк взять не мог. И вам сейчас объяснять не стану. Потерпите, господа. Прочтете третью тетрадь Анны Илларионовны — сообразите. А пока недоумевайте, как я тогда недоумевал...

Хорошо. Теперь что ж? Да! Как раз в ту пору слух шелестел: дескать, граф Лорис-Меликов намерен упразднить Третье отделение! Александр Дмит-

рич смеялся: волку случается надевать овечью шкуру.

А между тем в августе того года... Стало быть, восьмидесятого... В августе, господа, свершилось: Третье отделение приказало долго жить! Я как-то пытался передать вам чувства от кончины императора Николая: летать захотелось! Примерно так и в августе. Подумайте сами — кошмар, всепроникающий кошмар исчез. Будь ты скептиком, а воспрянешь, полной грудью хлебнешь.

Один мой приятель... Я упреждал, некоторые имена, как и некоторые обстоятельства, не открою, и не спрашивайте. Ну-с один, стало быть, приятель мой доверительно беседовал с графом Лорисом. Это уже после убийства государя, после отставки Михаила Тариелыча. В Ницце, поздней осенью восемьдесят первого.

Вот там среди роз, в огорчительном для него покое, у синя моря он доверительно рассказывал моему приятелю об этом самом упразднении.

«Я,— говорил Михаил Тариелыч,— давно подумывал, еще когда в Харькове генерал-губернаторствовал. Гнусное учреждение! Выше министров, выше комитета министров. Слово шефа жандармов все решало. Я был свидетелем, как в комитете министров придут к согласию, а шеф жандармов Дрентельн, оказывается, иного мнения. Ну и все перерешается.

Когда я пришел, сразу стал искать союзников. Вижу, никто не верит, что возможно. Даже его высочество цесаревич не верил, хотя на себе испытывал гнет шпионской опеки.

А знаете ли, кто верил? Княгиня Юрьевская. У нее, положим, были давние счеты с Третьим отделением. Это еще когда она не была Юрьевской, а была Долгорукой. Шеф жандармов пытался устра-

нить «эту девчонку». Разумеется, в угоду императрице. Но как бы там ни было, а Екатерина Михайловна была за меня. И надо отдать ей полную справедливость: она подготовила почву. Однажды сообщает: «Теперь ваша очередь, я все сделала».

В августе, третьего числа, был мой доклад. Государь выслушал очередные дела, надо откланиваться. А я — ему: «Ваше величество, у меня есть еще один вопрос...» — «Что такое? Говори!» — «Ваше величество, упраздните пост вице-императора».— «Что такое? О чем ты?» А я — ему: «Вам, государь, угодно так шутить на мой счет. Но об этом не шутя пишут в Европе и толкуют у нас. Положение ненормальное. Я стал между министрами и вами. Я их по рукам вяжу, совсем ущемил. Притом, ваше величество, давно пора объединить полицию явную и тайную. Они должны идти к одной цели, в одной упряжке». И пошел, и пошел развивать давнюю свою идею: Третье отделение долой, обратить оное в департамент министерства внутренних дел. И министерству подчинить корпус жандармов. «Уважьте,— говорю,— ваше величество, осчастливьте...» На другой день — соответствующий доклад у государя. Утвердил! Я принял министерство внутренних дел».

Вы, конечно, смекнули: граф Лорис мыслил как администратор: положение в империи в деле полицейском — лебедь тянет в облака, щука — в воду; надобно устранить разнобой. А мы, которые вне администрации... нет, лучше сказать, под администрацией... мы одно видели: упразднили, нет больше Третьего отделения. Есть, правда, департамент. Но он нам представлялся просто одним из многих департаментов.

Опять-таки разница и дистанция между такими,
 как я, грешный, и такими воителями, как Александр

Дмитрич. «Нет,— толкует,— пока престол и корона, ни черта лысого не дождешься». Эх, думаю, милый ты мой, не гони чудо-тройку, лучше медленно, чем конвульсии: в медленном — созревание, от конвульсий, вызванных бомбой, извините, выкидыш.

Я верил в постепенные, медленные перемены, а он — нет. Вот тут и разница, тут и дистанция, не говоря о прочем. Хотя отчего бы и об этом прочем не сказать?

9

Погоды у нас постоянно непостоянные, а наше северное лето — карикатура южных зим. Но и мы пользуемся виледжиатурой *.

Дачный кейф не по мне, я шалею. Эти прогулки с соседями, дамы под зонтиками... Что-то надо говорить, кого-то надо слушать. Приглашают к ужину. Как и нам не пригласить? Сидишь и маешься, а у тебя рукопись на столе сиротеет. И комары! О проклятое племя...

Однако не все худо. Подняться наранье — хорошо. За полночь у лампы — хорошо. Не расслабляющая ванна с облаткой «Катэн», были такие, якобы спасали от ревматизма... Нет, покой равновесия, когда труд движется плавно. Городскую гниль — фу-у-у — как сдуло. Все эти крупные столкновения мелких самолюбий; сто раз зарекаешься и все встреваешь... А тут остаешься наедине с собой, с деревьями, кустами, дымом очага. Сливаешься со всем, что окрест,— и эти осины, ели и облака, и скрип качелей.

Ах, если б круглый год. Ах, если б не журнальная и газетная поденщина. Без мышьей беготни, без это-

* Villeggiatura — отдых на даче (*итал.*).

го вечного «некогда». И никаких новостей, толков, слухов. А вот эта светлая полоса от лампы на дощатом крашеном полу и уютный шум поезда там, за ельником.

Мечты, мечты! А сам знаешь, черт возьми, что навсегда отравлен керосинным душком свежих гранок. Знаешь, что осенью неудержимо повлечет домой, на Бассейную, и на Троицкую, к Безобразовым, и на какой-нибудь юбилейный обедик у Бореля... Но — это осенью. А пока поднимаешься, когда роса и туман, и потом допоздна у лампы — кусты уже не вразбивку, не каждый по себе, а фиолетовым общим пятном.

Мы жили в Левашове, по Финляндской дороге. Я купил «приют убогого чухонца», чуть не весь гонорарий за первый том «Истории литературы» ухлопал. А тогда, в восьмидесятом году, заканчивал третий, предпоследний: словесность французская, румынская, славянская.

Уезжая из Петербурга, повидался с Анной Илларионной. О Кронштадте — ни звука. Словно и не встретились на пристани. Скрытность Александра Дмитрича — это я признавал натуральным. Но Аннушка? Скажите на милость... какая заговорщица!

Э, нет, не то чтобы не принимал ее всерьез. Но вот она меня... А я не мог и пикнуть о портфелях. Я про них сказал ей много позже, когда Александра Дмитрича не было на свете, а ко мне годами никто не являлся.

Короче, я был задет и даже приобиделся. Однако ворчливо взял с нее слово приехать в Левашово. Прибавил, что приглашаю, буде заблагорассудится, с друзьями. И еще что-то в том смысле, что ее

 друзья — публика мне не чуждая. Она меня обняла

и поцеловала, как в детстве, девчушкой, ну и я, конечно, тотчас размяк.

Минул месяц моей виледжиатуры, и она приехала. На Ильин день приехала. И не одна. С нею был Александр Дмитрич, были еще двое — мужчина и женщина. В мужчине я сразу признал молодца с окладистой бородой, которого видел на кронштадтской пристани. А женщину, очень молодую, хрупкую, интеллигентную, с выпуклым чистым лбом, эту я никогда прежде не видел.

Понятно, они назвались какими-то именами-отчествами, не помню какими. (Я наперед вам заявил, что нет охоты интриговать, заманивать, а потому — вот имена подлинные: Андрей Иваныч Желябов и Софья Львовна Перовская.)

Тот Ильин день памятен мне. Никаких чудовищных гроз, не загорелось нигде и молнией никого не поразило. Илья хоть и раскатывал в своей колеснице, но где-то далеко, за горизонтом; тучи хоть и набухали, но проходили стороной.

День этот остался со мною навсегда. Я и сейчас радуюсь, что был он в моей жизни. Из того, что я намерен сейчас рассказать, вы вряд ли уясните, почему он так мне светел. Но лучше сперва расскажу... О, не ждите каких-либо приключений или ужасных тайн.

Они приехали из душного, пыльного города, и никаких у них дел ко мне не было. Мы ходили к озерам, в осиновую рощу имения Левашова, сидели на пнях, на траве валялись. Полями вернулись домой, обедали. А вечером нам долго насвистывал самовар. Вот и все.

Жены моей не было, она отправилась в Парголово, к старинной приятельнице. И хорошо сделала, а то... Видите ль, слово «социализм» режет ухо Лю-

бовь Иванны: «Как! Не будет прислуги — все равны!!!!»

Давно мне хотелось услышать живое от живых людей. Не прочесть, а именно услышать. Вот так, как в Саратове, от старого старика Савена. Помните? Но мы-то с ним толковали о прошлом, о Франции. А теперь я сам был, так сказать, современником робеспьеров и дантонов. И хотел услышать не о прошлом — о будущем. И не о Франции — о России.

Повторяю, прочесть прочел кое-что. А живого слова, чтоб в глаза глядя, еще не слыхивал. Морозов не в счет. Когда Ольхин, присяжный поверенный, представил мне серьезного юношу с пушком и в очках... ну, разве Морозов мне ответил? «Республику учредим» — и только, весь ответ. А с Александром Дмитричем как-то не приходилось. Ну, однажды сказал об отречении Александра II, об избрании Учредительного собрания. Опять, согласитесь, туманно...

Не подумайте, пожалуйста, что при виде молодой компании я сразу и решил — вот он, час. Ничего подобного. Я и не намеревался. Но вышло-то именно так.

Молодые люди, убежав из города, они ведь тоже оторвались от суеты и новостей. Пусть и другого свойства, не таких, как я. Но ушли, уехали. И может, в душе у них возникло это чувство освобожденности, когда новым взором видишь молчаливую жизнь. Молчаливую и полную высокого смысла. Я думаю, так оно было.

Неприкаянно и нервно жили они в городе. Это страшное напряжение, это ожидание ареста, недавний политический процесс, выпуск нелегального, ночные встречи... А тут — поле, лес, медленные облака, дальний гром. И эта потребность в мечтаниях. Ведь

есть она даже у самых прозаических натур. Какой-нибудь мильонщик-железнодорожник, какой-нибудь биржевой маклер и те могут размечтаться не только о подрядах или курсе акций.

Теперь прошу в обыденность.

Надо вам сказать, поставщиком моего двора был один финляндец. Дважды в неделю дюжий Тойво привозил на своей повозке свежие припасы: зелень, молоко, парную говядину. Брал по-божески, доставлял час в час. Но вот что-то у него стряслось: повозка ли поломалась, по хозяйству ли, не знаю. И приехал он с большим опозданием. Жены, повторяю, не было; кухарка наша держала бразды.

Еще маркиз де Кюстин, будучи в России, отметил склонность малых сих к деспотизму: фельдъегерь лупил станционного смотрителя, тот — ямщика, ямщик — лошадь. Каждый, поелику возможно, деспот... Наша Аграфена баба была смирная, незлобивая, но, сознав свою «ролю», напустилась на Тойво. А тот, дюжий и белесый, виновато переминался с ноги на ногу. Аграфена машет руками, топает ногами, того и гляди ухват схватит.

В разгар баталии явились гости. Здороваясь с ними, я проводил взглядом Тойво, шагавшего рядом с повозкой: «Печальный пасынок...»

Скажите: вы когда-нибудь пытались поймать изначальность какой-либо мысли в голове вашей? Исток уловить пытались ли? Отчего принимает такое направление, а не иное?

Нет, смотрите. Кухарка разбранила финляндца. Он удаляется со своей повозкой, кобыла дергает хвостом... О чем бы, кажется, подумать? Об Аграфене? О деспотизме, который дремлет и в простой душе? Или о бедняге, которому досталось на орехи?.. Так нет! Мысль явилась, никогда прежде и не возникала:

а что, думаю, мои робеспьеры и дантоны, вот эти молодые люди, что, думаю, они, поборники свободы, предпримут для «пасынков»?

То есть о чем я? Не Тойво, даже и не великое княжество Финляндское, а вообще «пасынки»... Никогда я не размышлял об окраинах империи, хотя и читывал умного Самарина.

Вот о чем подумал и о чем спросил. Отнесся ко всем, ни к кому в частности. Мне ответил Желябов: «Да, право нерусских, штыком пригвожденных к русскому царству,— отделиться».

Ответить-то ответил, да я почувствовал, что задел слабую струну. Не в том смысле, как говорят, желая указать нечто излюбленное. Как раз напротив! Слабая была струна — неуверенного звучания, вот что.

И Михайлов, Александр Дмитрич, подтвердил мою догадку. «Право, конечно, должно быть дано. Но только не сразу. Сперва нужен дружный, соединенный натиск, а после — право. Когда победа, когда твердая победа».

«Извините, Владимир Рафаилыч, вопрос не сегодняшний и даже не завтрашний...» Я посмотрел на Перовскую. В глазах ее была досада. Она прибавила: «Исключая многострадальную Польшу. Польше право на самоопределение — немедленно. А вообще-то так еще далеко, так далеко, что и обсуживать не стоит».

Я рассмеялся. Ладно, «будем петь мы и веселиться», пойдем за ворота. А сам думаю: нет, братцы нигилисты, не понимаете вы в этом, как и я, либералишка, не понимаю... То-то и оно.

Вышли со двора. Проселок вел к лесу. Небо большое, облака, поле... И разговору, мыслям дан толчок.

 И надо изгладить неприятную заминку с этими «па-

сынками». Значения-то не придавали, а все ж досадно: ветхий человек, я то есть, да вдруг и обнаружил уголок, где у них сумерки.

Снова — Желябов, в голосе не то укоризна, не то докторальность: «Вы о тунгусах, о финнах... Это вопрос. Но лишь один из многих. Мы вовсе не отрицаем, что еще много следует поработать мыслью».

«О-о,— говорю,— это уж верно. Умри — лучше не скажешь. На голом отрицании голым и останешься. У человека,— говорю,— есть потребность в положительном идеале». — «Разумеется, есть», — отвечают. «Хорошо, очень хорошо, господа, но в таком случае в чем сей идеал?»

Александр Дмитрич весело прищурился: «Ишь, Владимир Рафаилыч, ему инженерный прожект подавай: тут мост, а там туннель устроим».— «Э,— говорю,— Александр Дмитрич, давно замечаю у вас беззаботность по части теорий...»

Михайлов был благодушно настроен: «Теории, теории... Есть еще и логика фактов, то есть сама жизнь, Владимир Рафаилыч».

Вижу — и Желябов с Перовской, и Аннушка моя,— вижу, все готовы вступиться за Александра Дмитрича: «Вы его не знаете!», «Вы Дворника не знаете!»

«Дворник»... Я, кажется, ни разу не называл его Дворником? Не нравится, не любил и не люблю. Что это еще за Дворник? Ничего в нем дворницкого не замечал... А какой резон был окрестить Александра Дмитрича — Дворник? Мне Анна Илларионна потом объясняла: особая роль в организации — неусыпное рвение к чистоте и порядку. И как бы наблюдатель за всеми «жильцами». Чтоб, значит, держались в рамках тайного, конспиративного благочиния. Понимаю, но не принимаю. Грубо. Да и к тому, именно «двор-

никами» министр Валуев изволил бранить нашу редакцию, редакцию «Голоса»: «эти «дворники-грамотеи».

«Нет,— отвечаю,— я Александра Дмитрича знаю. Про родовспомогательный инструмент, например, знаю: (Это я разумел террорную доктрину.) Но, положим, дитя народилось. Положим, Учредительное собрание приняло дитятю. А дальше? Впрочем,— говорю,— я в свое время знавал Петра Лаврыча...»

И опять, как в тот раз, когда я Михайлову назвал имена Герцена и Петрашевского — радостные, наивные: как? где? когда? неужто Лаврова знавали? Автора «Исторических писем»? Издателя «Вперед»? (И замечаю, как у моей Аннушки горделивая улыбка возникает — это она мною гордилась.)

А мне опять-таки лестно. Лестно и немножечко... ну, грустно, что ли, так скажем. Если я самого Лаврова знавал, то какой я для них, молодых-то моих гостей, какой я для них старикашечка? Ведь Лавров эмигрировал, когда все они — и Александр Дмитрич, и Желябов с Перовской,— все они еще зелеными были.

«Да-с,— говорю,— имел удовольствие. Давно, лет двадцать тому. Во-первых, в Шахматном клубе встречались, в доме Елисеева, на Мойке. Публика? Да как вам сказать, в одно слово не уместишь... И Валуев, вот только что недобром помянул, бо-ольшой англоман, вития. И хитрый лис Комовский, еще пушкинской поры лицеист, тогда, дай бог памяти, кем-то по ведомству императрицы Марии. И ученый генерал Михайловский-Данилевский, историк... И, представьте, Чернышевский захаживал... И вот, стало быть, Лавров, будущий знаменитый автор знаменитых «Исторических писем». Внушительная фигура, глаза серо-голубые, выпуклые, не то удивлен-

ные, не то близорукие. Руки красивые, нежные; на мизинце — рубиновый перстень.

Играть с ним было трудно. Куда мне, щелкоперу? Ведь Петр Лаврыч, он для вас философ, политический писатель, а ведь к тому и великий дока в чистой математике. Остроградскому не уступал. Потягайся с таким. Память — феномен, логика — таран!

Сядет, уставится на фигуры и ну своим мизинцем-то с перстнем рыжие усы пушить. Усы неровные, нехоленые. Пушит, «Лавриноха», пушит, «рыжая собака»,— эдак его юнкера честили: он читал им математику, боялись его юнкерки... Пушит, пушит, да и распушит тебя, не поспеешь оглянуться. И рассмеется сочным смехом, широко рассмеется: дескать, мат, сударь, уж не обессудьте...

Клуб Шахматный закрыли — не терпят, чтоб люди сходились приватно, даже и благонамеренные: ой-ой, общественное мнение проклюнется! А впрочем, и не вполне благонамеренных хватало. Сентенцию нашему клубу такую вынесли: «В нем происходили и из него исходили неосновательные суждения». В том самом, шестьдесят втором, позакрывали все воскресные школы и читальни; вон уж когда упования наши получили громкий щелчок по носу...

Но мы-то с Петром Лаврычем встречались не только в доме Елисеева. Я помогал Краевскому издавать «Энциклопедический словарь», помощником редактора был, а Лавров, он у нас вел философский отдел. Тем и обратил на себя внимание «голубых»: «наиопаснейший революционер»! У меня письма его хранятся. Так, ничего особенного, деловые, а все ж — «наиопаснейшего». И книги он у меня брал. (Как позднее, много позднее Александр Дмитрич, я говорил.)»

Отрадно, когда слушают тебя не из почтения к сединам. Еще отраднее, когда для младых ушей минувшее не тлен и прах. Не секрет: юнцы подчас небрежничают прошлым. Поверьте, это не стариковская воркотня. Кажись, не лукавая мудрость: без вчерашнего нет нынешнего, как без нынешнего нет завтрашнего. Истина простая, да не всякому вдомек... Молодости многое простительно? Согласен. Только не высокомерие к прошлому. Каждый имеет право на глупость, но зачем злоупотреблять этим правом?..

Да, вспомнился мне Петр Лаврыч. И тут-то, признаться, неожиданно для меня и возгорелся разговор об идеале. Не то чтобы мои молодые люди молились на Лаврова, не здесь суть, а в том, что выдалась минута, общее и согласное движение в душах — и полет мечты. На больших крыльях полет. Вдохновение истинное. Это уж когда «слезами обольюсь»... И понимаете ли, даже я, старый воробей, был захвачен и покорен. Потом, в другие дни, у своей вечерней лампы, в одиночестве, потом словно бы и огляделся с «холодным вниманьем», но тогда... Ах эти дальние, медленные тучи, простор и синее с голубым. И эти вдохновенные, славные, молодые лица... И какая громадная картина возникала — во всю ширь, дух захватывало...

Мужицкая община, от края до края России нашей, цветущий, сильный мир земледельцев — фундаментом, и не в одном хозяйственном значении, а и в нравственном, как мир совести, где мужик выпрямляется духом; грязный шлях с колупаевыми и разуваевыми остался в стороне, его минули, почти не задев. Дым кочегарок, лязг железа — музыка для хозяина-работника. Несть эллина, несть иудея, а есть сообщество тружеников. О, никакой складчины
 подушек и корыт, этой наивности в духе Роберта

Оуэна. Совместный труд не тотчас, а постепенно, без того, чтоб декретом. Русский мужик сам понимает: большая семья крепче. А плоды усилий — делить. По потребностям каждого — это да, это так, но только и в расчет брать твои личные усилия. Община решит по справедливости, не под одну гребенку... Свободные федерации свободных общин — вот Россия будущего. И никаких лейб-гвардии полков, а территориальная армия. И в народе, от мала до велика, не только желание, но и умение, потребность и умение пристально следить за ходом всех дел в государстве. И воля народа всегда и везде, во всяком установлении. Помню совершенно отчетливо: «народоправление». Это Михайлов произнес, Александр Дмитрич. И тотчас добавил: «Поначалу власть берут революционеры, затем, по обстоятельствам, устанавливают народоправление».

Но и это «по обстоятельствам», но и оно, говорю вам, не остановило моего внимания — все застила громадная, прямо-таки величественная картина.

Боюсь, вышло у меня и сбивчиво и неполно, хуже того, сухо, книжно, доктринерно. А ведь там у нас, в Левашове, когда мы холмами к Токсову шли и обратно, там ничего книжного не было. Вот в чем соль! Были полет, мечта, вдохновение.

Глава пятая

1

Тетрадь третья.

То, давнее, школьное: выведешь — «Анна Ардашева», а ниже крупнее — «Сочинение». И в тупике, и не знаешь, с чего начать.

Владимир Рафаилович говорит, что в помощь мне письма.

Они есть, эти письма, вернее, копии, моим почерком, мною копированные. Письма были по-французски, на серо-голубой, в рубчик бумаге с монограммой и короной, красиво оттиснутыми.

Я видела женщину, которой адресовались эти узкие серо-голубые письма с неизменным обращением: «Madame».

Ее дочь, малютка четырех лет, заболела брюшным тифом. Понадобилась ученая сиделка, сестра милосердия. Казалось, чего проще, когда твоя дочь — государева дочь? Однако тонкие обстоятельства затрудняли Юрьевскую-Долгорукую.

Она еще не была светлейшей, не была Юрьевской и, хотя уже жила в Зимнем дворце, таилась в каких-то почти секретных апартаментах. В то время как раз ожидали из-за границы государыню, больную, умирающую. Дворцовое «общественное» мнение

негодовало на Долгорукую. Княжна боялась дать повод к лишним пересудам. «Пригласить сестру милосердия? А! Но она расскажет... Расскажет!» Короче, нужна была такая сиделка, чтоб не «рассказала».

Император хотел писать принцессе Ольденбургской, покровительнице Общества Красного Креста. Но Платон шепнул обо мне генералу Рылееву, своему начальнику, а тот доложил государю.

Платон примчался в Эртелев:

— Скорее! Скорее!

Я была задета: вот еще новости! почему посмел решать за меня?

Он надулся:

— Как! Хотел порадеть родной сестрице. Нельзя всю жизнь таскаться по трущобам и пользовать нищих. Милосердие не отличает высших и низших, ты просто обязана, как это сделала бы на твоем месте любая другая. Да, наконец, в каком я теперь положении?..

Пришлось ехать во дворец. Брат провел меня через какую-то боковую, маленькую, таинственную дверь. Я увидела коридоры, слабо освещенные газовыми светильниками, старых слуг в седых висячих бакенбардах, какие-то лестницы, переходы. И вот сильно натопленная комната с японской ширмочкой, за которой лежала больная малютка. Ее няня, мадемуазель Шебеко, встретила меня настороженно и нелюбезно; у нее было лицо злюки.

Когда читаешь о дворе, о большом свете у новейших беллетристов, то сколь бы они ни старались, а все выходит, словно в щелку подсмотрели, в замочную скважину. Как прислуга, когда у хозяев званый вечер.

У меня нет охоты описывать свои «придворные дни». Скажу только, что видела и говорила с княж-

ной Долгорукой, будущей морганатической супругой императора, с той, которую недруги называли Екатериной Третьей. Надо признать, она была хороша — цветущая, в меру полная, светлая шатенка, причесанная просто и изящно. Говорили мы, разумеется, о больной, о лекарствах, об уходе за девочкой.

Видела я и тетку больной девочки, княгиню Мещерскую.

Княгиня Мещерская была ко мне подчеркнуто ласкова. А я пыталась определить, чем это она полонила Эммануила Николаевича, нашего погибшего полковника, а потом и моего брата Платона.

Мария Михайловна не уступала Екатерине Михайловне: рост и стать для полонеза с конногвардейцем, волосы прекрасного золотистого оттенка. Но побей меня бог, если она не принадлежала к юркой породе наушниц и сплетниц, тех, которым товарки в институтах и пансионах задают трепку, а они все равно ябедничают...

Не странно ли: я выхаживала маленькую больную в те самые дни, когда Халтурин заканчивал свои рискованные приготовления; я дежурила у постельки за японской ширмочкой в те долгие вечера, когда неподалеку от дворца Желябов поджидал Халтурина и осведомлялся — скоро ли?

Об этом происшествии, определившем, после нелегкого разговора с Александром Дмитриевичем, мое положение в организации, напишу несколько ниже. Однако и то, к чему перейду сейчас, тоже связано с событием пятого февраля восьмидесятого года.

Платон во время взрыва находился в офицерской комнате главной караульни и получил контузию в голову. Его отвезли в Мошков переулок, на казенную квартиру. Поздним вечером ко мне, в Эртелев, явился мингрелец из государева конвоя. Кавказца при-

слал капитан Кох, приятель брата. Карл Федорович извещал о случившемся и просил приехать к брату.

Извозчики не показывались. Я отправилась пешком. Сыпал сухой снег. На Литейном еще были огни, а дальше все реже. В изгибе Пантелеймоновской, из ворот штаба корпуса жандармов скользнули, визгнув полозьями, несколько санных упряжек. Инженерный замок встал громадно и призрачно. С Марсова поля плавно и плотно неслась широкая снеговая завеса. От придворных конюшен грубо, но приятно тянуло лошадьми, и этот запах, мешаясь с метелью, веял дальней дорогой, бубенчатой тройкой...

Я застала у Платона человека лет пятидесяти с лицом неумным, но добрым. Комендант императорской главной квартиры генерал Рылеев смахивал скорее на какого-нибудь начальника провинциального гарнизона, нежели на воспитанника Пажеского корпуса, преображенца и генерал-адъютанта. В нем не угадывался военный сановник, который вот уже пятнадцать лет не отходил от императора. (Если Александр II надеялся на преданность Рылеева, то не ошибся. После смерти государя безутешный Рылеев удалился от дел. Говорят, он и поныне, вот уж десяток лет, ежедневно ездит в крепость, ко гробу своего благодетеля.)

Генерал только что вернулся из дворца и, не заходя к себе, навестил «бедного Платошу».

— Какое гнусное преступление,— вздохнул Рылеев.— Надо благодарить господа за новую милость и чудо. Печальные времена, матушка, печальные... Ну-с, теперь вы с Платошей, и я спокоен. Ничего, за битого двух небитых дают. А ведь тоже господня милость: на войне уцелел и нынче уцелел.

Генерал опять вздохнул, перекрестился и пожелал доброй ночи.

Платону было худо. Он лежал вытянувшись, плашмя, смежив веки. Он послушно принял снотворное и скоро забылся. Я зажгла ночничок, посидела рядом и вышла в соседнюю комнату, служившую Платону чем-то вроде кабинета.

Я смутно представляла круг братниных обязанностей, но домашних письменных занятий у него, помоему, не было. Однако я увидела письменный стол с серебряным слоном-чернильницей и оплывшими свечами. На этажерке красного дерева были брошены как ни попадя «Военно-технический указатель», книжки «Артиллерийского журнала», номера «Русского инвалида» и «Гражданина». У стены стоял низенький диванчик.

Платону услуживал молодой солдат. С робкой улыбкой деревенского увальня он подал мне чай, принес постельное белье казенного образца.

Я села в кресло у стола. Спать не хотелось: физическая усталь не одолевала нервного напряжения.

Я ничего не знала о халтуринском рукомесле в Зимнем дворце. Взрыв был мне неожиданностью. Он воскрешал в памяти оранжевый блеск вполнеба, долгий гул порохового склада в осажденной Плевне.

Громкость события была очевидна. Если револьверный выстрел тоже был пропагандой, то какой же пропагандой надо счесть динамитный раскат в чертогах русского царя?!

Много позднее я слышала: «Народная воля» создала силу из бессилия». Увы, это сказано слишком хорошо, ибо не только mot *, но и правда. Косность массы — отсюда бессилие заступников и должников народа.

Однако многие ли смогут из бессилия создать

* «Словечко», находчивая реплика (*франц.*).

силу? Самим создать, самим и опереться на нее. Вот как натуры, подобные Александру Дмитриевичу,— они были сами себе опорой. О нет, Михайлов был счастлив товарищами и счастлив в товариществе. Но их дорога не была усеяна розами — отсюда необходимость внутренней опоры на самого себя.

Да, силу из бессилия... Александру II, напротив, не достало сил для бессилия. У него не хватило мужества для трусости. Конституцию полагал он династическим бессилием, династической трусостью... Впрочем, такие соображения возникают потом, после, когда огненный факел начертал копотью: «Finita» *.

А в ту февральскую ночь, в ночь после взрыва... О чем думала, что чувствовала? Повторяю, сознавала громадность происшествия. Но была кровь... Кровь несчастных солдат лейб-гвардии Финляндского полка.

Я едва не захватила взрыв, я «разминулась» с ним на день иль два, потому что дочка княгини Долгорукой, девочка за японской ширмочкой, выздоровела.

Я сидела в кресле, позвякивая связкой ключиков, вставленных в ящик письменного стола. Потом так, без цели потянула ключики, ящик выдвинулся. Перочинный ножик, початая палочка шоколада, янтарный мундштучок... Мне хотелось курить, я взяла янтарь и опять потянула ящик — нет ли папирос? И взгляд упал на серо-голубой листок, узенький, с монограммой и короной листок, исписанный мелко-мелко, ровными строчками, и я сразу поняла, что это не почерк Платона.

Уверяю, я не намеревалась читать, хотя уже и прочла: «Madame!» — но дальше я вовсе не хотела читать. И не потому лишь, что заглядывать в чужие бумаги неприлично, а потому, что далеко была

* Finita la commedia — представление окончено (*итал.*).

мыслью, нашаривала папиросы. Но глаз как зацепился за слова: «Возник новый план злодеяния».

И... вот письмо.

«Мадам!

Я имел честь получить Ваш любезный, обнадеживающий ответ, переданный через мадемуазель Шебеко и нашего коллегу, облеченного полной доверенностью Лиги.

Клятва, связывающая меня, препятствует разъяснению многих положений. Однако некоторая осведомленность о тех глубоких и высоких чувствах, которые Вы питаете к Его Величеству, а также невозможность бесконтрольного обращения к императору дозволяют мне в нынешние опасные времена прибегнуть к милостивой посреднице, без колебаний полагаясь на ее скромность.

Итак, перехожу к сути дела.

Общество, пребывая в безмятежной дремоте, лишь прислушивается к глухим толчкам адского мира нигилистов, революционеров, социалистов — этих российских санкюлотов.

А между тем этот мир раздается вширь и бурлит на всю Россию. Он подобен нарастающему приливу. Его не остановил Трепов; он поглотил Мезенцева; он угрожает и другим особам.

Эти гнусные проявления, мадам, казалось, должны были пробудить определенную часть общества, но все ограничилось возгласами «о, боже», словечками «говорят, что» и незначительными мерами.

Но когда прилив нарастает, угрожая затопить престол, когда эта шайка предается разработке дьявольских планов покушений на жизнь Его Величества и посылает Соловьева с револьвером в руках, общество обязано во гневе пробудиться.

Увы! Оно остается безоружным, лишенным средств сопротивления. Меры полиции — это сплошной вред, ибо полиция — институт, где каждый только отбывает свою повседневную обязанность.

Что же делать? Как предупредить мятеж, революцию? Радикальная перемена или тупое выжидание?

И вот, мадам, в эту годину кризиса нашлось тринадцать человек, которые не впали в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности.

Я имею честь, мадам, принадлежать к этим тринадцати. Мы объединились против выродков рода человеческого. Мы поклялись, что никто и никогда не узнает наших имен. Мы торжественно обязались трудиться не покладая рук, дабы парализовать и уничтожить Зло, образовать железный круг, ограждающий Его Величество, и умереть вместе с Его Величеством, если Ему суждено погибнуть.

12 августа 1879 года мы основали Лигу, род ассоциации, управляемой тайно и неизвестной полиции, которой, впрочем, и без того многое остается неизвестным. Название нашей Лиги — Тайная Антисоциалистическая Лига (Т. Ас. Л.); наш девиз — «Бог и Царь»; наш герб — звезда с лучами и крестом в центре.

При желании, мадам, вы могли бы составить представление, хоть и смутное, о нашей Лиге, вспомнив общества франкмасонов.

Ныне у нас насчитывается около 200 агентов. Число их непрерывно растет во всех уголках России. Отмечу, мадам, что четверть наших агентов находится среди революционеров.

Сила ничего не может поделать с неуловимыми. Лига не прибегает к силе, но тем не менее споспеше-

ствует падению социалистов. Осторожность, с которой мы работаем, иногда мешает полиции задерживать лица, достойные виселицы. Мы предпочитаем действовать медленно, но верно.

Поэтому, мадам, Лига не присваивает себе права жизни и смерти, придерживаясь законов, установленных Его Величеством. Однако у нас есть «Черный кабинет», предназначенный для криминальных дел. И все ж подчеркиваю: мы хотим творить добро, не марая рук в крови.

Скажу, мадам, что ни Вы и никто иной в нашем круге не представляет ужасы нигилистской бездны. Чтобы понять, что там происходит, надо спуститься в жерло вулкана, готового исторгнуть пламя.

Спешу уверить Вас в своем уважении и в том, что моя жизнь преданного подданного принадлежит Вам и Его Величеству.

Великий Лигёр Б. М. Л.

P. S.

Будьте добры передать ответ через человека, который принесет это письмо, сказав: «Oui» *».

Мне стало тяжело и душно, будто меня с головой накрыли кислым овчинным тулупом.

2

Владимир Рафаилович, надо полагать, был немало озадачен, когда я столбенела в его редакционном кабинете, не объясняя, что мне нужно. Да и вправду, каким канатом потянуло меня в редакцию «Голоса»?

* «Да» (*франц.*).

Две ночи и день провела я у брата, в Мошковом. Приезжал обязательный Кох. Старательно, вдумчиво, словно боясь упустить еще и еще подробности, капитан повествовал о взрыве в Зимнем дворце.

Казалось, капитан испытывал некоторое мрачное удовлетворение. Наверное, в глубине души он считал, что взрыв во дворцовых покоях как бы снижал его, Коха, ответственность за прошлогодние выстрелы Соловьева. Ежели вы, господа, не разглядели злоумышленника, который так долго гнездился у вас под боком, да еще рядышком с дворцовым жандармом, то что там корить человека, коему приходится охранять государя среди уличной суеты или на площадях?!

О солдатах, убитых и раненых, я уже слыхала. Но обстоятельность капитана. Ах, эта педантичность...

Я видывала и передовые перевязочные пункты, и полковые лазареты-«околотки», и смрадные вагоны эвакуационных поездов. Но даже тот, для кого война — мерзость, преступление, гнусность и зверство, даже тот видит в жертвах войны неизбежное. А теперь, за мерным и твердым голосом Коха, для меня вставало иное. Совсем иное! Непереносимое и мучительное. Не потому, что в душе мгновенно, остро и больно возникло сострадание; это было мне знакомо и даже, пожалуй, привычно. Непереносимое и мучительное было в этом убийстве и калечестве ни в чем не повинных людей, называвшихся лейб-гвардейцами, убийстве и калечестве, которое принесли им люди, готовые, я могла в том поручиться, да, готовые хоть сейчас сложить свои головы за мужиков, но только не лейб-гвардейцев или просто армейцев.

И все эти доводы: нельзя, как ни печально, обойтись без жертв; подневольные хранители венчанного злодея стоят на пути, трагические столкно-

вения есть и будут; пока армия оплот произвола... Все эти доводы, о которых я знала и без прокламации Исполнительного комитета, не имели для меня никакого значения.

Значение имела только кровь. Не слово, которое пишут чернилами или типографскими литерами, нет, минуту назад живая и вот умирающая кровь, венозная или артериальная, выпущенная из жил, из рваного мяса. Она, и только она, имела значение.

Но было еще и письмо, прочитанное ночью, тайком, письмо, от которого волосы дыбом, и нельзя было говорить с Платоном об этом ужасном, странном письме неизвестного происхождения; нельзя было спрашивать не только потому, что брат страдал от контузии, не только поэтому.

Я понимала, что никто не сумеет мне помочь. И все-таки я кинулась к Владимиру Рафаиловичу. Почему? Зачем? Не знаю. Что-то давнее, наивное, беспомощное, детское. Так, наверное... Мы с ним поехали на Васильевский остров, и я осталась в госпитале Финляндского полка.

На моих руках кончился старик Свириденков, разводящий дворцового караула. Он узнал меня: я ухаживала за ним в «околотке», там, на чужой стороне. Вот мы и встретились два года спустя, на своей стороне. Он умер так, что я не уловила его последнего вздоха: словно задумался, сосредоточенный и суровый.

И в госпитале, где предсмертный хрип перемежался отходной, которую читал полковой батюшка, и потом в долгой многолюдной процессии, провожавшей на кладбище убитых и умерших от ран солдат, под это шарканье сотен ног на мерзлом снегу, осторожное покашливание и нестройное, то возникавшее, то утихавшее, пение «Святый боже» в сознании моем

разворачивалась строгая и печальная решимость уйти из фракции террористов.

Но куда?

Два месяца оставалось до экзаменов в Надеждинских врачебных курсах. (В апреле я получила наконец право самостоятельно практиковать.) Стало быть, уйти в медицину? Нет, не в беспечальное житье, а приняв обязанности в одной из лечебниц для бедных, учрежденных городской думой. Но и такой уход — уход в то, что теперь называют «малыми делами»,— был нравственно невозможен. Он выглядел бы отступничеством, больше того — изменой.

Однако «стан погибающих» не ограничивался «Народной волей», хотя она и вобрала в себя очень многих из прежних народников-землевольцев. Существовал «Черный передел», отрицавший террорную доктрину. В «Черном переделе» был Жорж, Георгий Плеханов... Но тут вставала препона, не имевшая решительно никаких объяснений ни в теориях, ни в уставах или программах. Тут обнаруживался мотив сугубо личный.

Об уходе своем или, лучше сказать, переходе я думала и решала, мысленно сторонясь Александра Дмитриевича. Я не видела его с середины января, и я не бросилась к нему после взрыва в Зимнем дворце. Я не хотела, я бунтовала: не дамся решать за меня!

Но ведь он-то, именно он, Александр Дмитриевич Михайлов, он находился в той фракции «стана погибающих за великое дело любви», которую я намеревалась оставить.

«Находился»? Как хило, слабо, как бледно сказано! Он был в организации, она была в нем. Поразительная слитность. Других примеров не знаю. Знала преданных, верных, убежденных, стойких. Но скво-

вил просвет, пусть тонкий, как волос, но просвет между своей личностью и той совокупностью личностей, которая и составляла организацию.

Умудренные опытами жизни, русские крестьяне видят в мужицком миру олицетворение общественной совести, высоких побуждений: «Мир — велик человек! Каждый порознь не может попасть в рай, а мира, деревни нельзя не пустить».

Вот так и Александр Дмитриевич в его отношении к организации... И опять — «отношение»: как это блекло. Нет, любовь не к отвлеченному, абстрактному, а к совершенно реальному, как бы и не к совокупности личностей, а к новой Личности, возникшей из совокупности: «Мир — велик человек!»

А я... я собиралась отколоться от этого «мира». И не боязнь Александра Дмитриевича, не боязнь его властного влияния (а оно было, нечего скрывать), нет, иное чувство понуждало меня сторониться.

Если сказать, что то было нежелание причинить боль человеку, которым я дорожила по-особому, совсем не так, как другими, если это сказать, то не выйдет ли, во-первых, навязывания Александру Дмитриевичу некоей детскости, а во-вторых, не покажется ли желанием преувеличить собственный вес в глазах Александра Дмитриевича? И все-таки именно нежелание причинить ему боль удерживало меня от объяснений.

Однако объяснение было неизбежным. Хотя бы о том, что мысль об уходе или переходе во мне возникала. Не могла я утаить это желание! Утаить и остаться — нет, невозможно.

Мысль об уходе в о з н и к а л а? Едва я подумала об этом в прошедшем времени, словно о чем-то, что б ы л о, но минуло, меня точно ударило: значит, ты

 допускаешь, что можешь и остаться? Ты не прием-

лешь террорную доктрину, террорные средства, но останешься — будь честна с собою — лишь потому, что есть террорист по имени Михайлов?

О-о, в таком случае, мадемуазель Ардашева, тебе цена пятиалтынный! И далека ли ты, нигилистка, от какой-нибудь барышни-смолянки? Да, да, не гневайся, матушка. Орхидеи из Смольного всегда обо-жа-ют царствующего. Каким бы ни было его царствование, одно знают — обожание.

Кто-то из прежних беллетристов, не помню кто, а повесть называлась «Монастырка», в детстве читанная, очень мило воспел институток. Да и у Гоголя они симпатичные. Так и ты, что ли, ждешь эдакой жалостливой симпатии?

Не дождешься. От Михайлова первого и не дождешься. Он при тебе говорил однажды, что только порок и слабость просят снисхождения, что есть скрытый эгоизм в расчете на снисхождение, которое унизительно, как для того, кто его ждет, так и для того, кто его оказывает.

И еще одно. Не определишь, вторичное ли. Потому не определишь, что все шло вперемешку, а не в тетради по линейке.

Я говорю о письме, прочитанном ночью, в Мошковом. Ужас был не в том, что чужая тайна. Что за домашние мерки! В мои руки попало конфиденциальное письмо заклятого врага. Вот и все. Даже в ту ночь, когда сделалось душно, когда ошеломила причастность Платона, я нашла силы переписать весь текст. Этого мало. Я переписывала по-русски, хотя будто и машинально. Но и в самой машинальности крылось намерение... Я не для себя переписывала. А потом... потом — опять: мой брат, мой Платон, какой стыд, какой ужас. Я брата любила, я очень любила Платона, и я знала, что он не мерзавец.

Была минута, когда я с вдохновенной радостью отвергла подлинность Антисоциалистической лиги. Господи, да это маскарад, фейерверк! Светские интриганы обо-жа-ют костюмированные балы. Вот и братец мой, дурачок, играет в игрушки: этот шутовской хитон в его гардеробе, хитон с каббалистическими знаками! Лоботрясы несчастные...

И такая была минута, но искрой, быстро угасла.

А Михайлов что-то не приходил в Эртелев. Он не давал мне новых поручений ни по закупке бумаги для типографии, ни по добыче кислоты для динамитной мастерской (я часто действовала по этой части, надевая платье сестры милосердия), не посылал с прокламациями или номерами «Народной воли», не просил встретить Н. Н. на Николаевской станции и принять маленький чемоданчик, каковой и доставить по такому-то адресу... Меня словно позабыли в моем флигельке, хотя я аккуратно выставляла на подоконнике знак безопасности — бронзовый, еще дедушкин канделябр в стиле Людовика XVI.

После наших поездок в Харьков и особенно в Чернигов я убедилась в его осмотрительности, всечасной осторожности, интуиции, чутье. Я уверовала в счастливую звезду Михайлова и не особенно тревожилась.

Однако теперь, прочтя в этом проклятом письме об агентах Лиги, «работающих» среди революционеров, я не могла не тревожиться. Правда, в том письме я прочла, что Лига не торопится выдачей полиции лиц, «достойных виселицы», но это не меняло дела.

У меня был адрес одной конспиративной квартиры в Кузнечной. Хозяина не назову, ибо он здравствует и поныне; хотя тетради мои предназначаются
 заветному портфелю, я не вправе упоминать этого

человека... Адрес его дал мне Александр Дмитриевич: «На крайний случай, Анна!»

На условный звонок мне отворил Л. (Обозначу так.) В комнате я увидела Николая Алексеевича Саблина. Мы были знакомы, но мало. Его привлекали еще по «Большому процессу», по делу 193-х. С той поры он скрывался, вел, как сам сказал, заячью жизнь. Родом, кажется, москвич, он редко показывался в Петербурге. После раскола «Земли и воли» Саблин тянул к чернопередельцам, но я ничуть не удивилась, увидев его в нашей народовольческой квартире. Разойдясь во взглядах и поделив партийные средства, старые народники не только не порывали дружеских связей, но подчас союзничали во всякого рода технических делах.

Саблина, однако, привели сюда не технические заботы. Он, оказывается, тоже «ловил» Александра Дмитриевича. Пригласил меня дожидаться вместе; улыбаясь, показал на стол с закуской и бутылкой вина:

— От Дворника может влететь. Надеюсь, управимся до него? С вашей-то помощью, а?

Саблин был элегантен не хрупкой, комнатной элегантностью, а какой-то крепкой, ладной. Пронзительно синеглазый, по-актерски бритый, он и напоминал актера. Он был весельчак или хотел им казаться, и это ему удавалось. Но сейчас, хотя и улыбался, хотя и принес вино, он отнюдь не глядел любителем выпить и повалять дурака.

Николай Алексеевич бросил на меня внимательный взгляд, налил вино, и мы пригубили — «за встречу».

— А я вот,— сказал Саблин,— исповедуюсь... Душевные невзгоды-с. Если не возражаете, продолжу? Стих нашел...

И продолжил:

— Да, устал. Устал от этой заячьей жизни. Слоняюсь как неприкаянный: от брата, он в «Русских ведомостях», в ресторанчик на Петровке, где богема, а из этого тухлого «Палермо» — к брату... Одна радость: Глеб Иваныч Успенский приедет...— Саблин посмотрел на меня, потом на Л. и покачал головой, точно сам себя осуждая.— Хорошо бы, конечно, в деревню податься. Да беда: о чем я с мужиком толковать стану? Совсем «обгорожанился», в крестьянстве ни бе ни ме.

— Но ты остаешься чернопередельцем? — спросил Л.

— Гм... По названию, что ли... Ну, скажи на милость, какая правильная деятельность возможна в деревне, ежели репрессии лавиной? Ну, а за «Хитрую механику», за брошюрку — в Сибирь? Не глупо ли, а? В деревне — тьма-тьмущая, там бы прежде школы завести, а меня, ей-ей, не влечет культуртрегерство.

— Что ты решил? — спросил Л.

Саблин помолчал, собирая и распуская морщины на лбу.

— Что решил... Знаете, как в струе кислорода горит? Вот так и сгореть.

— Постой, Николай Алексеич, ты что это?

— Эх, братцы мои, надо к сильным приставать. Хоть какую-нибудь пользу принесешь, а то ведь, право, лишний человек.

Я слушала все напряженней.

— Но вы, — сказала я, — вы не верите в террор?

Он взглянул на меня строго, совсем как бы и не по-саблински. Он будто колебался, говорить иль не говорить, но ответил без долгих слов:

— Нет, не верю.

Откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Не верю,— повторил негромко и твердо.

Я не сводила с него глаз.

— Ну, а в революцию тоже не верите?

— В революцию верю. Очень верю, Анна Илларионовна. Да только не в завтрашнюю и не послезавтрашнюю. Она невозможна, пока не созреет.

— Стало быть,— встрял Л.,— вот так, как ты: сел да и ручки сложил?

Саблин усмехнулся.

— На мой счет ты, брат, прав. Покамест прав... А если серьезно, то нынче России, знаете ли, кто необходим? Сеятели! Да-да, сеятели впрок. Как вот лес разводят. У них там, в европах: дед разводит, и не для себя, не для детей даже — для внуков. Это что? Расчет просто? Может, и расчет, да только и огромная культурная выдержка, вот что, господа. Нынче всех важнее — простой учитель. Вот так-то. Да-с, простой учитель, а не мы... Мы-то кто? Мечтатели, идеалисты! Если угодно, страстные художники новой жизни.

— Ну, так бери букварь и ступай,— сказал Л.

Саблин выпил один, никому не наливая, будто и позабыл про нас. И опять откинулся на спинку стула, но тотчас вскочил и быстро прошелся из угла в угол.

— А то-то и дело, что не могу...

Это «не могу» прозвучало почти страдальчески. Лицо Саблина не исказилось, нет, но на лице его словно бы появилось то, что называется маской Гиппократа. Он вдруг напомнил мне полковника Мещерского. Ни единой черты схожей, а напомнил, и я подумала: «Его убьют, непременно убьют...»

— Цеплялся было за мысль о личном благополучии,— сказал Саблин с горькой иронией.— Опять не могу, плюнул бы сам на себя. Не-ет, струя кислорода и сгореть. Последняя карта у террористов. И если она будет бита...

Он словно бы отступил в сумрак и задумался.

Мы с Л. молчали.

— И тогда? — спросил наконец Л.

— Тогда? Тогда на много лет все замрет. И постепенно, как, знаете, жизнь из пучины морей, постепенно опять возникнут споры о теории, кружки разные, потуги либералов сторговаться с правительством... Вот так, думаю, будет.

— Николай Алексеич...

Я будто позвала его, не обратилась, а именно позвала, и, наверное, что-то такое было в моем голосе, потому что Саблин вдруг улыбнулся мне, широко и легко улыбнулся.

— А не нытиком сделаться, а? И не стреляться. А коли и застрелиться, так чтоб хоть малый, а толк.

— И вы...

Он не дал мне досказать.

— Я к ним пойду.

— Не верите, а идете?

— Иного нет. А так-то что? Так оно и никчемушно.

(Минул год. Произошло первое марта. На Тележной улице жандармы брали конспиративную квартиру. И мужчина средних лет, как писали газеты, оказавшийся государственным преступником Саблиным, застрелился...)

Он шел к «Народной воле», а я уходила от «Народной воли». Он уходил от «Черного передела», а я шла к «Черному переделу». «Сеятели впрок нужны... Не могу»,— сказал он. А я? Я разве могла? Но

послушай, сказала я себе, ты вчера только, нет, ты еще час назад полагала, что и можешь, и должна?

Я встала.

— Куда вы? — удивился Л.

А Саблин не удивился.

— Она к н и м.

Л. не понял. Я поняла.

Они проводили меня в прихожую. Я просила передать Александру Дмитриевичу, что жду его у себя завтра, непременно жду, очень нужно, совершенно безотлагательно.

3

Шапку, бороду, каракулевый воротник, лацканы пальто — все запорошило крупными хлопьями. И снегом пахло от Александра Дмитриевича. Должно быть, он быстро шел — лицо горело. И должно быть, очень ему были по душе и эта шибкая ходьба, и снежные хлопья, и ветер, и конка. Он, наверное, хорошо, крепко себя чувствовал, физически хорошо, телесно крепко, радовался снегу, ветру, начавшемуся дню.

А я ощутила утреннюю нервическую вялость, душное, комнатное, дряблое. Я стала отворять форточки.

Он давал мне адрес Л. «на крайний случай», и мой давешний визит в Кузнечную, вероятно, казался ему странным, потому что какие уж «крайние случаи» могли приключиться с легальной Ардашевой, не связанной прямо и тесно с делами, по-настоящему опасными. А раз так, кой черт эта Ардашева заявилась к Л. поздним вечером? Уж не порывы ли сердца?

Такую вот «логику» я мысленно навязывала Александру Дмитриевичу, пока отворяла форточки,

а он отирал бороду и лицо. Предполагая такую «логику», я сама была алогична, потому что почти хотела, чтобы он подумал о «порывах сердца».

А Михайлов уже сидел верхом на стуле, как студент в курительной комнате, и уже извлек из кармана записную книжечку, словно готовясь изложить очередное поручение.

И эта прозаическая готовность укрепила меня в сейчашних мыслях: ну, понятно, его сиятельство в совершенной убежденности на счет моего вчерашнего посещения конспиративной квартиры. Того и гляди сделает выговор.

— Постойте,— сказала я, указывая на записную книжечку.

— А я ничего,— ответил он.— Я так, для себя... У вас тут, в соседнем доме, в крайнем подъезде отворили черный ход. Раньше-то был заколочен, а теперь — пожалуйста. А во дворе там стена низенькая, так что очень удобно. Вы это запомните: не ровен час, и пригодится. Не вам, так другому...

— Ишь ты, успели заметить? «В соседнем доме...» Я тут век живу, а не знала.

— Давно заметил. А нынче проверил... А заметил-то давно, еще в канун войны, когда вы в славянофильском кокошнике щеголяли.— Он рассмеялся.— Бывало, вас послушаешь, так на квас и бросает. Или ботвиньи возжаждешь.

Я не удержала улыбки.

— Буря промчалась? — спросил он.

— Нет, Александр Дмитрич, не промчалась...

И странно: я стала говорить, спокойно и ровно, будто читая, о солдатской крови, о госпитале на Васильевском острове, о похоронах... Я не следила за выражением его лица, глаз, а говорила, будто самой себе повторяя, и он не перебивал. Высказала все, что

накопилось,— о террорной доктрине, о террорной практике, о своем намерении тоже.

И ушам не поверила:

— Я рад, Анна, очень рад тому, что вы сейчас... Да-да, рад! Это тот ребеночек, о котором Достоевский: можно ли пожертвовать?..

Мне, право, не приходил на ум обжигающий вопрос романиста: дозволено ли пожертвовать одним-единственным ребенком ради всеобщей, всечеловеческой гармонии? (То есть, может, и возникал этот вопрос, да не в такой грозной наготе.)

Но Александр Дмитриевич ударил, что называется, по шляпке гвоздя. Я не имела в виду какого-нибудь Мезенцева или «старого одышливого человека», как Владимир Рафаилович называл Александра II. Нет, я именно о «ребенке», о взрослом ребенке, о «сером» мужике в лейб-гвардейском мундире, о том неизвестном мне полицейском стражнике, который умер от ран, причиненных нашими выстрелами близ Харькова, на тракте.

— Вот и говорю, что рад,— продолжал Александр Дмитриевич. Он уже спрятал свою книжечку, он уже не сидел верхом на стуле, а сидел у стола. Руки положил на стол, сплел пальцы в замок.— Да, рад,— продолжал он,— потому что нельзя нашему брату не болеть мыслью и совестью... Глеб Иваныч Успенский думает, что болезнь эта — повальная на Руси. Не так, к сожалению. А нам-то и впрямь нельзя... Ни вам, ни мне, ни одному из наших не обойтись... «Бей направо и налево» — это прочь. Переросли. И решительно не возьмем Раскольникова. Да и что он? Так, уродливая тень... Красивое стройное дерево, бывает, тень бросит — уродина уродиной. Но тень не дерево, зачем путать? Мы годы положили, стараясь мирно, вы и без меня знаете. И годы, и прекрасней-

шие души отдали. И не мы виновники кровопролития.

— Все это так, Александр Дмитрич. Есть воля обстоятельств, есть нечто, от нас независящее, есть цель святая. Все так. Да скажите вы мне, куда уйти от крови караульных солдат? Нет, скажите: куда мне, Анне Ардашевой, деться от крови одного Свириденкова?

— Какого Свириденкова?

Я объяснила: старый солдат, на войне встречала, разводящим был в день взрыва в Зимнем дворце. И прибавила:

— Вот вам и старый капрал из песни. Только не расстреляли, а мы с вами убили. Ну и куда мне теперь от этого деться? Не пятому, не десятому — нет, мне, мне?!

Глаза его, обыкновенно немного влажные, с влажным блеском, темно-серые, в ту минуту показались мне будто бы изнутри осушенными и словно бы иного оттенка, неуловимого, но иного. Он не смотрел так, как смотрит человек, погрузившийся в свои мысли, не отдалился, а, напротив, точно бы вплотную приблизился.

— Куда деться? — проговорил он изменившимся, но очень ясным голосом.— Некуда деться! На себя берешь. Потому берешь, что сполна заплатишь. Это там, у романиста, «необыкновенные люди», а мы — люди обыкновенные и заплатим сполна. И за Свириденкова тоже. Неумолимые обстоятельства, неизбежность — это все «чур, чур меня». Ими не отчураешься... Да мы уже и платим, с процентами платим.— Он помолчал.— Ирония мирового духа, по слову мудреца. Да, так-то: цель выбираем свободно, а путь лежит в царстве необходимости. Сполна на себя возьмем, а за расплатой дело не станет. Сказано: кровь

оскверняет землю. Но ведь и сказано: земля очищается от пролитой крови — кровью пролившего ее.

Он вышел на кухню. Фыркнул кран: должно быть, Михайлов пил из-под крана, хотя здесь, на столе, светлел графин, светлел стакан.

Александр Дмитриевич вернулся в комнату. На лице его не осталось и следа давешней уличной свежести. Не осунулся, не побледнел — пожух.

Я обняла и поцеловала его, он ответил мне поцелуем. Смущения не было, хотя было впервые; ни смущения, ни неловкости, ни робости — глубокая, торжественная серьезность.

— У нас, Анна, к тебе дело,— сказал он.

Я не ослышалась, а Михайлов не обмолвился: с этого дня мы были на «ты». И в этом тоже была глубокая, торжественная серьезность.

Он объяснил, какое дело. Именно то, что мне нужно. Ах, если б начать и развернуть! Начать, главное, начать...

— Когда можно?

— Сегодня. Я условился.

— Вот спасибо. Спасибо, что меня не забыли.

— Как забыть? — улыбнулся Михайлов.— Хоть ты и сухопутная, а все военная косточка, кавалерист-девица... Что с тобою?

«Военная косточка». Мне душно стало, как в ту ночь, в Мошковом, у Платона. А Михайлов, испуганный, недоумевающий, подал мне стакан воды. Я отвела его участливую руку...

Он прочел это письмо. Прочел, перечитал. Потом захватил бороду в кулак и так, словно у него ноют зубы, принялся молча ходить по комнате.

— Слушай,— волнуясь, сказал он, садясь рядом и беря меня за руки,— слушай, Анна... Ты представь: вдруг бы мне открылась возможнсcть попасть

в Третье отделение?.. Да нет, нет, господи ты боже мой, не так, как обычно... Служить! Представляешь, на службу! Ну, там каким-нибудь чиновником. А? Понимаешь?

Я в ту пору ничего не знала о Клеточникове, канцеляристе Третьего отделения, нашем ревностном ангеле-хранителе. Ничего я не знала, а Михайлов не мог, разумеется, открыть то, что ведали лишь в Исполнительном комитете, да и то не все.

— И ты б не задумываясь?

— Еще бы! — воскликнул Михайлов.— Да ни минуты бы!

— И я бы, Александр Дмитрич, тоже.

— Ну вот! Вот видишь...

— Уволь, не вижу.

Он осекся; он все понял.

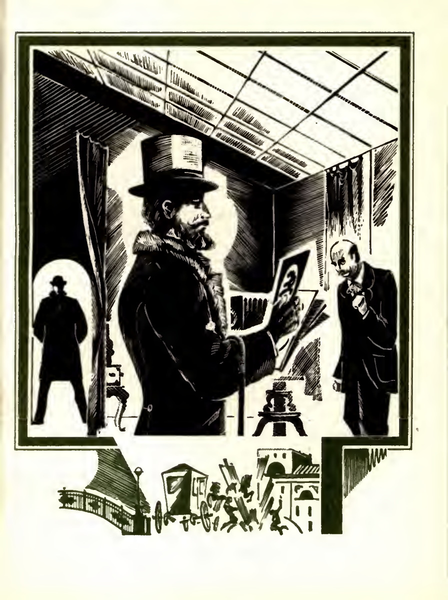
Э, нет, подумала я, нет, ты не молчи, ты сейчас вот и признай грубость, жестокость, нечаевщину этого проекта обратить меня в домашнего соглядатая, в домашнего перлюстратора. Мне, Анне Ардашевой, следить за Платоном Ардашевым?! Называй двойственностью, называй чрезмерным индивидуализмом, эгоизмом, а не хочу, не желаю, не буду.

И как топором замахнулась.

— Послушай, мы были в Киеве, у твоих Безменовых. Как бы ты поступил, если б тебе предложили за Клеопатрой Дмитриевной подсматривать?

Я знала наперед: ему не защититься. Он только что говорил: «Надо все на себя взять». Но все ли? И я опять как топор занесла:

— У ишутинцев, в шестидесятых годах, у них в организации, я слыхала, был некто из очень состоятельных наследников. Так этот самый некто хотел отца своего отравить и, получив наследство, отдать деньги революционерам.



— Аналогии...— пробормотал Михайлов.—Аналогии не доказательство...

— У меня хоть аналогии, — сказала я, — а с этим примером, насчет Третьего отделения, и аналогии нет.

— Но скажи... Но позволь спросить: важно ли, нужно ли нам, для всех нас, для твоих и моих товарищей, нужно ль проникнуть в тайны Лиги, в тайны лигистов?

— Нужно. Согласна, нужно и важно.

— Отлично. Кто может проникнуть, кроме тебя?

— Некому, понимаю.

— И вот... Ты не желаешь?

— Мерзко.

Он развел руками. Я никогда не видела его таким беспомощным. Он опять забрал бороду в кулак, точно зубы ныли, и опять принялся молча ходить.

Потом тронул мое плечо.

— Мне студент вспомнился,—сказал он мягко.— А тот, которого ты хотела разыскать. Меня-то еще просила навести справки...

Я сообразила, о чем он: про того студента, который взялся вывозить нечистоты; это еще на театре военных действий было, я писала в первой своей тетради.

— Да, — сказала я, — вот это и впрямь аналогия. И все же...

— Но ты сочла возможным и прочесть и переписать. — Он взглядом указал на лист бумаги, лежавший на столе.

— Безотчетное движение, Александр Дмитрич.

— А я полагаю, очень даже «отчетное». И благородное, не о себе думала.

— Пусть, — сказала я, — но где ответ? Как бы ты поступил? Я про Кленю, про Клеопатру...

Стоя, опершись обеими руками на стол, он склонил голову.

— Да, нелегко б пришлось, чего там. Вилять не буду: мерзко и тяжко. Но как не вывезти нечистоты, если эпидемия грозит?

Я не сдавалась. Он снова взял со стола бумагу, снова пробежал глазами. Прочел вслух:

— «Четверть наших агентов находится среди революционеров».— И будто у себя спросил: — Это сколько?

— Врет,— сказала я,— какие там полсотни...

— А если вдесятеро меньше, тебе спокойнее? А если и один?

Я молчала. Потом вспыхнула: условна мораль или безусловна? Нынче поступился, а завтра: «Отца отравлю!»

Михайлов трудно вздохнул.

— Видишь ли... Позиция у меня действительно шаткая. Я ведь не Филарет Дроздов.

— Кто, кто?

— А это еще при Николае, митрополит московский.

— Ну?

— Филарет «Катехизис» составил. Пятую заповедь «расширил», а шестую «сузил».

— То есть?

— Где чти отца и матерь, прибавил «и власть», а из шестой, где «не убий», изъял войну и смертную казнь. Я не Филарет, и у меня язык не повернется...

— А если у **меня** «повернется»? Одобришь? С радостью одобришь?

— Без радости, Анна.

Мы ходили в замкнутом, железном кругу.

Мне показалось... Очень смутно, едва-едва, тенью,

 но мне показалось, что он будто б несколько со-

жалеет о своем давешнем: «А у нас, Анна, к тебе дело».

О, я и не предполагала, какие сомнения будут отныне изводить меня.

4

С Александринским театром рядом, в доме семь, были меблированные комнаты, опрятный и сравнительно недорогой приют женской молодежи, консерваторок и курсисток.

К Александринскому, в меблирашки, я направилась с нетерпеливым желанием поскорее приступить к делу.

Оно, это дело, по-настоящему радовало и бодрило меня, отвечало моим помыслам, но сверх того мне казалось, что оно поглотит, как губка, то, другое, связанное с Платоном и тайной Лигой, поглотит, и все как-то там увянет, захиреет, предастся забвению. И хотя я сознавала, что так быть не может, а все ж надеялась на какое-то избавление и ждала его от Александра Дмитриевича. Ведь он сказал: «Подумаем...» Опять-таки я знала: думай не думай, а, кроме меня, некому развязывать этот внезапно возникший, па мою беду, узел; знала, конечно, но ведь он сказал: «Подумаем...»

Было пять пополудни. Огни еще не зажглись. У нас в Петербурге, особенно в феврале, сумерки не текут легко и плавно, а точно бы давят, сплющивают, как, наверное, нигде в целом свете.

Александр Дмитриевич наказал: «Спросишь Зотову, Ольгу Евгеньевну Зотову». А мне и не пришло в голову, что я знаю некую Зотову, записавшуюся на Надеждинские врачебные курсы; да, собственно, я и не знала ее толком, а лишь мельком видела и слышала: «Новенькая. Из Крыма».

Мне отворил мальчишечка — худенький, бледненький, черненький. Ничуть не робея, сообщил, что мама вышла на минуту, а дядя Коля скоро приедет, а я должна сесть у окна и глядеть, как воробьи клюют крошки, которые он, Андрюша, только что высыпал через форточку. Все это было сказано с той серьезностью, какая бывает у болезненных детей, привычных к постельному режиму и одиноким размышлениям.

— Как ты в форточку-то? А горло?

— Я надел шапку, шарф и варежку,— обстоятельно объяснил мальчишечка.

— А пальтецо?

— У меня нет «пальтецо», у меня есть пальто, но я его не надевал, высовывал только руку.

— Ишь ты,— рассмеялась я,— какой ты, однако, солидный.

Воробьи у него были «крещеные».

— Вот этот, видите? Это — Попрошайкин. Стучит, стучит, стучит, пока не дам крошек. А вот — господин Мазурик: у всех ворует; боком, боком — и украдет. А вон тот, с краю, видите? Его зовут — Ко-Ко, он сейчас засмеется...

— Разве воробьи смеются?

— Да, этот воробей смеется,— серьезно и тоненько говорил мальчишечка.— Он, как мой дядя Коля, смеется: голову поднимет, носик поднимет — и смеется.

— Это какой дядя Коля? Который скоро приедет?

— Нет, он в Симферополе. Другой дядя Коля приедет. Он мне шапку обещал.

— Да у тебя есть шапка.

— Извините, я не так сказал. Не шапку, а фуражку. Матросскую фуражку.

— О, это замечательно, правда?
— Нет, не замечательно, потому что их бьют.
— Кого «бьют»?
— Матросов. Разве вы не знаете?
— А ты-то откуда знаешь? Кто их бьет?
— Дядя Коля говорит. Офицеры бьют, вот кто.
— А он матрос?
— Нет, лейтенант.
— И он тоже бьет?

Мальчишечка ответил еще тише и еще тоньше:
— А вы нехорошая, тетя. Вы плохая.

И он решительно отодвинулся от меня. Я пыталась возобновить диалог. Не тут-то было, Андрюша молчал, и я чувствовала неловкость от этого осуждающего и даже как будто презрительного молчания маленького, худенького, тонкоголосого мальчонки.

Потом, когда я стала часто бывать у Ольги Евгеньевны, Андрюша, пожалуй, несколько смягчился, но все равно его расположением я не пользовалась, и, правду сказать, меня это огорчало.

(Отец Андрюши содержался тогда в Симферопольской тюрьме или уже был сослан в административном порядке. А симферопольский дядя Коля, Николай Зотов, которого я никогда не видела и который, очевидно, смеялся, запрокидывая голову, этот Зотов недавно, в конце восьмидесятых годов, казнен: он участвовал в восстании якутских ссыльных...)

Пришли они вместе, встретившись на лестнице: Ольга Евгеньевна, бледненькая и тихоголосая, как и ее мальчишечка, Александр Дмитриевич и «дядя Коля» с обещанной матросской фуражкой.

Мы обменялись с ним улыбками, и это не ускользнуло от Александра Дмитриевича.

— О-о, да вы знакомы? — В голосе Михайлова слышалась легкая досада.

Я знала, что́ сие значило: он был недоволен собою; всякий раз, обнаружив какое-либо обстоятельство, пусть и мелкое, но которое, как ему представлялось, он обязан был заранее знать и брать в расчет, Александр Дмитриевич и досадовал, и сердился на себя.

— Да, знакомы,— весело отвечал Суханов,— у нас общие знакомые... Впрочем, если не ошибаюсь, милейший старик вам больше, нежели просто знакомый? — добавил он, приветливо глядя на меня.

— А я догадываюсь, сын его, Рафаил, для вас-то, Николай Евгеньич, не более чем просто знакомый и сослуживец?

Суханов как бы поскучнел.

— Мы очень дружили, но потом... Боюсь, Рафаил Зотов сделается для меня всего лишь однофамильцем сестриного мужа.

Во все время нашего разговора Александр Дмитриевич не проронил ни слова, устраивая вместе с сестрой Суханова скромное застолье. Ясно было, что вряд ли стоит развивать «зотовскую тему» и что Михайлов совершенно не желает признавать свое знакомство с «милейшим стариком».

Андрюша не спускал глаз с бескозырной фуражки, на черной ленте которой мерцало — «Чародейка». Ольга Евгеньевна чувствовала, что Андрюша стесняет взрослых и они медлят серьезным разговором. Она попросила сынишку поскорее отужинать, спуститься этажом ниже, к Ванюше, и показать соседу эту фуражечку.

— Только скажи ему, Андрюша, что «Чародейка» — корабль, дяди Колин корабль...

— А то Ванюша подумает, что это сказка такая, — добавил мальчишечка.

 И все рассмеялись.

Николай Евгеньевич ласково взял двумя пальцами ухо племянника.

— Надеюсь, китоловом будет...

Ольга Евгеньевна грустно улыбнулась.

— Это что? — без особого интереса осведомился Александр Дмитриевич.— Добыча, что ли?

— Старая история, господа, но со смыслом. Так сказать, показанье барометра... Это, знаете, в военных училищах тогда кружки возникли. И у нас в Морском училище тоже. Был у нас воспитанник Луцкий, Владимир Луцкий... Давно пропал, исчез. Я б дорого дал, чтоб узнать и помочь... Так вот, Луцкий кружок создал. И я встрял. Было нас, незрелых радикалов, душ двадцать. Нет, больше — около тридцати. Ну-с, Чернышевский, Флеровский, Лассаль — вот чтение, вот предмет диспутов. А ярыми нашими противниками — балбесы «бутылочной компании», отчаянные кутилы. Они нам шпиона подсунули — Хлопов такой у нас был: круглая посредственность, но все пыжился казаться и умным, и проницательным. Гордился родственником — жандармский генерал. А яблочко от яблони, сами знаете... Этот-то Хлопов и донес. Нас — в карцеры. Училище гудит: ониде хотели царскую фамилию вырезать... Сидим в карцерах. Все двери — в общую комнату. Там старик сторож, серьга в ухе, чуть ли не нахимовский боцман. В восемь-девять вечера офицер обходил владенья свои. И — тихо. Тут-то, по старинному обыкновению, устраивался в складчину товарищеский ужин. Само собой, львиную долю получал боцман с серьгой. Зато отворял двери, и все мы, как из куля, вываливались из карцеров в комнату.

Поначалу, сгоряча никакой испуг нас не брал. Куда-а-а там! Будущее рисовалось романтическое: для прочтения приговора повезут в Кронштадт, на

фрегат, как возили моряков-декабристов, а потом пойдем в каторгу... Однако день, другой — нас допрашивают, настроение переменилось, дух упал.

Вот тут-то меня и осенило. У нас тогда по рукам ходила интереснейшая книга про северные края: китобойный промысел, сокровища темных, холодных морей, полярное сияние. А что, думаю, не объявить ли наш кружок обществом будущих китобоев? На очередном ужине докладываю: давайте-ка, братцы, одного держаться — дескать, решили создать корпорацию китобоев и после училища заняться промыслом. Общий восторг, общая поддержка. Быть по сему.

Уловка, разумеется, пренаивная, но удалась вполне. Дело-то в том, что дознанием занимались морские офицеры, а не «голубые». А нашим-то дядькам-черноморам не с руки выносить сор из избы, самих по головкам не погладят. Очень они возрадовались: ах вы китобои эдакие, шельмы-шалунишки и так далее. Словом, спрятали дело в долгий ящик. Вот так-то. — И, улыбнувшись племяннику, Суханов спросил: — Ну, китобой, готов?

Андрюша встал, шаркнул ножкой, поблагодарил маму и только потом ответил тоненько:

— Я китов не буду бить: они добрые.

— Почему добрые?

— А потому что большие.

И тихонечко ушел.

— Н-да-с,—весело оборотился Михайлов к Николаю Евгеньевичу, — а вы, однако, ловко придумали с этими китобоями. Эвон с какого времени «государственный преступник»!

— Это не так, — возразил Суханов. — У меня после нашей истории всякий интерес к политике пропал. И почему, хотите ли знать? А потому, что пришлось лгать.

— Кому? Начальству? — Михайлов улыбался. — Офицерикам в роли прокуроров?

— Да, — сдержанно ответил Суханов.

Михайлов рассмеялся.

— Совсем по-детски, а лучше сказать: по-кадетски.

Я видела — Суханову неприятны слова Михайлова. По-моему, Александру Дмитриевичу изменил такт. Суханов был из тех, кому ложь вообще претит. Даже «ложь во спасение».

— И вовсе не по-кадетски, — вступилась я.

Михайлов быстро обронил:

— «Старинный спор славян между собою...» — И перевел взгляд на Суханова: — А Желябов с Перовской уверяют, что вы совершеннейший политик. Да и я, грешным делом, так полагаю.

(И Перовская, и Желябов, будучи крымскими, знавали «таврических» Зотовых, знали и Ольгу Евгеньевну, а с братом ее сошлись уже здесь, в Петербурге.)

— Политика... — Суханов покачал головой. — О, я бы с наслаждением занялся наукой. Меня физика влечет. Я б в университет пошел... И знаете, может быть, мне это удастся... Не-ет, я бы политику за борт, если бы...

— То-то и оно — «если бы»... Не вы один, Николай Евгеньевич. Это «если бы» вот где у нас сидит, — и Михайлов похлопал себя по шее. — Я не уверен, рождаются ли политиками... — И он как бы вдруг повернул разговор — спросил, не сохранились ли у Суханова связи с бывшими «китоловами»?

В этом «повороте» был Михайлов — быка за рога, практические рельсы: надежные люди, кто с кем в дружбе, на кого и в каких пределах можно рассчитывать и т. д.

В тот памятный вечер началось для меня желанное дело, о котором утром сообщил Михайлов и которое я продолжала и после его ареста, и после первого марта, уже без Михайлова, без Желябова.

Дело было пропагаторское. Но может быть... Нет, наверное, оно бы не было для меня столь желанным и столь захватывающим, когда б пропагаторство не поручили мне именно в военной среде.

В первой тетради, где у меня театр военных действий, я писала, что мы, народники, поглощенные Россией деревенской, отчасти городской, мы как бы забывали Россию казарм, плацев, гарнизонов, округов. На театр военных действий, пусть и тонюсенькой струйкой, просачивалось нелегальное, но прямого обращения к военным людям не было.

Смешно видеть во мне, третьестепенной, апостола нового направления пропагаторства. Я знала о студенческих кружках и о рабочих, знала, что Исполнительный комитет намерен множить их, сколачивать филиалы в предместьях Петербурга и не только Петербурга, да так оно и было несколько позже, и все это меня радовало, сказать честно, больше выстрелов Соловьева или динамитного подвига Халтурина.

Да, знала и представляла, но идея работы в войсках, в военной среде так и не явилась. Все для меня заслонялось кровью, солдатской кровью, пролитой дворцовым взрывом.

А тут приходит Михайлов и говорит о подготовительной деятельности партии, об инструкции Исполнительного комитета, которая тогда, весною восьмидесятого года, начала обсуживаться в нашей среде, говорит о разделе, озаглавленном: «Войско», об огромном значении армии, о том, что надо обратить пристальное внимание на офицерство, и т. д.

 Слышу, принимаю с восторгом, как воскресение

принимаю. Но — хочу оттенить — поразила меня не прозорливость стратегов, не прозорливость, скажем, Михайлова или Желябова или кого-то третьего. Для меня прежде всего и раньше всего была тут единственная возможность уменьшить кровопролитие.

Господи, думала я, вот она, единственная возможность, единственное средство: чем больше военной публики проникнется идеалами социализма, тем меньше жертв. И теперь, и в будущем. Не партионная, даже не вообще революционная целесообразность меня захватила и покорила, а возможность, так сказать, уменьшить число лейб-гвардии финляндцев, таких, как несчастный Свириденков.

Правда, инструкция Исполнительного комитета не возлагала особых надежд на нижних чинов, а уповала на популярных офицеров, но я на войне видела — командир, любимец роты или батареи, всегда повлияет на подчиненных.

Правда и то, что Николай Евгеньевич даже и «популярных офицеров» не брался тотчас, с порога «определять в революцию».

— Хулят многое,— говорил он,— порицают правительство. Но позвольте отчеркнуть: правительство никогда не отождествляют с царем. Да и само-то недовольство похоже на брюзжание. Определенности нет, ясности нет... И вот что еще. Военные традиции исключают... Ну, так, что ли: исключают тайное убийство. Нечто рыцарственное.— Он усмехнулся.— Хотя, как известно, эпоха рыцарства полнехонька тайными убийствами. Но, как бы ни было, офицера коробит тайное уничтожение врага.

— Да к этому их и не приглашают,— хмуро заметил Михайлов. Он помолчал, глядя в сторону, и сказал: — Напрасно полагать, что невоенным сей способ по душе, по свойствам натуры.

— Я не о том,— поспешно и словно извиняясь проговорил Суханов.— Я не о том, помилуйте... Поначалу надо «слить» правительство и царя, доказать — они заодно. И главное: Россия и царь не тождественны. И тут большая, упорная ломка сознания нужна.

— А по-моему,— сказала я,— по-моему, вообще следовало бы начинать с другого конца: поднимать нравственный, умственный уровень, выяснять долг перед народом, цели революции...

Суханов не спорил. А Михайлов все-таки добавил:

— Согласен. Да и ты согласись: наиболее сознательных *теперь* принимать в партию.

Я пожала плечами: дескать, если таковые наличествуют.

— А ты вот осмотрись, приглядись, твое дело.

— Ну что ж,— улыбнулся Николай Евгеньевич,— милости просим в Кронштадт. Оля переедет ко мне с Андрюшкой, вот вы и навещайте, вполне удобно...

Коренная петербуржская, я в Кронштадте не бывала. Да, пожалуй, и большинство петербуржцев не бывали в Кронштадте, разве что смотрели издали, из Петергофа или с Лисьего носа.

Кронштадт не место для прогулок. Он невзрачен, от него веет казенным, уставным. Он повит и туманом, и моросью, и дымом. В Кронштадте жить зябко.

Первое, что мне там бросилось в глаза,— это необыкновенное товарищество. Положим, и у сухопутных офицеров развита корпоративность. Но, во-первых, я сужу лишь по театру военных действий, а во-вторых, послевоенное дружество, хотя бы в кругу моего брата Платона, быстро разъедалось карьерными соображениями.

Во всяком случае, если бы Платону пришлось
 принимать на хлеба свою сестру, сильно сомнева-

юсь, чтобы кто-нибудь из его приятелей взял на свое имя деньги в ссудо-сберегательной кассе. А для Суханова, когда Ольга переехала к нему в Кронштадт, на Большую Екатерининскую, моряки взяли несколько сот рублей.

Вторая моя замета: моряки оказались отнюдь не такими запивохами, которыми пх рисует молва; да и сами они, кажется, не прочь прихвастнуть питейной лихостью. Между тем в доме Суханова, где офицеры сходились во множестве и часто, там не бражничали.

И еще одпо: любовь к серьезному чтению. Не берусь судить о старших офицерах — общество Николая Евгеньевича составляли одногодки и погодки,— но у этих-то лейтенантов и мичманов она обнаруживалась без труда. Разумеется, морское дело с его техническими новинками того требовало, однако интересы были значительно шире.

Словом, публпка пришлась мне по сердцу. Было в ней свежее душевное здоровье. И не было фанаберии, рисовкп. Не стану опять-таки называть имена, обозначая отдельных людей с их характерами и особенностями: многие поныне здравствуют, а многие из этих многих, может, и лихом поминают свое тогдашнее умонастроение.

Суханов был прав: правительство порицали, военное и морское министерство тоже — поглощают греть государственного бюджета, народные кровные денежки. Суханов был прав: царя не трогали. Его имя не упоминалось, и в этом умолчанпи явственно ощущались почтительность, нечто сыновнее, с молоком матери переданное. «Ясности нет»,— точно определял Николай Евгеньевич.

Если народ, русский народ признавался великим, могучим, достойным лучшей участи, то про мужиков

в форменном платье можно было услышать и такую, с позволения сказать, формулу: «Конечно, с командой следует обращаться хорошо, по справедливости. А только, извините, насчет чувств матроса — это фантазия. У матроса, поверьте, и понятия другие, и чувства другие, чем у вас».

И все-таки с такой публикой, как товарищи Николая Евгеньевича, отрадно было заниматься пропагаторством. И не потому лишь, что почва благодатная, а еще и оттого, что жила неколебимая уверенность: убедившись, с дороги не сойдут.

(Теперь я понимаю, что всех мерила по Суханову. А во многом сходстве таилось и громадное несходство: таких, как Николай Евгеньевич, на монетном дворе не чеканят.)

Итак, я бывала в Кронштадте. А в мае, перед началом навигации, воспользовавшись всеобщим кронштадтским «разгулом», ездила к морякам с Андреем Ивановичем Желябовым.

Вот кто был прирожденным пропагатором: как слушали Желябова, не слушали, а внимали! Не в обиду будь сказано Александру Дмитриевичу, он бы так не сумел.

А я и не скрыла, я сказала, и у Михайлова, кажется, даже сентиментальная слеза навернулась. «У, большой человек мира сего,— произнес Александр Дмитриевич с нежностью,— не обидел бог талантами!»

К моим кронштадтским паломничествам он не терял пристального интереса. И все домогался: кого из моряков следует, не мешкая, приобщить к партии?.. В сущности, я молчаливо держалась линии, о которой говорил Саблин на конспиративной квартире в Кузнечной: «Нужны сеятели впрок». А Ми-
 хайлов зорко высматривал: нет ли зрелого колоса?..

Весною моряки ушли в плавание. Для Николая Евгеньевича оно было последним. Осенью его мечта осуществилась: Суханова прикомандировали к Гвардейскому экипажу, расположенному в столице, и разрешили слушать университетские лекции из физики. Он оставил Кронштадт и поселился вместе с Ольгой и племянником в Петербурге, на Николаевской улице.

Он-то Кронштадт оставил, да его не оставили кронштадтские: у Суханова была наша, военная, народовольческая штаб-квартира. Михайлов редко показывался на Николаевской, Желябов с Перовской — часто. Мой «недруг» Андрюшечка не слезал с колен своего бородатого, плечистого тезки, и я замечала, какими глазами смотрел Андрей Иванович на серьезненького и легкого, как перышко, мальчишечку. Я и не знала, что где-то на юге живёт другой Андрюша, сын Желябова...

5

Платон выздоровел. Иногда разыгрывалась мигрень, но в общем отделался счастливо, если не обращать внимания на странность: Платон стал мнителен, как салопница.

Брат и стеснялся, и трунил, однако нет-нет да и подступал ко мне за разного рода медицинскими справками. Какой болезни он опасался? Диагностировать затруднительно.

Брат просил не оставлять его на ночь в казенной квартире. Я осторожно сослалась на привычку к своему месту. Он обиженно повторил просьбу.

Я отнекивалась не из кошачьей привязанности к Эртелевому переулку. Меня страшил квадратный кабинетик, письменный стол со связкой звенящих ключиков.

Михайлов не заводил речь о Лиге и лигистах, о письмах к «мадам». Он счел за лучшее предоставить меня самой себе. И, кажется, интересовался лишь кронштадтским пропагаторством. Но стоило заикнуться о том, что, пожалуй, было бы хорошо в интересах дела обосноваться в Кронштадте, как Михайлов обеспокоился.

— Стало быть, умываем ручки?

Я вспыхнула:

— Еще не запачкала, чего умывать!

— Так, так... Дворянский кодекс.

— Осмелюсь доложить, эти вот ручки...

Он понял, но не уступил.

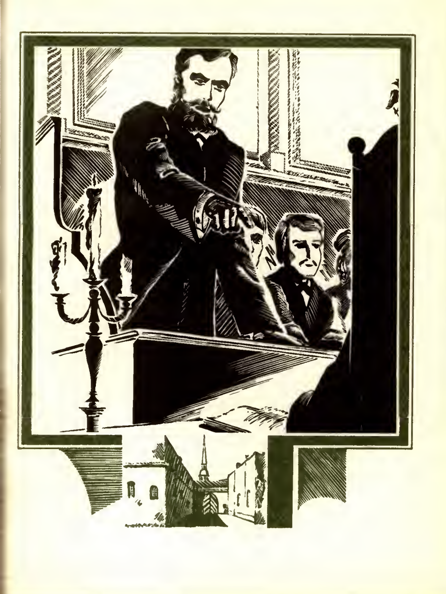
— Между прочим, Анна Павловна Корба тоже, знаешь ли...

Я покраснела. Не потому, что мне вроде бы указали на место, а потому что было произнесено: «Анна Павловна Корба...»

Да, она тоже работала сестрой милосердия; правда, ей не пришлось ездить дальше Бухареста (я мельком упоминала о нашей встрече с нею и Розой Боград-Плехановой), но тут дело было не в этом.

В Петербурге я видела на сходках Анну Павловну. Она порвала с мужем, инженером-швейцарцем, перешла на нелегальное положение, все мосты сожгла. Не скажу, была ли Корба уже тогда членом Исполнительного комитета, но, во всяком случае, сразу заняла видное положение в организации. Но опять-таки не в этом дело.

Не могу трогать струну совершенно интимную, хотя давно она умолкла, давно отдрожала. Но только вот что: не следовало Александру Дмитриевичу язвить меня упоминанием об Анне Павловне. Не следовало заставлять краснеть при этом имени, я тут со-



всем запуталась, а кому это приятно, кого не унизит...

(А потом, когда Михайлов ушел, я с непоследовательностью человека, не желающего утрачивать надежду, подумала, что Александр Дмитриевич достаточно деликатен и проницателен, чтобы... Словом, подумала, что он не стал бы упоминать об Анне Павловне, если бы их связывали какие-то экстраординарные отношения, а коли таковые и возникли, то разве лишь у нее, но не у него.)

Покраснев, я ответила что-то не совсем вразумительное: дескать, Анна Корба — это Анна Корба, а Анна Ардашева — это Анна Ардашева.

— Не понимаю,— пожал плечами Михайлов,— отказываюсь понимать. И это в такое время, когда наших близких друзей...

Конечно, он имел в виду судебный процесс над Ольгой Натансон, над доктором Веймаром, о котором я часто и с болью вспоминала, над Малиновской, Ковалик... В те майские дни их судил военно-окружной суд.

— Надеюсь, мне еще не отказывают в сочувствии к подсудимым?

— У тебя... У тебя невозможный тон, Анна.

— Но Лига-то здесь ни при чем, Александр Дмитрич.

— В чем «ни при чем»?

— В арестах Оли, Веймара и других.

— Пусть... Впрочем, не определю, где кончается полиция и где начинается эта Лига. Но — пусть. Однако как можно спать спокойно, коли в том письме об агентах в нашей среде? — Он опять пожал плечами.— Не понимаю.

Если б он знал, как «спокойно» я сплю у Платона, в этой казенной квартире. Если б он знал, как

меня тянет словно бы по карнизу скользнуть, точно бы свеситься над обрывом. Ничего он не знал...

Между тем брат, несмотря на свою медицинскую озабоченность, уже исполнял адъютантские обязанности или пропадал у кн. Мещерской на Английской набережной.

Платон был переполнен дворцовыми новостями, толками и пересудами. Послушать его, так вот уж где «кипенье». Но слушала я терпеливо. Александр Дмитриевич убедил не отмахиваться небрежно. Он напомнил, как я некогда определяла, в каких случаях и в какое время отворяют ворота тюремного госпиталя, где содержался кн. П. А. Кропоткин. А теперь, утверждал Михайлов, из вороха дребедени, составляющей жизнь придворной сволочи, можно извлечь коечто полезное. Ну, скажем, исподволь установить повторяющиеся маршруты царских выездов. Не случайные, а более или менее постоянные. Да и мало ли еще что?!

Не приходилось гадать, куда клонит Александр Дмитриевич. Член Распорядительной комиссии, ядра Исполнительного комитета, Михайлов многое наперед копил и приберегал.

Еще не было наших наблюдателей, которые едва ли не тщательнее самого капитана Коха следили за низкой, новомодной, сине-черной каретой с зеркальными окнами, а Михайлов уже хотел прикинуть маршруты царских разъездов.

Нынче, перебирая копии лигистских писем, я была изумлена одним обстоятельством, на которое прежде не обратила внимания, а Михайлов, оказывается, тотчас выставил мысленное «запомни».

В первом из обнаруженных мною лигистских посланий к Юрьевской упоминался манеж и близлежащие к нему здания, опасные как пункты, где возмож-

но нападение на царя. Спустя некоторое время Михайлов осматривал полуподвал на Малой Садовой в доме графа Менгдена. И вскоре началось устройство минной галереи — именно на пути к манежу.

Да, нечего было зевать и потягиваться, а надо было памятливо слушать Платона, хотя брат и городил массу вздора.

Он был из юрьевской партии, находился, можно сказать, в центре всего, что вихрилось и ползало вокруг «Екатерины Третьей».

Ползало, например, такое: некий-де старец лет двести назад предрекал безвременную кончину тому из Романовых, кто женится на Долгорукой.

А вихрилось, например, такое: Долгорукая-Юрьевская во всем потакает Лорису, всячески упрочивает положение графа, дабы установился конституционный образ правления...

О, эта пресловутая «конституция», этот обольстительный мираж. Он затуманил немало голов и тогда, и много позже; да, кажется, и поныне о нем вздыхают.

Я не о том, что Лорис намеревался присобачить жалкую заплату на вшивом и ветхом кафтане нашей государственности. Я о тех, кто костил народовольцев: едва, мол, повеяло подснежниками, как михайловы-желябовы поспешили покончить с царем. И — «психологический» пассаж: потому и поспешили, что свое реноме спасали — куда б они делись, озари отечество солнце лорис-меликовской конституции!

Чего больше в подобных суждениях: заднего ума или незадней глупости? Во-первых, михайловы-желябовы ни в грош не ставили «конституцию», высочайше дарованную. Во-вторых, предполагать в титанической подготовке 1 марта тщеславие революционе-

ров — значит поверять их духовную глубину собственной духовной мелкостью. И, в-третьих, таковые порицания обнаруживают в порицателях либо короткую память, либо «длинное» невежество.

Я как-то видела одного писателя. Побежками, вразкачку он передвигался по зотовскому кабинету, неряшливо и никчемно хватая все, что ни подворачивалось под руку,— карандаши, книги, пепельницу. И говорил, говорил, говорил, не давая вставить слово: «Да поймите, поймите, ведь тут что было? А ничего тут, у этих Михайловых, у этих Желябовых, ничего и не было, кроме страха ореол утерять, а куш не сорвать! Да, да, да! Неужели не понимаете? Лорис бы ввел конституцию — из «Народной воли» пшик. Что дальше делать? Куда со своим героизмом, со своим честолюбием деваться? А? Понимаете? Все просто, все очень, очень просто!»

Писатель говорил с безоглядной самоуверенностью, нет, не наглой, а как бы простодушно-доверительной. Он говорил о прожектах Лорис-Меликова так, словно читал их, словно вникал в них. Пожалуй, он искренне думал, что углядел нечто, от других ускользнувшее. И ему это льстило, он раскачивался и дергался, он открывал «ларчики», такой безыскусный, такой прозорливый.

Диалектик я никудышный, возражения и доказательства выскакивают позже, на лестнице. Но тут коряво тронули боль мою, и я с холодным бешенством спросила: известно ли ему, что было в России, что было с Россией — о, нет, не «вообще» в те годы, а точно и конкретно — летом, осенью, зимою восьмидесятого? Писатель фыркнул, да и припустился в другую сторону — не то о Байроне, не то о Будде...

Восьмидесятый год был голодный, неурожайный,
 бедственный, год крестьянского недовольства. Все,

казалось, назрело. Это-то и понуждало торопиться! Ведь бомба в государя мыслилась не только возмездием, а гулким, на всю Россию, сигналом восстания, повсеместного переворота. Не оправдалось? Но, помилуйте, причем здесь тщеславие, честолюбие?..

Что до моего брата, то его не особенно трогали «конституционные веяния». «Весьма возможно,— сочувственно улыбался Платон,— весьма возможно, княгине Екатерине Михайловне хочется каких-то конституционных установлений. Бедная женщина думает лишь о том, что они избавят любимого от посягательств динамитчиков. Но государь,— и Платон грозил пальцем,— государь не допустит, не согласится: конституция — конец династии, а конец династии — конец России...» Я кивала на Францию, на Англию, которым «конец» не пришел. «Россия без царя во главе, что человек без царя в голове»,— как каблуками отщелкивал Платон, и вся недолга.

Лорис-Меликова Платон находил смелым, добрым, преданным Юрьевской, однако недостаточно энергичным. «Граф Михаил Тариелович не из тех, кого можно назвать железным». А в ответ на вопрос, кто именно «железный», Платон лишь многозначительно присвистнул.

Порой меня удивляла его открытость. Предел был, вот хотя б в этом присвисте, но и открытость была. Между тем Платон, разумеется, не забыл мой (пусть и давний, и краткий) арест. Да и радикализм не был ему секретом. Но арест относил он на счет жандармской тупости, в каковой убеждены даже те, кто столь же убеждены и в ее государственной необходимости. В радикализме моем видел он преходящую болезнь, почти неизбежную в наше время.

Платону, как и мне, было свойственно чувство кровной родственности, в детстве еще усиленное на-

шим сиротством. Чувство это позволяло ему особую открытость со мною. А мне не позволяло перейти тот рубеж, на переходе которого настаивал, так ли, эдак ли, но настаивал Александр Дмитриевич.

Уверенность Платона в сестринской преданности была глубоко безотчетной. Мои поджатые губы: прельстился адъютантским шнуром; бригадных говарищей променял на паркетных шаркунов — все это его царапало, но не колебало эту уверенность. Ну, точно так, как мой радикализм не уменьшал его привязанности и его любви ко мне.

Платон искренне полагал, что его карьера, хотя и не одобряется мною, все-таки втайне меня радует, не может не радовать и что я под сурдинку горжусь братом. Отсюда всегдашняя открытость. Кому, как не Анне, «выплеснуть» свои заботы и свои надежды?

А надежды в быстром взлете и, стало быть, в близости брачных уз с Мещерской, эти надежды пуще разгорелись в последних числах мая.

— Печальное известие, Аня! — произнес он, блестя глазами и таким тоном, словно говорил: «Поздравляю!»

И принялся расхаживать широким шагом.

— Она в семь утра умерла, никого не было. Жаль, конечно, но уж так настрадалась, что и смерть желанна. В половине десятого государь из Царского, а в десять — наследник с Елагина...Государь недолго пробыл у покойной. Скоро вышел и принял Милютина. Как обычно, как всегда: доклад военного министра. Какое присутствие духа!

— Еще бы,— буркнула я,— дождался.

— Ну-у-у, Аня. Его можно понять.

— Особенно в а ш и х можно понять.

Платон коротко, нервно рассмеялся.

 Надо было знать, как волей-неволей знала я, «под-

водные течения», чтобы в тихой, неприметной смерти императрицы тотчас увидеть поворот к аналою для Юрьевской, праздник для ее присных.

А этикет блюли. Панихиды и дежурства у гроба. Перенесение усопшей в крепость, в фамильную усыпальницу,— длинная процессия сквозь дождь и бурю; Нева в тот день поднялась, кое-где вышла из берегов. Потом, в крепости, опять панихиды и опять дежурства.

В женитьбе государя на Юрьевской Платон не сомневался. Так оно и получилось какое-то время спустя. Обряд свершился почти секретно, в присутствии самых «ближних бояр». Платон околачивался неподалеку от Царскосельского дворца.

Несмотря на секретность, весть о венчании распространилась в городе.

Не помню куда, я ехала на извозчике.

— А что, барышня, верно говорят: царя отчитывать будут?

— Отчитывать?

— А в Казанском соборе. За то, что женился в другой раз.

— Не слыхала...

Извозчик шмыгнул носом.

— Да и то сказать. Ну, померла хозяйка, дом сирота, как не жениться...

Вот он, «глас божий».

Но вообще-то смерть императрицы и прочее прошли малоприметно, как и всяческие рождения-кончины в августейшем доме.

Я, однако, сознавала, что лигисты отныне раскуражатся: они ставили карту на «мадам-посредницу», на Юрьевскую.

Суетливое возбуждение Платона претило до крайности. Его цинизм поразил меня, хотя какое мне

было дело до бывшей немецкой принцессы, подарившей России чуть не десяток великих князей и княгинь.

...Военный суд вынес жестокие каторжные приговоры нашим товарищам — доктору Веймару, Оле Натансон и другим. Конечно, глупо было ждать мягких сентенций от судей в мундирах гвардейских полковников, но я будто надеялась.

В этой надежде таились самообман, уловка — я оттягивала «грехопадение». А Михайлов по-прежнему молчал. Он, конечно, не хуже моего понимал, что Антисоциалистическая лига отныне пустится во все тяжкие. Но — молчал. Его молчание казнило сильнее прежних ожесточенных споров: я усмотрела в этом молчании самое ужасное — подозрение в отступничестве.

Боже мой, у него могут возникнуть... Нет, уже возникли ужаснейшие подозрения! Меня как огнем охватило. Да, да, возникли, не могли не возникнуть. Ведь уже был момент, когда я пошатнулась, хотела отойти в сторону... И это его: «Не понимаю, отказываюсь понимать» — зазвучало в моих ушах по-другому: «О, понимаю, хорошо понимаю!»

Пишу не ради самооправдания. Но... но, может быть, и ради него. Может быть, для того лишь, чтоб хоть этой тетради объяснить причины появления на ее страницах некоторых отрывков из депеш к «мадам». Тех, которые я украдкой, в постыдном трепете читала на серо-голубых узких листках с монограммой и печатью: «БОГ И ЦАРЬ». Тех писем «великого лигера», которые Платон передавал княгине Мещерской, мадемуазель Шебеко или самой Юрьевской.

«Мадам!

 Я не желал бы докучать Вам разными бездели-

цами, но, ведая о Вашем интересе к Лиге, не могу не сообщать о наиболее значительных событиях.

Мы с удовлетворением отмечаем расширение нашего общества и его усиление. Нас теперь поддерживают лица, об участии коих мы всегда мечтали, в частности два великих князя вступили и действуют под развевающимися знаменами нашей доблестной Лиги. Просто диву даешься, какой размах приняло общество, основанное всего лишь тринадцатью человеками.

На генеральном собрании Лиги много говорилось о Лорисе в порядке решения вопроса, союзник он или нет. Однако предложение о его привлечении было отвергнуто. Хотя среди нас есть и его близкие друзья и один член Верховной распорядительной комиссии, мы не относим графа к числу людей, которых следует называть железными, из коих и состоит наша Лига.

Общие собрания Лиги бывают довольно часто и обходятся без особых церемоний. Но большие ассамблеи устраиваются дважды в год. Вот как они происходят.

Великий лигер, два высших лигера и младшие лигеры, деятельные члены, депутаты, секретари канцелярий, агенты собираются в зале, где служится молебен. На каждом из нас черные уставные одежды. Лица закрыты, ибо, по законам Лиги, никто не должен знать, кто именно является его непосредственным начальником, дабы избежать уколов самолюбия и предупредить измены. После молебна происходят различные церемонии.

Именно здесь я имел честь сообщить ассамблее милостивейшее слово Его Величества. В ответ, как знак нижайшего почтения и признательности, все черные фигуры, склонившись, пели гимн «Боже, царя храни».

Затем, по обычаю, члены административной части Лиги проследовали в «Черный кабинет», и двери были закрыты.

Все, что решается в «Черном кабинете», неотменимо — скорее Нева потечет в Ладогу, чем не будет исполнен приказ, здесь данный.

Вот, мадам, пример наших церемоний, которые напоминают общества, известные в истории, и которые не могут быть иными в Лиге, члены которой связаны клятвой».

«Мадам!

Об этом деле я не хотел заранее извещать Вас, дабы понапрасну не ужасать. Оно возникло в связи с новыми преступными планами, которые были намечены к исполнению во время похоронной церемонии по случаю кончины Ее Величества, поелику обстановка была весьма подходящей. Ценою большого риска Лиге удалось этот план расстроить.

Но революционный Исполнительный комитет внял подозрениям на счет многих его членов, однако мое вмешательство устранило опасность, а меры, принятые мною, расширили наши возможности.

Состоялись два сборища Исполнительного комитета. Обсуждались важные вопросы, разрабатывались новые планы. Все это обычно, но слова опасны, ибо они переходят в дело.

Исполнительный комитет располагает 24 членами. Именно сия группа осуществляет наиболее гнусные и ужасные злодеяния, именно она затеяла все покушения на жизнь Его Величества.

Кроме того, имеется много социалистов-одиночек, рассеянных по пятеркам или десяткам в различных слоях общества. Однако наиболее опасные и решительные те, которые примыкают к Исполнительному

комитету и действуют, как солдаты в бою, сплочённо и безостановочно, не считаясь с препятствиями. Количество их, согласно донесениям, превышает 900 душ и, возможно, доходит до полутора тысяч. Цифры неточные, ибо агенты Лиги каждую минуту открывают новых индивидуумов или, по крайней мере, тех, кого можно подозревать в преступной деятельности».

«Мадам!

Я только что имел честь получить Ваш любезный ответ. Прошу Вас в случае спешной надобности передавать Ваши пожелания через известного Вам человека, являющегося моим, выражаясь воинским языком, адъютантом.

Снаряд, о котором я упоминал, прибыл из-за границы с ярлыком фирмы швейных машин. Ящики хранились в магазине. Никто не подозревал об их содержимом. Об этом сообщили санкт-петербургскому лигеру агенты 1133 и 134. Проработав всю ночь, наши люди изъяли ящики с частями снаряда.

Между тем лигеры Киева и Москвы сообщили нам, что террористы собрались в Петербурге. Например, часть из них прибыла в личине торговцев кожей и шерстью. Все они посланы для покушения на священную жизнь Его Величества.

В момент, когда я пишу Вам, не получив притом права непосредственного обращения к Его Величеству, я хочу заверить от лица Лиги, что мы сделаем все возможное и все невозможное в видах предотвращения несчастья».

Не поручусь, что в мои руки попали все письма Антисоциалистической лиги к светлейшей патронессе. Скорее, какая-то доля. И вовсе не видела я отве-

тов Юрьевской, хотя они, наверное, посылались через того же адъютанта, которому было бы лучше остаться обыкновенным артиллерийским офицером.

По прошествии десяти лет не умею в тех письмах отделить зерен от плевел, лишь замечу, что эта подлейшая Лига во многом предвосхитила не менее подлую «Священную дружину», возникшую по воцарении Александра III. А может быть, последняя была продолжением первой?

6

О, как жаждал Александр Дмитриевич проникнуть в тайны Антисоциалистической лиги! И как нужны, как важны были эти письма...

Но Платон, как и в прошлое лето, был редким гостем. Ну, еще бы! Общий смотр войскам Красносельского лагеря... Ропшинские маневры... Обед по такому иль иному случаю... Неизменные кавалькады из Царского в Павловск...

Чужая жизнь и чуждая, как у антиподов. Да и бог бы с ней совсем, но вот Платон-то наезжал редко, и лигисты словно истаяли. Однако они существовали! А тут ни единой щелки...

В августе брат явился лишь на день.

— Аня! Государь отправляется в Ливадию. Княгине Юрьевской приготовлены комнаты покойной императрицы... Между нами, наследник ужасно будет недоволен: оскорбление памяти матери! Ну, да узнает задним числом: только что вернулся — плавал на яхте по Балтийскому морю, теперь в Царском, а уж потом, в октябре, пожалует в Ливадию. Тогда и узнает... По секрету, Аня: вчера государь призвал наследника и цесаревну. И знаешь зачем? Государь объявил, что женился на княгине. Понимаешь, это еще

никому из фамилии в открытую не объявлялось... Да, Анечка, еду в Ливадию! И, вообрази, в императорском поезде, потому что генерал без меня не может и часу. Да и не в этом дело! А дело-то, Аня, вот какое: княгиня, стало быть, в комнатах императрицы, а свою виллу отдала сестре и братьям. И Мари уже там! Хорошо, как хорошо, Анечка... Жаль, нельзя и тебе. Ну ничего! Ужо в будущем году... Нет, вот увидишь! Теперь, когда княгиня Екатерина Михайловна... Да, в Крым! Кипарисы, горы, море — прелесть... Ну, давай, сестра, простимся.

Присели на диван, улыбаясь друг другу; дохнуло чем-то из детства, как бывает от елки, когда она, морозная, медленно оттаивает в комнате. Расцеловались крепко, трижды... И он уехал, дурашка. Такой легкий, такой влюбленный, прозвенел шпорами и уехал...

А потом, осенью, телеграмма и письмо. Сперва телеграмма, следом письмо. Я заперлась и никуда не выходила, будто ноги отнялись. И это странное, неизведанное ощущение грузности тела. И отупение, бессмыслица. Я поминутно брала в руки телеграмму капитана Коха. Только телеграмму, а длинного, обстоятельного письма капитана Коха я не перечитывала, не могла.

Михайлова тогда в Петербурге не было, и хорошо, что не было. Тяжелое, темное чувство испытывала я к Михайлову: если бы не он, я бы не поджидала, таясь, лигистских писем, а старалась вытащить брата из трясины, если бы не он, я вытащила бы брата, спасла и от этой развратной Мари Мещерской, и от этого глупого генерала Рылеева, и Платон не поехал бы в Ливадию, и Платон... А Михайлова прожжет одна, только одна мысль: «Люк захлопнулся, тайна Лиги ускользнула!» Только об этом и подумает. И ни секунды об участи Платона. Впрочем, выскажет веж-

ливое, вялое соболезнование... Тяжелое, темное чувство испытывала я к Михайлову, без вины виноватила.

И, как всегда в минуты непоправимые, единственный, кто был в этом мраке, Владимир Рафаилович. Но даже и к нему не сразу собралась, а все сидела взаперти, как в келье. Потом пришел за мной рассыльный из «Голоса», длинный, небритый и будто в обиде на весь белый свет.

Далеким-далеким казался Ильин день, когда мы ездили в Левашово, к Зотовым. Порывистым, молодым, будто в свежем ветре, помнился тот день с лиловеющим небом и нестрашным громом.

Зотовы уже давно перебрались в город. И мой старый друг, как годы и годы, как всю жизнь, сутулился за домашним письменным столом или за редакционной конторкой с чернильными пятнами.

Владимир Рафаилович расплакался. Он всплескивал руками и не отирал слез. И я тоже заплакала. В первый раз после телеграммы, после письма.

Мы поехали на Смоленское кладбище. Дали попику на помин души. Потом стояли у могилы моих родителей. Моросило. Было слышно, как у ворот застучали и разбрызгали грязь похоронные дроги.

Я стояла и думала о том, что оградку надо обновить, что Владимир Рафаилович напрасно сложил зонтик, что хорошо бы мне поменять подкладку на пальто, давно пора. (Мне кажется, кладбище, место вечного упокоения, мешает мыслям о вечном, в отличие, например, от широкой медленной реки или горных вершин.)

Я не смотрела на Владимира Рафаиловича, но ощутила, как ощущаешь свет, кроткую улыбку, с которой он произнес:

 — Ну и смеялись мы...

Он взял меня под руку. Обходя лужи, ступая по зачерневшим уже и липким листьям, мы тихо двинулись к воротам; Владимир Рафаилович, все так же кротко улыбаясь, рассказывал случай сорокалетней давности. Ничем не примечательный, пустяковый, а мне умилительно было слушать про древнюю старушенцию в театральном зале и про то, как отец и Владимир Рафаилович, тогда молодые, покатывались со смеху.

— Сидит матушка да преспокойненько чулок вяжет. Мы с отцом твоим и на сцену не глядим: все на нее. А она знай спицами так и сяк. В патетических местах чулком слезу оботрет; в комических — отложит и ну разольется. Мы с Илларион Алексеичем за бока хватаемся, едва антракта дождались... Старушечка, видать, давненько на театр не хаживала, да и прозевала перемены. Прежде-то что? Во времена ее цветения публика была патриархальнейшая, в домашнем простодушно являлась, дамы непременно с рукодельем... Да-а-а, сердечная старина, не торопились жить, не торопились...

Мы вышли из кладбищенских ворот. Темные, приземистые домики казались напитанными влагой, как осенние грибы. Большие, «провинциальные» лужи зябко вздрагивали. Моросило.

Но что это? О, мягкая, неведомая психиатрам, власть врачующих пустяков. Казалось, что уж такое услышала от Владимира Рафаиловича? Так, ничего примечательного, в иных бы обстоятельствах мимо ушей, а вот, словно бы шепот столетних лип...

Минуло еще какое-то время. Я практиковала в лечебнице для бедных, что помещалась тогда в Малой Садовой, напротив доходного дома Менгдена. Засиживалась допоздна, до тех пор, пока в приемной никого не оставалось, а служитель-сторож сердито сту-

чал сапогами: «И какого рожна докторица не убирается восвояси».

Ждала ли я Александра Дмитриевича? Я уже готова была видеть его, говорить с ним. И не только о пропагаторстве в военной среде. Но и об участи Платона. Тяжелое, темное чувство заглохло. Однако прежнего радостного волнения я не ощущала.

Увы, приходится опять тронуть интимную струну. Не знаю, так иль не так было, а только я полагала, что объезд южных губерний совершался не в одиночестве, а вместе с Нютой, с Анной Павловной Корба.

Михайлов оставил Петербург в середине лета. Когда, точно не помню, но прежде Платона. В южных губерниях, в Киеве и Одессе, он действовал на том поприще, что и в столице: собирал, сплачивал, вдохновлял. Строитель-каменщик: «Централизация и дисциплина воли».

Теперь, годы спустя, часто думается: как он был терпелив со мною! Ведь я-то, словно норовистая пристяжная, все выбивалась из централизации, а дисциплины воли мне явно недоставало. Должно быть, подчас я сильно раздражала Александра Дмитриевича.

Однако, сдается, есть необходимость и в «норовистых пристяжных». Тут не всегда барственное «не желаю» и не всегда интеллигентская безалаберность. А может, без таких вот, выбивающихся из централизации, живое обращается в фетиш? А тот или иной, да и, наконец, все мы скопом делаемся лишь орудиями, лишь средством для всегдашнего «надо» и всегдашнего «для того, чтобы...».

Не обо мне речь, но кто знает, и не об Анне ли Ардашевой думал Александр Дмитриевич в тюремных стенах, когда писал «Завещаю вам, братья...»?

 Итак, он оставил Петербург в середине лета, а

вернулся глубокой осенью. Уже и мороз кусался, и снежная крупка порошила.

— Здравствуй, Анна!

Он всегда выглядел старше своих лет, а сейчас ему можно было дать больше тридцати. Борода подстрижена. И руку-то пожал с полупоклоном почти изящным.

— Ах,— сказала я,— хорош для живописца!

Михайлов улыбнулся, но улыбка как бы остановилась, увяла.

— Живописец не нужен, а вот фотограф... Впрочем, после.— И он взглянул на меня выжидательно.

— Садись,— пригласила я и сразу подала ему ливадийский конверт с черной каймой, поймав в себе давешнее тяжелое, темное и враждебное чувство.

Я хотела видеть его глаза после прочтения письма, извещавшего о гибели моего брата. Было какое-то больное желание убедиться в своих предположениях. Но у меня не достало сил, я вышла из комнаты. И сказала себе, что вышла просто затем, чтобы избавить Михайлова от фальшивых соболезнований.

Капитан Кох писал, как говорил, то есть обстоятельно и педантично. Я это письмо не трогала; прочла и больше не прикасалась. Но сейчас, в кухне, бесцельно перетирая чистую тарелку, я как бы перечитывала его.

Черными казенными чернилами капитан Кох выстраивал длинные-длинные строчки: о том, что он, благоразумный Карл Федорович, горячо убеждал Платона не пускаться в море на баркасе, потому что даже греки, знатоки черноморские, опасливо качали головой; да, убеждал и просил именем старого друга, но беда в том, что Платон побился об заклад с князем Долгоруким, братом княгини Мещерской, и это в присутствии самой княгини Марии Михайловны;

Платон поклялся, что, несмотря ни на что, выйдет в море, уйдет за горизонт; все собрались на скале, о которую разбивались могучие волны, а Платон, кое-как поставив парус, уходил все дальше, а море и небо темнели все больше, разыгрывалась буря...

— Анна,— осторожно позвал Александр Дмитриевич.

Я помедлила и вернулась. Должно быть, лицо у меня было замкнутое, отстраненное. Он стоял посреди комнаты, нагнув голову, глядя на меня исподлобья.

— Перестань,— сказал он тихо и строго.— Перестань.— И взял мою руку.— У меня тоже есть брат. И есть сестры, которым я — брат.

Мы помолчали, сели, он не отпускал мою руку.

— Слушай,— проговорил он негромко, строго, сосредоточенно,— я знаю, что такое братья, сестры. У нас младший, когда маленький, в пеленках, я, мальчишка, подбегал и прислушивался: дышит ли? И вдруг чудилось: нет! И я помню этот холодный ужас... Братья, сестры... Я поборник принципа: мы не вправе допускать какие-либо личные мотивы, соображения. И меня, кажется, нельзя попрекнуть в нарушении... Но вот я, как на духу: случись что, источило б горем, голову б потерял...

Наверное, пальцы мои заледенели, потому что Александр Дмитриевич принялся оглаживать и растирать мою ладонь, и тут у меня подступили слезы, и это уже не была скорбь о Платоне, как тогда, у Владимира Рафаиловича, это уж другое было.

— Ты знаешь,— говорил Александр Дмитриевич,— я нынешним летом был рядом с Путивлем. Нарочно ездил, хотя и торопился в Одессу, там меня ждали. Да, вот видишь, меня ждали, а я не туда по-

 ехал. Безумно хотелось к своим. Чувствую, не могу,

непереносимо, хоть убей. А в городишке разве появишься? Назначил свидание в лесу, как тать... Лес у нас верстах в восьми, огромный, бывший монастырский. Отец с мамой приехали на линейке, брат мой, Фаня,— за кучера. Вот и повстречались... Какое это, в сущности, несчастье — нелегальная жизнь. Святое — семья, а не можешь, как любой и всякий может... Умирать буду, увижу Спасчанский лес и как они, мои старики, и брат мой — шея длинная, голос ломается,— как они стояли и смотрели мне вслед. Я раз сто оглянулся, махал — поезжайте, а они ни с места...

Лицо его оставалось неподвижным, но оно изменилось, тихо, без какой-то там мимики изменилось — на нем, нет, даже как бы сквозь него, проступила глубоко затаенная, не сейчас прихлынувшая, печаль.

— Ну, да что там,— произнес он, словно спохватываясь.— А каково, скажи, молодой матери... Вот где боль, где всего больней... Ты взгляни, Анна.

То были записочки из тюрьмы от Софьи Ивановой, взятой зимою, в январе, в Саперном, при разгроме нашей типографии.

Соня была мне ровесницей. Прехорошенькая, с ярко блестящими синими глазами, с румянцем. В записках просила озаботиться судьбой сынишки; писала о приговорах, о том, что двое, осужденные на смерть, сумеют показать, как должно умирать за идею.

Она была в числе шестнадцати осужденных. Типографы, когда жандармы напали, отстреливались. Но перед военным судом предстали не только типографы с Саперного. На виселицу осудили Квятковского, члена Исполнительного комитета, и Андрея Преснякова, агента Исполнительного комитета; Андрея я знала — резкий, решительный, мрачноватый.

Их повесили за крепостными стенами, подальше от глаз. Почему? Страх народной Немезиды, страх народного недовольства, уровень которого сильно повысился в восьмидесятом году и которое не берут в расчет те, кто спустя годы попрекает народовольцев в торопливости.

(Мне говорил Владимир Рафаилович, со слов очевидца, какого-то свитского генерала, что наши поразительно держались на эшафоте: причастились, поцеловались, поклонились солдатам.)

— А Сонюшку — в каторгу,— продолжал Александр Дмитриевич.— Как она там, год за годом, ночами, без сна, точно слепая, как она там о своем дитяти... Не-е-ет, вот оно, горе-то, такое не выплачешь... А Ольги нет...— Он остановился и повторил с недоумением и как бы недоверчиво: — Нет Ольги. Ольги Натансон нет на свете...

— В крепости?

— На поруки отдали, ироды, когда никакой надежды: последний градус чахотки.— Он сильно, прерывисто вздохнул.— Какие люди уходят, Анна. И какие пустые слова: «Этого следовало ожидать»... Я не фаталист. Верю в строгую последовательность всего, что совершается. А случай, а случайности, они тоже заключены в оболочку этой последовательности. Да много ль проку, когда вот уходит Ольга, а в какой-то норе Соня Иванова...

Была неуследимая минута: я вдруг перестала его слышать. Не слушать, а слышать. Как в глухом бреду, все пошло вперемешку, без связи: Платон, захлебнувшийся в последнем крике, сдвинутые вплотную брови Преснякова, и хрупкая смуглая Ольга, и гимназист с длинной шеей, там, на лесной дороге, и Сонечка Иванова с ребенком на руках.

 «Раскольники,— донесся голос Михайлова, и я

опять уже слышала, о чем он говорит,— для них жизнь первоучителей служит образцом подражания, они хранят и переписывают житийные биографии: «да не забвению предано будет дело божие»...

Тогда-то мы и условились о фотографических портретах. Надо было заказать кабинетные. И числом побольше. В каком-либо из фотографических заведений на Невском.

— Но сперва,— сказал Михайлов,— закажи свой собственный портрет.

— Это зачем?

— Пойдешь получать свой и заодно получишь те. Так безопасней.

И еще была просьба: необходимы респираторы. «Могут понадобиться»,— сказал Михайлов. Респираторы? Эдакие маски, несколько защищающие дыхательные пути при работе среди дурных запахов?

И уже в прихожей, уже в пальто, он будто вспомнил:

— А этот-то капитан?

Я сразу поняла, почему Михайлов помешкал и почему отвел глаза. Так, так, подумалось мне, практический Дворник остается практическим Дворником. С респираторами я не понимала, а вот «для чего» Кох, капитан Кох — это я сразу смекнула.

— А этот самый Кох,— ответила я,— начальником конвоя. У государя.

— Вот как! — Александр Дмитриевич быстро накручивал на палец прядь бороды.— Гм, он что ж, бывает, а?

— У нас бывал,— отрезала я,— у меня не будет.

— Ну, ну,— проговорил Михайлов несколько смущенно. И прибавил: — Так, стало быть, фотографии и респираторы...

Помню, на исходе ноября, вечером, холодным и черным, когда лечебница опустела и сторож застучал своими сапожищами, выпроваживая припозднившуюся докторицу, я отдала респираторы Михайлову.

Я не догадывалась, что он лишь пересек Малую Садовую и вошел в дом Менгдена, в полуподвал, где совсем недавно появилась ярко намалеванная вывеска сырной лавки. Да и как мне было догадаться, что сей магазин спустя малое время будет известен всему Петербургу? Именно там уже сооружали подземную минную галерею, перерезая путь царю — по этой Малой Садовой он езживал в манеж. А респираторы действительно понадобились: наши наткнулись на канализационную трубу и повредили ее, зловоние разлилось страшное, и респираторы несколько помогли землекопам.

Забирая респираторы, Александр Дмитриевич сказал мне, что он уже заказал фотографии казненных и чтобы я туда заглянула.

Я так и сделала. Много позже, уже перед рождеством, я получила свою фотографию и видела этого фотографа, благообразного, даже сладенького. Свою фотографию, так сказать за ненадобностью, я подарила Владимиру Рафаиловичу. Да, я-то получила эту ненужную кабинетную карточку...

Наверное, в тот черный холодный вечер, когда Александр Дмитриевич ушел с респираторами, а я побрела домой, в Эртелев, в тот вечер, наверное, я и заболела. Несколько дней перемогалась, а потом слегла — ангина.

Он был у меня в среду. Не ошибаюсь — в среду. А я в жару, с температурой. Он ушел и вернулся — принес снеди, соорудил яичницу, заставил меня есть, убрал посуду. И обещал навестить:

— Буду у фотографа, оттуда — к тебе. Не скучай, Аня.

В субботу, рано еще было, пришла... Анна Павловна Корба. Не здороваясь, не раздеваясь, проговорила шепотом:

— Что вы наделали?!

Глава шестая

1

И больше — ни строчки. Я напоминал, она отвечала: «Да-да, непременно, Владимир Рафаилыч». Тяжело было продолжать, но она бы, думаю, превозмогла себя. Увы, не пришлось. Горько мне, но поступила так, как суждено было Анне Ардашевой... Про это после, а теперь позвольте оттуда, где она умолкла.

Обидно мне за Аннушку, жизнь обделила ее. Ну, скажите на милость, отчего было Александру Дмитричу не ответить на любовь Анны Илларионны? Другая любовь была у Михайлова.

Положим, Корба не знала, что Анна Илларионна больна, что она не в силах подняться с постели. Хорошо, не знала. Да ведь зато знала, что Михайлова в этой фотографии схватили! Стало быть, пошла бы вместо него Анна Илларионна и... Это-то Корба хорошо, очень хорошо понимала. О-о, конечно, получилась бы, простите, двойная выгода: в Исполнительном комитете сохранился бы Михайлов, а любящая женщина не потеряла бы любящего мужчину.

Однако, поняв, в чем дело, поняв, что Анна Илларионна больна, Корба смутилась, потерялась. Тотчас все и рассказала Ардашевой.

Вы помните: фотографии казненных. Александр Дмитрич считал святым долгом... Ведь и портфели, которые у меня, они тоже для того, чтобы «не забвению предано было». Так и фотографии.

И суть даже не в том, что цену уплатил смертную. Суть в том, что у него не порывами, не вспышками, а постоянно, всегда. Вообразите-ка: вот он за полночь валится, как сноп, на кровать; ноги гудят, измучен телесно и нервно; чуть свет — встал; темень на дворе, дождь ли, стужа, будни, праздники — отдыха нет. Неостановимая гонка. И непрестанное напряжение, ибо гибель наступает на пятки, успевай поворачиваться. А у него на сердце вот они — получены письма тюремные, подчас от изножья эшафота. И, усталый, не поспев толком утолить голод, он сюда, на Бассейную. Нет, не забывал ни тех, кого уж нет, ни тех, которые далече.

Так вот, фотографии казненных.

Много неясного, загадочного, никто теперь не отгадает.

Александр Дмитрич приходит к фотографу. Отдает две фотографические карточки. Говорит: родственники, мол,— и просит: пожалуйста, побольше экземпляров, а то семейство большое, каждому изволь, чтоб без обиды.

Фотограф этот, когда заказчик удалился, глядит на оригиналы. Да-с, глядит, и глаза у фотографа на лоб: спаси и помилуй, хороши «родственнички» — казненные злодеи!

Вы понимаете, господа? Волшебник с черной накидкой, маэстро этот, он, видите ли, у з н а л казненных. Выходит, з н а л? Но как? Откуда? И тут нам заявляют: да, видел, да, знал, да, запомнил. А все потому, что фотография получала казенные заказы. Маэстро сей приглашался иногда в департамент по-

лиции — снимать на карточки государственных преступников.

А дальше такой пассаж. Фотограф смекает, что заказчик-то из этих из самых, а вовсе не родственник. А коли и родственник — разберутся. Кому надо, тот и разберется. И фотограф зовет тех, кои разбираются. А следом приходит Михайлов — и капкан защелкивается.

Обстоятельства ареста Михайлова рассказала моей Аннушке не кто иная, как Анна Павловна Корба. Я ни на миг не допускаю, что она исказила эти обстоятельства. Не могу, не желаю бросить даже тень от тени на женщину, которая нынче, когда мы тут с вами сидим, отбывает двадцатилетнюю каторгу. Но дорого бы дал: откуда она-то, сама Корба, откуда все это узнала? Кто сообщил?

Вот тут и неясное. Фотограф исповедовался, что ли? Признавался народовольцам, что ли? Хорошо: пусть известил Клеточников, он ведь тогда еще на воле был. Но если «ангел-хранитель» знал этого фотографа как посетителя «голубых», почему «ангел» не забил тревогу? Наконец, почему Михайлов направился именно к этому фотографу? На Невском, поди, дюжина фотографических заведений была, и этот самый не из лучших. А Михайлов именно туда. А может, кто-то его направил? Эдак ненароком кто-то обронил: дескать, хорошо бы такому-то заказать...

Однако погодите. Есть нечто более таинственное.

Александр Дмитрич, оказывается заходил получать заказ дважды. Заметьте: дважды! Именно здесь-то и спрятан ключ. Но спрятан глубоко, в бездонном колодце.

Итак, дважды.

В первый раз — это, видимо, после Эртелева, после посещения Анны Илларионны. Не скрою, я бла-

годарил бога за ее тогдашнюю ангину... Так вот, прямиком из Эртелева — к фотографу. И будто заподозрил неладное. То ли от швейцара шибало филером, то ли жена фотографа какой-то грозный знак подала.

Во всяком случае, опять прошу заметить: Александр Дмитрич о б е щ а л товарищам больше не показываться у этого фотографа: «Не беспокойтесь, я не дурак...»

Как он поступает?

Обращается к студентам. Наверняка не к первым встречным, а из студенческого подполья. Студенты отказываются. Значит, Александр Дмитрич не скрыл своих опасений. И они отказались. Очевидно, трусость молодых людей (вполне, по-моему, извинительная) больно задела Александра Дмитрича.

А деться некуда: самому нельзя, он убежден, что нельзя, а другие не идут. Замкнутый круг: ни начала, ни конца.

И вот — самое непостижимое.

Если нагая, строгая целесообразность, тогда бесспорно: нельзя ради фотографий мертвецов, пусть и дорогих, а нельзя ради фотографических изображений отдавать жизнь. Так иль не так, спрашиваю? Разумеется, так, если нагая, строгая целесообразность.

А на поверку?

Последняя пятница ноября. Михайлов идет по Невскому. День краткий, низенький, смурый. Движется толпа, движутся экипажи, движутся конки. Он идет по Невскому. Машинально настороже, привычно зорок. Назубок знает проходные дворы. Знает «в личность» многих шпионов. Идет... И вдруг — вот она! — фотография. Неведомая, необъяснимая сила тянет Михайлова к западне, в западню.

Он входит.

«Пожалуйте, сударь. Одну секундочку, одну секундочку»,— фотограф перебирает пакеты с готовыми заказами.

Александр Дмитрич ждет. Сознает ли он, что у ж е попался? Нащупывает ли в кармане «бульдог»?

«Извольте-с, сударь. Рады служить».

Он получает заказ. Идет к выходу. И...

Он пытался ускользнуть, даже и ускользнул, но его опять схватили.

Примечательно: Михайлов не оказал вооруженного сопротивления, он не стрелял. Может, забыл оружие, не обнаружил в кармане «бульдога»? Не похоже и странно. А может, страшился вооруженного сопротивления — отягчающая вина? Но и без того «бед» хватало, а где семь бед, там один ответ. Опять-таки странно.

Однако главное в том, что Александр Дмитрич точно в омут кинулся. Как! Удивительная интуиция. Феноменальное, «индейское» чувство опасности. Громадная дисциплина воли. Страж организации: он стоял, как на часах, подобно молодому Игнатию Лойоле у образа девы Марии. Да, вот так-то. И вдруг эта минута — самоубийственный шаг. Буквально ш а г: с улицы до дверей.

Я говорю «минута». Но какая — ослепившая или ослепительная?

Нынче модно все замки психологией отмыкать. О, ка-акой простор беллетристу! И за руку не схватят: никто на свете не знает, как на самом-то деле было. Согласен: подлинный беллетрист всегда верен правде натуры своего героя. Да штука в том, что здесь как раз все свойства характера вверх тормашками, вот что.

Остается лишь предполагать...

 Ну, скажем, так: устойчивость, равновесие, в выс-

шей степени ему свойственные, были поколеблены, он не оловянный: открытая рана вследствие недавней гибели близких людей; рана, которую растравила трусость студентов. Невозможность выбраться из замкнутого круга, а только разорвать его очертя голову: «Эх, где наша не пропадала». Если так — минута ослепившая.

А я, признаться, к иному наклонен.

Вспомните: Александр Дмитрич всегда как-то оказывался на пядь от непосредственного, бесповоротного. Ну, хоть московский подкоп, когда царский поезд... Он в подкопе работал? Работал! А взрывал другой. Мезенцева выслеживал? А с кинжалом другой. В Харькове был? А на тракт, каторжан отбивать, не он выехал. И последнее: полуподвал на Малой Садовой, в доме Менгдена, где устроили сырную лавку, он этот полуподвал, так сказать, санкционировал, а взрывать будущую мину — опять не он.

А тут, черт дери, всего-навсего фотография. Осторожность, расчет властно требуют: обойди, шагай дальше! А нечто — вихрем: доколе?! И бьет в голову, вместе с волной крови бьет непереносимость утраты достоинства, самоуважения... И если так, вот она — минута ослепительная!

Простите, не понял? А-а, говорите: «Неразумно». Гм, «неразумно»... Да, да, конечно. А только, как хотите, не выкажи он этой неразумности, ей-богу, чего-то очень важного, очень существенного в нем бы недоставало.

2

Я не задаюсь праздным вопросом об ответственности за годы и души, убитые в тюрьмах. Ильин день в Левашове, на даче, помню. Когда Желябов или Михайлов, кто-то из них, пусть и не очень твердо, а

все-таки и не туманно: «Да, весьма возможно, что и после социального переворота понадобятся карательные меры».

А коли о тюрьмах, то вот вопрос: отчего обыденное сознание равнодушно? Сознайтесь: часто ль думаете, часто ль вспоминаете? Тюремный мир огромен и страшен, а для нас-то вроде бы и не существует, хотя прекрасно знаем, что он существует.

Зачем далеко ходить? Вон, на Фонтанке,— департамент полиции; на Шпалерной — Дом предварительного заключения, а на острове — своя бастилия. Вы как-нибудь при случае поглядите внимательно на прохожих. Что на челе? А ничего, кроме вседневной докуки. Омрачатся не больше двух-трех. А дюжины дюжин глазом не моргнут. И отнюдь не злодеи, даже не сухари. И нищего не гонят, и детишек любят, и не подличают...

Вот где-нибудь в Германии, путешественником, увидишь подземелья или башню с зарешеченными оконцами или, скажем, в Париже, на площади Бастилии, где давно нет Бастилии,— смотришь, и разыгрывается воображение. Не странно ли: в прошлое перебегаешь проворнее, нежели удерживаешься на этой вот минуте. Отчетливее, явственнее возникают тени давно умерших узников, нежели узник, которого знаешь во плоти и который еще жив.

Я это к тому, чтоб передать тогдашнее состояние при мыслях об Александре Дмитриче. Не мог представить: никогда не переступит порог моего дома. Никогда не сядет вон за тем столиком, а я не принесу ему из прихожей кожаные портфели. Никогда не скрестим шпаги — прок ли от террора иль худо от террора, готова ль народная Россия к выборам Учредительного собрания или ей полвека еще азбуке учиться...

Не то Анна Илларионна. Слышу вскрик: «Он вернется! Вернется!» Должно быть, так вскрикивает насмерть подбитая птица. Однако не думайте: аффект, потрясение... Нет, она действительно верила в его возвращение. И не спустя десятилетия, а чуть не к рождеству. Тут какая-то, я бы сказал, глубочайшая смещенность пластов сознания. Ведь она притом сознавала, что «оттуда» не возвращаются; такие, как Александр Дмитрич, не возвращаются.

Бедняжка, она замышляла повторение давней попытки харьковского предприятия: напасть и выручить. И обратилась к Николаю Евгеньичу.

Суханов, лейтенант, жил тогда уже в Петербурге. В университет хаживал, на лекции из физики. Впрочем, оставался флотским. Но университет — днем, а ночами — сырная лавка на Малой Садовой: он работал в подкопе, он и минные запалы раздобыл... Наперед скажу: в день первого марта царь другой дорогой ехал в манеж, и это на обратном пути и не на Малой Садовой все совершилось...

Анна Илларионна к Суханову обратилась. Николай Евгеньич не отшатнулся. Думаю, план моей Аннушки был ему по душе. И, несомненно, подобная попытка воспламенила бы и молодых кронштадтцев.

Однако не было ее, этой попытки. Может, и была бы, если бы Николая Евгеньича не арестовали (это после первого марта). А может, и сам Суханов оставил бы. И не столько из практической невозможности, сколько по настоянию самого Александра Дмитрича: из своего каменного мешка он умолял товарищей не увлекаться, не разбрасываться.

Неизвестность изводила Анну Илларионну. Она кружила в тех местах, которые обыденное сознание если и примечает, то вскользь, без задержки.

А потом пришла на Садовую, в адресный стол. Помнила, что у Александра Дмитрича есть петербургские родственники. Фамилию дядюшки помнила — Вербицкий.

«Как,— спрашиваю,— ты явилась к этим Вербицким, с чем, от кого?»

«А так,— отвечает,— сама от себя, лепетала что-то о давней дружбе... Живут бедненько, квартирка плохонькая. Дядюшка Александра Дмитрича, лысенький, сидит, гильзы табаком набивает; глаза ласковые, хотел что-то молвить, но жена носом повела: «Ах, вы об Александре? А мы его, барышня, эвон сколько не видели... Они-то, которые из Вербицких, они не родственные. Вот, барышня, муж мой, Николай Осипыч, совсем болен, а вашего-то Александра маменька и не охнет. Прости господи, прижимистые. В провинции все задешево, а ты вот здесь в Петербурге попробуй. А у них, у Вербицких-то, у сестер, у них, побей меня бог, капиталец е-е-есть. Да нет того, чтоб братца родного, который в нужде...»

Тут как раз вошла кузина Александра Дмитрича: Катя Вербицкая. Приглянулась она моей Аннушке. «Такая,— говорит,— доброта, такая мягкая задушевность, что сразу располагает к доверию».

Катя Вербицкая при каждом случае, убийственно редком, когда разрешали, навещала кузена. И признавалась, что шла в тюрьму со слезами, а возвращалась просветленная. Шла утешать, возвращалась утешенная.

При первом знакомстве Анна Илларионна оставила ей адрес, просила заходить и сама обещалась наведываться к Катиному батюшке: он нуждался в медицинской помощи. Кажется, что-то с суставами; одно время его лечил доктор Веймар, Орест Эдуарды...

С Катей моя Аннушка очень сблизилась в тот тяжкий год. Из всех здешних Вербицких лишь Катерина искренне и открыто сострадала Александру Дмитричу. Родные Катины братья, офицеры, кляли кузена-социалиста. А подруги ее... Вот вам черта подлой нашей жизни: подруги на другую сторону улицы шарахались.

Забегая вперед, скажу, что Катя Вербицкая умоляла допустить ее в судебную залу. «Я знала,— говорила со слезами,— как важно Саше увидеть родное лицо в такие минуты». Ей отказали: не прямая-де родственница.

Одной только Клеопатре Дмитревне, сестре Михайлова, Безменовой в замужестве, дозволили присутствовать. Помните, была у нас речь о Клеточникове? Как Безменова не могла поверить, чтоб такой тихий, невзрачный человек... Вот, вот! На суде она видела и слышала Клеточникова...

Катя была ближе других моей Аннушке. А с Клеопатрой Дмитревной она переписывалась и после осуждения Михайлова. А самый младший из Михайловых, Фаня, Митрофан Дмитрич, он здесь учился, в институте гражданских инженеров...

Родители Александра Дмитрича задолго до процесса приехали. Вернее и горше сказать: п р и в е з л и их. И едва они оказались в нашем городе, Анна Илларионна бросилась к ним...

Эх, друзья мои, приведись роман сочинять, я б, как другие, издалека повел. Широким охватом, так заведено, коли роман, да и у господ критиков в почете. Ну и печатных листов поболе, а гонорарий тоже вещь не последняя.

Вот бы я и вывел, например, батюшку моего героя. В рост бы и все в точности: как был незаконным помещицы Блаженковой, солдатский сын, сданный в

кантонисты; когда и где служил, как бронзовой медалью украсился на андреевской ленте в честь коронования государя Александра Николаича... А потому все с такой точностью, что у меня в портфеле, который от Михайлова, полный формуляр отца его родного, Дмитрия Михайлыча. Ну-с, а по этой канве-то и узоры: тут тебе и уезды, и как отец, землемер, крестьянский быт во всей подноготной, и как сын, будущий крамольник, через то пищу для ума получает... Знай рассыльного за бумагой и чернилами гонять!

Впрочем, с другого ракурса глянуть, то льва по когтям, а мастера по самоограничению узнают. Я это к тому, что и рассказчика тоже... Шучу, господа. Из меня мастер, как из воды — токайское...

Отца и матушку Александра Дмитрича, пока они в Петербурге были, Анна Илларионна едва ли не каждый вечер видела. В лечебнице уже не припозднялась.

Не приехали они в Петербург, как тысячи людей приезжают, — жандармы вытребовали. Есть у «голубых» метода — опознание. На тот случай, не частный, а частый, коли надобно нелегального с чужим именем обратить, так сказать, в легального — подлинное родовое прозвание обнаружить.

Вот и предъявляют «на предмет опознания». Арестованному, понятно, метода всегда пыточная. А для званных опознавать — не всегда. А то и вовсе в удовольствие. Дворников призовут или квартирных хозяев. Правда, душа-то у них мрет: царица небесная, к начальству тянут. Но вместе словно бы «Херувимскую» поет: вона я какой, без меня, вишь ты, и большому начальству не обойтиться.

А доподлинная и обоюдная пытка — это когда твоих кровных опознавать заставляют. Именно тебя,

тебя. Дмитрия Михалыча с Клавдией Осиповной, Михайловых-стариков за этим и выхватили из путивльского затишка.

Совсем недавно, душистым летом, свиделись в лесу. Совсем недавно. И Саша, первенец, обнимал их, целовал... И лес на месте, и дорога на месте. Разве что облетели листья. Разве что лег нежный снег. И вот — новое свидание: ни листочка, ни солнышка, железо да камень.

Анна Илларионна была у Михайловых накануне вечером — на другой день их «приглашали» в крепость. А коли так, значит, личность Александра Дмитрича уже была установлена и дознаватели попросту играли в законность. Так... Но может быть, Александр Дмитрич все-таки гнул свою линию: он — не он, а некий отставной поручик? (С бумагой какого-то поручика Александра Дмитрича арестовали.) И если так, то что делать отцу-матери? Как держаться?

«Я в штрафах, под судом и следствием не был,— твердил Дмитрий Михайлыч дрожащим голосом.— Мне врать — нож вострый. Я отставной надворный советник, но честь в отставку не подает...»

И хотя старик сам себя уговаривал, сам себе не верил, Анна Илларионна трепетала: «Дмитрий Михайлыч, миленький, вы не должны сразу... Осмотритесь! Ваш сын — это такой человек... Это такой человек...»

А Клавдия Осиповна улыбнулась сквозь слезы: «Я, голубушка, пойму, мне только на Сашечку взглянуть, я и пойму, что сказать... Вот не знаю, чего снести покушать... А вы, голубушка Анна Илларионна, вы ступайте, отдохните, лица на вас нет. Нам с Дмитрием Михайлычем... Мы с ним помолимся, услышит господь молитву нашу...»

На другой день доктор Ардашева не принимала пациентов в больнице для бедных на Малой Садовой.

Она поджидала чету Михайловых неподалеку от крепости, в начале Каменноостровского.

Была ростепель, для середины декабря внезапная. Ветер дул южный, влажный, а моя Аннушка коченела. Ростепель, туман почему-то ужасно на нее подействовали. Даже бой курантов казался «больным», будто колокола отсырели, разбухли.

Долго ждала Аннушка, совсем продрогла, а старики все не показывались из Иоанновских ворот. Она побежала на Выборгскую, где Михайловы квартировали. (У Вербицких не остановились. Видать, не приняли. Вербицкие и дочь-то свою, Катю, гнали прочь за то, что Александру Дмитричу сострадала...) Прибегает. Было уж совсем темно — конец неблизкий. Оказывается, разлюбезные жандармы отвезли стариков из крепости в казенном экипаже. Потому-то Аннушка и пропустила, не заметила.

Клавдия Осиповна тихо, безутешно плакала. А старик все ходил и ходил из угла в угол, ходил, не выпуская из рук палки. И все оглядывался, озирался, будто высматривал, куда девать палку. А потом вдруг загрозился кому-то, пристукнул и сказал твердо: «Саша наш — молодцом!..»

Что там, в крепости, на этом жестоком «предъявлении» было? Не решилась Аннушка тотчас расспрашивать. Но потом, спустя какое-то время, осмелилась... Он сам, Александр Дмитрич, сам как бы и подал знак матушке: признавай меня, мама. Шагнул к ней, глазами знак подал... Выходит, до того часа он запирался: я, дескать, поручик Поливанов, и баста. А тут, как матушку увидал, тут не мог больше. Снял с нее муку — признавай меня, мама... И старушка залилась слезами. «В предъявленном мне сейчас молодом человеке я признаю своего старшего сына Александра Дмитриевича Михайлова».

Они прожили в Петербурге весь январь: все надеялись получить еще одно свидание с сыном. Даже и начало февраля застало их здесь. Во всяком случае, на Сретенье Аннушка ходила с ними к службе. Мать Александра Дмитрича сказала ей: «Сашечка всегда со мной ходил».

Казенщину церковную он отвергал, а вот, видите, обряды исполнял. Уступка принципу? Да, конечно. А причина? Уважение! Здесь единство: мать родная и народ родной. Оттого-то, думаю, многие из приговоренных к смерти на глазах толпы народной не богохульствуют, не отвергают ни священника, ни крестного целования.

Во всем существе — про Александра Дмитрича говорю — была нерасторжимость с нравственной идеей Христа. Если помните, еще на Волге возникла у него мысль о народной религии — революция и возвещанное Нагорной проповедью. И я крепко уверен: он от этих помыслов не отстал. Другое дело, что унесла стремнина, не успел заветное в систему привести...

В январе, еще при стариках Михайловых, первая ласточка прилетела. Чудо! Ясный глас во мраке. Настоящее чудо... Как выпорхнула из каменного мешка? Анну Илларионну не осведомили.

Тут низкий поклон тезке моей Аннушки. Не боюсь усмешки: больно вы восторженны, Владимир Рафаилыч. Нет, не восторженность, а признательность. Редчайшая из женщин поспешила бы к сопернице — с благой вестью, с утешением. Анна Павловна Корба поспешила. Скептику вольно язвить: да она если и видела в Ардашевой соперницу, то, конечно, давно побежденную, может, и без борьбы побежденную... Пусть так. Все равно редчайшая поспешила б и к побежденной.

Так вот, ласточка, выпорхнув из каменного мешка, не к моей Аннушке прилетела — к Анне Корба. И Анна Корба пришла к Анне Ардашевой. Если б не эта и не последующие их встречи, многое про узника осталось бы неведомо Анне Илларионне. Потому-то и низкий поклон Анне Корба... Да, и еще! А ваш покорный слуга не располагал бы вот этими листками, этими копиями.

В том январском, первом тюремном листке Михайлов назвал жизнь свою счастливой, совершенно счастливой и редкостной. Почему так? А потому, что жил с лучшими людьми времени, был достоин их любви и дружбы... Согласитесь, ясный голос доносился из мрака. К сожалению, одна ласточка не делает весны. Он умолк. Молчание длилось больше года. Ни звука, ни слова...

3

Но не эхом ли его голоса долетел ко мне взрыв на Екатерининском канале? Не фигурально, не гипербола — эхо раскатилось до Литейного...

Событие первого марта восемьдесят первого года известно в мельчайших подробностях. Про убийство Александра II тыщу раз рассказано и пересказано. Вы не хуже моего знаете.

Боже мой, сколько надежд вспыхнуло, расцвело в душе Анны Илларионны! Невиданные перемены чуялись. И не только ей. Я думаю, Михайлову тоже. Он не мог не догадаться: крепостные пушки стреляли и колокола звонили, когда царя погребали.

Чего, однако, дождались?

Уже в апреле, месяц спустя, — виселицы Семеновского плаца. По запруженному Литейному, мимо моего дома, две валкие колымаги влекли на эшафот

Перовскую, Кибальчича, Желябова и этого рабочего парня, однофамильца Александра Дмитрича, и разнесчастного Рысакова. Страшная была минута — шествие на костер. И я содрогнулся, услышав впоследствии слова Ивана Аксакова: «Судьба этих животных меня нисколько не занимает».

Но не мог я не содрогнуться и мукам государя. Он был мне почти ровесником. Всего-то на три года постарше. Вот уж именно — и врагу не пожелаешь. Да, наконец, я не был согласен ни с Александром Дмитричем, ни с Анной Илларионной. Решительно не соглашался, знаете ли, в чем? А в том, как они смотрели на почин графа Лориса.

О конституции не спорю. Была бы, не была, а была бы, то какая? Об этом не спорю. Однако на ступенях трона поредела толпа поклонников тьмы. Жизнь просыпалась, мысль кипела.

А расчет на восстание был грустным ослеплением. Я эдак не теперь, не постфактум, я тогда еще говорил и Александру Дмитричу, и Анне Илларионне.

Что вышло? Семеновский плац. Отставка графа Лориса. Пир Победоносцева.

Можно сказать: эх, Владимир Рафаилыч, вы человек привычный, императора Николая пережили. Верно, господа. А вы и о том подумайте, что я до Николая Павлыча ничего не видал. Он воцарился, когда мне пять годков было. Ну и казалось тогда, что иначе и не живут, коли в России живешь. А при Александре II, как ни суди, разительная несхожесть. Вы и подумайте: каково на старости лет в николаевщину пятиться?

А нам первым доставалось — редакторам, издателям, пишущей публике. У нашего «Голоса» стал быстро хрипнуть голос. Это приват-доценты, которые

годы спустя, это они, в домашних своих халатах, охочи рядить: «Голос» вилял, «Голос» двуликим янусом явился. Ух, аники-воины!

Вот бы я на них поглядел, когда бы они в редакции попрыгивали, как на противне. Из Москвы — Катков: ату его, ату, гнусный «Голос». В Петербурге любая моська из управления по делам печати — двух фраз на бумаге не свяжет, а зубами лязгает. Это какое положение, скажите по совести? А это как протопоп еще двести лет назад выразился: приставили за нами целое войско стрельцов, с... и то провожают.

После первого марта циркулярные указания, как из рога изобилия: «неуместные суждения», «непозволительные осуждения». И предостережения. И распоряжения.

День за днем унизительнейшее чувство. Сам себе мерзок, а цензору по-собачьи в глаза заглядываешь и перед любым из управления печати за версту шапку ломаешь. Дальше — хуже: приостановки издания. А потом — аминь, прихлопнули, задушили «Голос». А вы говорите — привычный...

Хорошо. То есть и нехорошо, а продолжим.

Итак, куранты отзванивают. Куранты у нас башенные, крепостные, главные часы государства. Они и отмеряют всероссийское время.

Минул год, как от Александра Дмитрича не доносилось ни звука. На дворе опять февраль, но уже февраль восемьдесят второго. И там, под курантами в крепости, в тишине и тайне, завершается действо — дознанием называется.

Вот тогда-то и появляется свет в оконце — Кедрин. Евгений Иваныч Кедрин, присяжный поверенный. Представитель петербургской присяжной адвокатуры.

Только теперь, когда обвинительный акт изготовлен, защитник может познакомиться и с самим подзащитным, и с его делом. Я неспроста подчеркиваю: только теперь! По уставу-то... это когда все мы, ликуя, встретили судебную реформу... по уставу адвокат допускался к предварительному следствию. Но гладко было на бумаге, а потом другая вышла, шершавая. Называются такие — разъяснениями. И разъяснили: от предварительного следствия адвокатов устранить.

Да, Кедрин, Евгений Иваныч Кедрин — отныне свет в оконце. И для Анны Ардашевой, и для Анны Корба. И для меня тоже. Потому что и я, замирая, ждал известий...

Убежден: настанет пора — русским адвокатам, участникам политических процессов, воздадут должное. Непременно! Не может быть, чтобы не воздали.

Тяжело им было, тяжко. Я сейчас не о борьбе за подзащитного. Вы молоды, вряд ли знаете, как у нас, на Руси, новорожденное адвокатское сословие приняли. «Прокаты», «наемная страсть», «брехунцы» — вот чем привечали. И литература тоже не жаловала: и Некрасов, и Щедрин со своей гениальной бранчливостью, и Федор Михайлыч в «Дневнике писателя». А сколько эпиграмм!

Но дело меняется, едва русский адвокат входит в судебную залу, где русский государственный преступник.

И тогда взвиваются прокуроры, министры юстиции, чины неудобоназываемого ведомства: «Карраул, спасайте отечество от присяжных поверенных! Помилуйте, цицероны вызывают брожение умов! Послушайте, да зачем они, к чему? Судьи — беспристрастны, облечены вышним доверием. А тут эти цивильные джентльмены с их независимостью,

неуместной иронией и подозрительными намеками». А один прокурорище, семи пядей во лбу, тот и вовсе — пригласил господ защитников, да и присоветовал избегать... Нипочем не угадаете! Избегать «слишком большой убедительности»!

Я водил знакомства с адвокатами. Ольхина уже называл, того самого рыжего «викинга», которому обязан хранением архивных портфелей... Знавал и других. И не потому лишь, что случалось бывать присяжным заседателем по второму отделению окружного суда. А потому, главное, что светлые люди.

Без выспренности: славная когорта. И Стасов, воплощенная совесть адвокатуры. И безоглядно смелый Александров; да-да, защитник Засулич. И Жуковский, наш петербургский мефистофель, гроза судейского племени. И Герке, Август Антонович, большой друг Чайковского и Рубинштейна... Или вот Виктор Палыч Гаевский, солидный знаток Пушкина, один из основателей Литературного фонда... А Спасович? «Талант из ряда вон, сила» — это Достоевский его аттестовал. А внешне, манерами — спаси бог, чистый каторжник.

И вот — Кедрин. У Евгения Иваныча не было столь яркой и мощной образности, как у Спасовича. И убийственного яда не было, как у Жуковского. Он не обладал ни поэтическим блеском Карабчевского, ни обаянием барственного Урусова. Педантичный, суховатый, никакой аффектации. Не сразу, не вдруг поймешь, что душа широко отзывчивая. Но вот что сразу чувствовалось — твердость необычайная, этот не дрогнет.

Примечательная особенность! Видите ли, в отношениях политических преступников к адвокатуре была некоторая... ну, натянутость, что ли. Некоторая

щекотливость была. У наших крамольников имелись на сей счет две точки зрения. Одна, так сказать, совершенно нигилистская: адвокатская элоквенция прикрывает наглое беззаконие, только и всего. И другая, помягче. С защитником можно ладить, ежели он обязуется не унижать твои убеждения. А то вон Спасович. Хоть и благие намерения, хоть и ради защиты, а преуменьшает в глазах судей силу и влияние партии. Э, нет, к черту! Ты, брат адвокат, дай юридический анализ, лови прокурора на противоречиях и натяжках, да только не замай ни моих убеждений, ни моей личности: я не уголовный, который все слопает.

Положение не из легких. Холодную враждебность властей, особенно чинов известного ведомства, защитник ощущал всечасно. И не только в судебной зале. Вы все тут россияне, и нет надобности толковать, что это и есть жизнь под дамокловым мечом. Стасова ссылали, князя Урусова ссылали, Ольхина ссылали...

Стало быть, с одной стороны, холодная враждебность, а с другой — горячая настороженность.

В таком положении был и Евгений Иваныч, когда взялся защищать Михайлова. Вернее сказать, когда Александр Дмитрич согласился принять защитника. И не кого-нибудь, а именно Кедрина, потому что особый расчет был, поймете из дальнейшего.

Накануне процесса перевели подсудимых из крепости на Шпалерную. Есть такое, я бы сказал, пространственное ощущение. И оно сильно пригнуло мою Аннушку. Крепость — это как отрезали. А Дом-то предварительного заключения, он в ряду прочих домов — пойди и коснись ладонью...

Процесс близился, а мы, то есть журнальные и газетные сотрудники, и не шевелились. Давно

судоговорение над политическими было запретной темой.

С иностранными корреспондентами у власти морока. Никак, шельмы, не соглашаются с истиной: зря «Правительственный вестник». Нет, обивают пороги. А потом извольте радоваться: всякие «неуместные подробности», распишут тенденциозные выходки обвиняемого.

А с нашим братом россиянином не мудрят: «Куды суешься?! Цыц!» Ну, еще в мое время, когда «Голос»... Не сочтите за похвальбу, да, в мое-то время кое-какой резон был. А теперь-то чего не «пущать»? Я бы нынешним «бутербродным писателям» — двери настежь.

Раньше преобладал журналист, а теперь — репортер. Раньше большинству честь была дороже поживы. И своя честь, и газеты честь. А теперешние: «А сколько за строчку?» Тип журнального сотрудника изменился. Понимаете, тип. Началась гегемония циников. А когда ей предел — один ты, господи, веси.

Вот и говорю: «бутербродные писатели» — ужинами их кормят, бутербродиками, коньячок подносят. Не-ет, этих-то отчего не «пущать»? Вполне возможно, даже хорошо-с: все-таки общественное мнение.

Стало быть, надежда на меня у Аннушки нулевая. Мы оба отлично знали: в судебную залу билетом Зотов не разживется. Правда, сестра Александра Дмитрича, Клеопатра, билет получила, ей дозволили, как и еще двум или трем родственникам других подсудимых. Но что это означало? Присутствуй, а с братом и словечком не перемолвишься... Оставался Кедрин. Опять вопрос: как ей, Анне-то Илларионне, к этому Кедрину подступиться?

Ну и выходит: снова необходим Владимир Рафаилыч.

...Я с Кедриным был знаком; правда, шапочно, но знаком. И общие знакомые у нас имелись. Вот хоть Спасович. (Он, кстати сказать, много помог мне, когда я занимался славянской словесностью для своей «Истории литературы».) Н-да, попытка — не пытка. Но, по сущей совести, страх был. Не Кедрина я боялся, этого не было. А так, общая атмосфера страха. Узнают, что интересуюсь, там, сям брякнут. Страшно... А тут и слушок — дескать, у кого-то из «Голоса» была какая-то связь с подпольными типографами. Вот этот-то слушок в особенности смущал.

А дни-то считанные — до девятого февраля, когда начнется. И уже известно: обвинителем — Муравьев, председательствующим — сенатор Дейер. Первый прокурорствовал на процессе желябовцев. Второй был не просто красный мундир, а словно б кровью напитанный, на злобную мартышку смахивал этот сенатор. Александр Дмитрич сказал Кедрину: «Не суд, а вертеп палачей».

Утром девятого февраля Анна Илларионна пришла ко мне. Вижу, глаз не сомкнула. Понимаю: она, голубушка, безмолвно молит, чтоб я нынче повидал Кедрина. Совсем мне скверно стало.

И что думаете? В тот же день я и отправился. Прямиком по Литейному... Вы не замечали, какое оно нелепое, это здание судебных установлений?

Я там ходы-выходы знал. Как-никак, а присяжный заседатель. И сторожа меня знали. Иду. Э, и в мыслях не держал судебную залу. В тронную, верно, легче было бы. Нет, мне бы только в те комнаты, где совет присяжных поверенных, где текла адвокатская, сословная жизнь. Мне бы туда, и довольно.

Короче, свиделся. Тут была колючая минута... Евгений Иваныч, сухой, высокий, он мне в ту ми-

нуту учителем черчения показался... Да, минута, когда он не то чтобы враждебно, а как-то «морозно» на меня глянул.

Спасибо, Владимир Данилыч выручил. Как всегда, Спасович острижен коротко, по-солдатски, и манжеты несвежие. «О, — говорит, — свободная пресса явилась. — И махнул в сторону апартаментов судебной палаты. — Не извольте беспокоиться: там имеет-с быть сам редактор «Правительственного вестника». Гласность обеспечена, ха-ха. — И уже серьезно, уже рекомендуя, отнесся к Кедрину: — Прошу любить и жаловать: Владимир Рафаилыч — порядочный человек. — И углами губ усмехнулся: — А всякий порядочный человек более или менее социалист».

Кедрин молча, жестом пригласил меня в сторонку. Служитель разносил чай. Адвокаты переговаривались и показывали друг другу какие-то бумаги.

«Чем могу быть полезен?» — спрашивает Кедрин. «Простите, — говорю, — простите великодушно, Евгений Иваныч, я приватно, не из редакции. Видите ли, понимаю вашу занятость и усталость, но есть у меня родственница, достойная барышня...» Это я ему родственницей Аннушку свою выдал. Ну и так далее. То есть про то, что вот уже год, как от Александра Дмитрича...

Мне показалось, что по лицу его, серому, невзрачному, с двумя резкими морщинами, скользнуло что-то похожее на доброжелательность, но отвечал он по-прежнему сухо: «Знакомство с подзащитным, к сожалению, краткое. Мое впечатление: Александр Дмитрич и телесно и нравственно вполне здоров. Полагаю, он не будет мешать мне, а я ему. Разумеется, он сейчас сильно возбужден: накопилось

 много горючего материала, произошла встреча с

коллегами. У него уже было столкновение с первоприсутствующим. Отношу на счет возбуждения. И на счет сенатора, который... Впрочем, это не к делу».

Да, сказал я, конечно, возбуждение: не месяц, а больше года в крепости. Я, знаете, молодым сравнительно человеком один день там провел, а год опомниться не мог.

Евгений Иваныч словно бы и не расслышал о моем «крепостном состоянии». Я, признаться, хотел его расположить, даже как бы и подольститься. Но, хотя он вроде и не заинтересовался, но произнес мне желанное: «Если угодно, прошу...» — и протянул визитную карточку с адресом.

Процесс взял несколько дней, до пятнадцатого февраля. Два десятка подсудимых, а суд-то вон как скоро управился. И каких подсудимых! Баранников, старый, еще путивльский друг Александра Дмитрича: в Харькове был, когда каторжан замыслили освободить, участник покушения на Мезенцева... Клеточников, опять-таки друг Михайлова; Клеточников, что служил в Третьем отделении, а потом в департаменте полиции. И Морозов, имя которого тогда, до недавней встречи с Ольхиным, мне ничего не говорило; Морозов, который юношей, с пушком на ланитах, был здесь, на Бассейной... И Николай Евгеньич, о котором рассказывал, Николай Евгеньич Суханов...

Да, двадцать подсудимых, а суд в считаные дни... А мне они как в один вечер слились: я навещал Евгения Иваныча. И я видел, понимал и чувствовал, что ему, «сухарю», «учителю черчения», горькая отрада говорить о своем подсудимом. Он гордился Александром Дмитричем, гордился и восхищался.

«Да, знаете ли вы, — говорил Кедрин, жадно и коротко затягиваясь пахитоской, — будь на Руси побольше таких, и судьба родины была бы иной. Умнейший ум, характерный характер. Никакой позы, серьезное достоинство. Уж на что Дейер грубиян, и тот не смеет. Ну и Муравьев, прокурорское святейшество, тоже говорит: «Поразительно все-таки: последние минуты, расчет происходит, расчет за все, а он, вы смотрите-ка, он о себе ни на миг, его заботят лишь интересы сообщества...» Поверьте, Владимир Рафаилыч, у меня ни тени обольщения: дескать м о й клиент. Все согласны, что Михайлов — ведущая фигура процесса. И это так, так! Он в центре внимания и своих, и судей, и защитников».

Приговор, конечно, был предрешен. Но формально еще не вынесен. И вот накануне мне показалось, что мой визит в тягость Кедрину.

Евгений Иваныч медленно убрал со стола бумаги. Стол был гол, пуст. И в этой оголенности, в этой пустоте было что-то... от приговора. Кедрин поводил ладонями по ворсистому сукну. Он будто не верил этой пустоте. Лицо его было совершенно серое, даже с желтизной. Он подержал папиросную коробку и поставил на место сонным движением.

И вдруг заговорил высоким, почти пронзительным голосом: «Есть минуты, когда не можешь оторвать взгляда от шеи подзащитного. Встаешь, садишься, бросаешь шаблонные фразы: «Господа судьи, позвольте...» А мысль одна. неужели э т у шею обовьет петля-удавка? Вот именно э т у, э т у... Скользит змеиное, шипящее чувство... чувство собственной причастности. Личной причастности к палачеству. Ты защитник, ты единственный, ты дорог, близок подзащитному. И он тебе делается бесконечно
 близок и дорог. Но ты беспомощен. И эта беспомощ-

ность есть причастность к палачеству... Я уже пережил такое, защищая Софью Львовну Перовскую. И остался жить. И вот опять причастность, а я опять останусь жить...»

4

Утверждают: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Неправда! Есть много тайн, не ставших явными; ни единой нотой не вошли они в аккорд жизни. Ложь, зло, подлость, они словно бы вторично торжествуют — минет время, лезут, как шило из рогожи: дескать, вот мы какие, любуйтесь. А тайны, достойные людской памяти, зачастую истаивают призрачным дымом. Чудовищная несправедливость! Как смерть детей...

Спаситель таких тайн святое дело делает. Присяжный поверенный, похожий на чертежника или бухгалтера, сильно рисковал. Непременно — и это в лучшем случае — угнали бы в тмутаракань; он знал, понимал, но сделал.

Еще вершилось судоговорение. Одергивал адвокатов сенатор Дейер, обрывал подсудимых. Выслушивали мундирные судьи: «Да, я принадлежал к партии. Да, я принадлежал к организации... Вы и мы — враждующие стороны. Посредников нет. Где гласность? Двери закрыты, мы — связаны, вы — с мечом».

Еще были дни до приговора. И Михайлов торопился. Клочки тонкой бумаги. Мелкий почерк, буква к букве, словам тесно. И они задохнулись бы в тесноте, когда бы после каждого свидания Евгений Иваныч не уносил письма Михайлова.

Уносил и передавал. Нет, не мне, я даже и не знал. Молодцом был Евгений Иваныч, недаром Михайлов его выбрал. Не я один, оказывается,

наведывался к Кедрину, на Слоновую улицу, не я один...

О чем писал Александр Дмитрич? О чем и кому?

О товарищах — товарищам... Об уже погибших: сохраните память, прославьте незабвенных и великих — Андрея Иваныча Желябова, Софью Львовну Перовскую... О тех, кто еще жив, кто рядом с ним, на скамье подсудимых: Суханов — натура искренняя и сильная; Колоткевич — настоящий апостол свободы; Баранников — рыцарь без страха и упрека; Клеточников — человек, достойный высокого уважения...

В Эртелев, во флигель, скользнула тень. А на окне горели свечи в старинном канделябре — знак безопасности. И Анна Павловна Корба входила, на бровях снежинки таяли... Тонкие лоскутки, исписанные в тюремной камере... Корба уходила, унося тонкие лоскутки, тень скользила наискось через двор, исчезала в воротах, как и не была... И оставались с Аннушкой вот эти копии: «Смерть много лучше прозябания и медленного разрушения. Поэтому я так спокойно и весело жду приближающегося момента небытия... Будьте счастливы в деле, будьте счастливы в своем тесном союзе...»

Знаете, я сейчас подумал. Можно удержать в памяти лицо человека, жест, походку, почерк. А голос? Помнишь, конечно, бас был или дискант. Ну, а так: подумать о ком-нибудь и чтобы тотчас возник голос? А вот раскроешь автора, знакомого очно, раскроешь, начнешь читать — и в ушах так и звучат его интонации.

Вы-то Александра Дмитрича не расслышите, многое для вас исчезнет. В его речи была особенность: волнуясь, он чуть запинался. И почему-то всякий раз, когда я слышал это легкое запинание, мне на

ум: мысль изреченная — правда. Покоряющая убедительность была.

Но пусть и не расслышите интонацию, зато главное, капитальное... Я вам сейчас то, что было написано после приговора, сразу же, как объявили смерть.

И не только ему. Десять виселиц означались в сумрачной зале Окружного суда... А за стенами, там, на Литейном и Шпалерной, шли, торопились, у каждого своя докука, вот такие, как вы да я...

Я прочту. Своими словами нельзя, грех.

«Завещаю вам, братья, не расходовать силы для нас, но беречь их от всякой бесплодной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к цели.

Завещаю вам, братья, издать постановления Исполнительного комитета от приговора Александру II до объявления о нашей смерти включительно (т. е. от 26 августа 1879 года до марта 1882 года). При них приложите краткую историю деятельности организации и краткие биографии погибших членов ее.

Завещаю вам, братья, не посылайте слишком молодых людей в борьбу на смерть. Давайте окрепнуть их характерам, давайте время развить им все духовные силы.

Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, причем рекомендую отказываться от всяких объяснений на дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок.

Завещаю вам, братья, еще на воле установить знакомства с родственниками один друго-

го, чтобы в случае ареста и заключения вы могли поддержать хотя какие-либо сношения с оторванным товарищем. Этот прием в прямых ваших интересах. Он сохранит во многих случаях достоинство партии на суде. При закрытых судах, думаю, нет нужды отказываться от защитников.

З а в е щ а ю в а м, б р а т ь я, контролируйте один другого во всякой практической деятельности; во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных для каждого отдельного человека, но гибельных для всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным, чтобы личное самолюбие замолкало перед требованиями разума. Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает, насколько он осторожен, наблюдателен, находчив. Изучайте друг друга. В этом сила, в этом совершенство отправлений организации.

З а в е щ а ю в а м, б р а т ь я, установите строжайшие сигнальные правила, которые спасали бы вас от повальных погромов.

З а в е щ а ю в а м, б р а т ь я, заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь. Это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе.

Затем целую вас всех, дорогие братья, милые сестры, целую всех по одному и крепко, крепко прижимаю к груди, которая полна желанием, страстью, воодушевляющими и вас. Простите, не поминайте лихом. Если я делал кому-либо неприятное, то верьте, не из личных побуждений, а

единственно из своеобразного понимания нашей общей пользы и из свойственной характеру настойчивости.

Итак, прощайте, дорогие. Весь и до конца ваш

Александр Михайлов».

«Весь и до конца»... И сам он, в своем «Завещании» — весь и до конца. И какая нежность!.. Что ни прибавишь — кимвал звенящий. Вижу человека, нет и тридцати. Громадная петля качается над ним. А он: «Завещаю вам, братья...» И эта нежность к остающимся жить...

5

Вы слышали — он писал: «До нашей смерти включительно»? Это там, где завещает издать документы. «До объявления о нашей смерти включительно». И прибавил: март восемьдесят второго года.

Потому в марте, что в марте приговор обретал законную силу. Какая оглушительная точность — день в день! Всем нам, смертным, неизбежна смерть, истина банальнейшая. Но если — вообразите! — если б открылся каждому из нас именно свой час? Земля бы, наверное, разверзлась. И она сама и все на ней сущее, все, все стоит на спасительной тайне — тайне своего смертного часа. И никто его не ведает, никто и никогда, кроме приговоренного людьми. Кроме человека, приговоренного человеками...

В тетрадях Анны Илларионны страница есть — помните, как ей Михайлов говорил: надо готовиться к гибели, к смерти... Да-а, это уж точно бы монахи одного ордена. Встречаясь, они вопрошали друг друга: «Брат, готов ли ты?»

И вот приспел срок: виселица накренилась над Александром Дмитричем. Приговор объявили и тотчас всех со Шпалерной в казематы Петропавловской: ждите!

Такое ожидание изобразишь ли? Сыщешь ли слова? Может, одной лишь музыке дано. Не словам, не краскам — музыке... Я к тому, что именно музыкальные созвучия, именно они-то и возникли в душе осужденного. До последнего из последних пределов напряглась душа и отозвалась созвучьями, наполнилась ими... Я не фантазирую, не выдумываю. Не посмел бы. Нет, это он сам, сам Александр Дмитрич об этом написал.

А вечером, в канун казни, снизошел на него покой. И он... он уснул. Понимаете ли, уснул! Спал непроницаемо, без сновидений. Это что ж такое, а? А это, думаю, последняя защита матери-природы, последнее, чем она может одарить свое обреченное дитя.

Теперь вот письмо, слушайте... (Не спрашивайте, пожалуйста, откуда оно взялось,— сторонний человек замешан.) Слушайте.

«Часов в 8 утра, в пятницу, я встал в таком же настроении, как и лег. Обыкновенный дневной порядок одиночного заключения ничем не нарушался. Не изменялось и мое душевное состояние... Часов в $11^1/_2$ утра вошел в мою камеру комендант в сопровождении какого-то гражданского чиновника и смотрителя. Я в это время ходил и, увидев гостей, раскланялся с ними. Между комендантом и мной произошел следующий разговор: «Вам известен приговор?» — «Да, известен».— «Какой?» — «По отношению ко мне?.. Я приговорен к смерти».— «Ну, так государь высочайшим своим милосердием даровал вам жизнь... Молитесь богу!!» Последние слова

произнесены были с большим чувством. Затем комендант быстро ушел, и я остался сам с собою. Первыми мыслями были: рад я или не рад этому важному известию, и если не рад, то почему? Говоря чистую правду, я принял эту, благую для каждого человека, весть совершенно равнодушно. Это произошло потому, что мне не сообщили об участи близких товарищей, а я все время находился в таком настроении, что мог искренне порадоваться только сохранению их жизни. Меня лично смерть не пугала, а иногда даже просто манила, но представление о смерти их действовало тяжело, подавляюще... Своя смерть может приносить удовлетворение, но смерть друга, товарища, просто человека и даже врага вселяет только тяжелые чувства. И меня с первых минут начала мучить неизвестность: что сталось с товарищами?..»

Да, вот оно как обернулось: смерть мгновенную заменили медленной — вечным заточением. Всем смертникам заменили, кроме Суханова... Я уж говорил, Николай Евгеньич встал у столба. И никто не промахнулся, никто не дрогнул...

В день приговора, в феврале еще, Александр Дмитрич написал: виселица много лучше казематного прозябания. Сраженный гладиатор приветствовал смерть мгновенную. И Анна Илларионна, и я, мы оба прочли эти слова. Но в нашем сознании отозвались они не точным их смыслом, а... Ну, положим так: ежели безнадежно больной человек стонет: «Ах, скорее бы конец...» Разве вы ему не поверите? Разумеется, поверите. Но в глубине души будет сознание некоторой риторичности этого призыва. Так приблизительно мы и прочли фразу о предпочтительно-

сти эшафота перед медленным убийством в равелине.

А эшафот сменили вечным заточением. Аннушка плакала почти счастливыми слезами. То было воскрешение надежды. Вот так и в первое время его ареста уверовала в чудо возвращения.

Я говорил, как она лихорадочно замышляла несбыточное. Эти ее «воздухоплавательные» проекты: нападения, вызволения, побеги. И обращение за помощью к Николаю Евгеньичу Суханову. Она, кажется, даже и с молодежью в Кронштадте толковала.

Но теперь... О-о, никогда не думал, не предполагал, не догадывался: такое молчаливое, такое фанатичное упорство. И два года ни звука. Два года! Лишь весной восемьдесят четвертого, вон когда открылась. А, собственно, почему молчала? Объяснить не могла, не умела. Так, что-то суеверное, как сглазу боятся. Странно и даже, признаюсь, мне обидно.

А как началось? Она, голубушка, про Ганецкого от капитана Коха услышала... Забыли? Ну, экая память у вас. Приятель покойного Платона Ардашева. Да-да, начальник государева конвоя. Кох был с царем и в момент покушения, все время был — и не задело. А что после с этим Кохом сталось, знать не знаю. Служит ли где, отставной ли, не знаю, да это и десятое. Вы слушайте...

Тут главное вот что: комендант крепости Ганецкий. Она его на войне видела, гренадерами командовал. Он-то ее, конечно, и не примечал. Велика ли птица — сестра милосердия?

Анна Илларионна в своей тетради верно заметила: геройские генералы, вроде Гурко или Тотлебена, после войны славу свою кровью запятнали. Ну, а Ганецкий не дотянул до громадных постов, ему Петропавловская досталась.

Представьте, докторша моя облачается в платье сестры милосердия, надевает знак отличия Красного Креста, жалованный покойной государыней... Да, а письмо с нею. Письмо Александру Дмитричу, в незапечатанном конверте. Разумеется, совершенно частное.

Понимаете цель-то какая? О, ничего от прежнего «воздухоплавания»! Маленький, тоненький лучик туда, в равелин, во тьму. Маленький лучик, и только. Вообразите, однако, что это значило бы для осужденного навечно. Ведь едва приговор вступил в законную силу — ни единого свидания, ни единой весточки. Ни туда, ни оттуда. Глухо. Недвижно. Мир божий вымер.

Нет. Ни вам, ни мне каждой кровинкой этого не прочувствовать... Как бы ни изображали смерть, не веришь. Я даже графу Лёв Николаичу Толстому и то не верю. А вечное заточение не смерть ли?

Уж на дворе весну натягивало; робко, но подступала. И думалось моей Аннушке: первая его весна в равелине, как тяжко. Воробушек чирикнет, запах капели, скоро и Вербное... Старый человек, генералу за семьдесят, он поймет, он все поймет.

На крепостном дворе попался ей старичок военный: шинель потертая, фуражечка выцветшая. Идет, пришаркивает, палкой стучит. Так он ей мил сделался, до жалости мил, она ему улыбнулась и поклон головой отдала. Да и тотчас как осенило: Ганецкий! А тот и ей — честь, а тот и ей — улыбку...

Про Ивана Степаныча Ганецкого я во всю жизнь ни словечка теплого не словил. А он, пожалуйста, выслушал Анну Илларионну. Уверяет, что генерал был тронут... Но письмо-то не взял! Обе руки вместе с палкой за спину спрятал. «Увольте, не могу-с!

Я лично двум государям известен, третьему на краю своей могилы присягнул. Не могу-с. Скорблю, весьма скорблю, но увольте».

Анна Илларионна еще что-то, не помнит что, а Ганецкий снял фуражку, перекрестился на собор, да и зашаркал, зашаркал к крыльцу комендантского дома.

Ох, как она заспешила вон, скорее туда, к Иоанновским воротам. Чуть не бежала, будто рушился на нее собор со своим трубачом-архангелом... Выбежала из ворот, силы оставили. Прислонилась к перилам мостика, задыхается, а мыслей, говорит, никаких, только в висках стук: «Скорблю... скорблю...»

Полнейшая неудача. Фиаско. Смирись, не так ли?

Нет! Она ищет! Вот женщина... Если хотите, в революции почти все женщины — перовские. Более или менее. Впрочем, лучше так: Софьи они были — мудростью, своей женской сердечной мудростью умудренные.

Ведь почему Анна-то Илларионна ищет? Нарушает первую заповедь его «Завещания»: не расходуйте силы для нас. Но ищет... Хорошо, есть и оправдание — его последняя заповедь: заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого из вас. Но, уверяю, ей нужды нет в оправданиях. Потому что она...

Вот слушайте: «Пусть останется у меня тончайшая нить, связанная с жизнью, и я готов на самые ужасные ежедневные муки». И поясняет: жизнь — это когда всем своим существом борешься за идею. Так Александр Дмитрич в письме, которое в день приговора писал.

А для Анны Илларионны одно звучит: тончайшая

 нить нужна... Пояснение-то она, может, и слышит,

наверняка слышит. Но как? А так, как я вам пример приводил: стон безнадежно больного человека: «Ах, скорее бы конец...» В равелине, в каземате, заживо погребенному нужна, необходима нить, связующая с жизнью, вообще с жизнью,— вот это она знает, это она постоянно слышит и больше ничего не знает и не слышит.

Здесь стержень: ищет! Не может и не хочет согласиться, чтоб хоть одна-разъединственная душа не блеснула середь петропавловских служителей. Крепость — юдоль слез. Как же именно там не блеснуть хотя бы одной-разъединственной душе.

«Наивность»? Гм... Согласен. А только скажу вам, что такими наивностями мир цветет. Что он без них? Пуст и сир. Как искусство без неточностей.

А теперь, сокращая, спрошу: нашла ли она?

Не буду томить. Если б нашла, тогда бы, пожалуй, Густав Эмар, какое-нибудь из этаких сочинений. А если б не нашла, то, стало быть, ваша взяла — наивность. Ну, а жизнь распорядилась по-своему.

Сдается, неподходящее имя у него было — Вакх. Батюшка — и вдруг: Вакх... Так вот, видите ли, отец Вакх священничал в крепости, в Петропавловском соборе. А прежде — в армии, на театре военных действий. Нет, на войне она его не встречала. А похожих встречала. Он из тех, говорила Анна Илларионна, которые на позициях один сухарь с солдатом ели, а в госпиталях, помогая сестрам, не гнушались черной работы.

Помню, Александр Дмитрич тронул такой сюжет — нравственность революционера. Сюжет у него капитальный. Потому-то, доказывал, и требуется безупречная нравственность, что об идее по ее проповеднику судят. Верно замечено, очень верно.

Не посетуйте на сближение, но разве о религии подчас не судят по тому, каков поп в приходе? А нравственность попов известна. Одно утешение: не только в России... Отцу Вакху не дано было спасти репутацию поповства. Слишком оно, прости господи, вакхическое. Но сам-то отец Вакх был добрым, умным, симпатичным. И «добрый», и «умный», и «симпатичный» — определения Анны Илларионны.

Не вообразите, однако, что сделал он то, чего не сделал генерал Ганецкий. Между нами, не думаю, чтобы отец Вакх решился, предложи ему такое Анна Илларионна.

Единственным вот что было...

С Петербургской стороны много прихожан, а моя Аннушка хоть и не той стороны, стала ходить к службе в крепостной собор. И, как музыку сфер, слышала иногда в исповедальне шепот отца Вакха: «Жив он, жив...» Безумно редко этот благовест, потому что и священника допускали в равелин не чаще солнечного луча.

А в марте... Александр Дмитрич загодя указывал — в марте умру... И совпало, и точно в марте, но уже в восемьдесят четвертом в канун Благовещенья. Отец Вакх говорил: ровно в полдень умер, это уж, значит, куранты играли не «Коль славен», а пополуденному и полуночному — «Боже царя».

Воспаление обоих легких и никакой медицинской помощи.

Алексеевский равелин убил Александра Дмитрича.

Узников равелина тайком хоронят. Могила неизвестна, вроде и нет вовсе. Но, думаю, зарыли ночью, крадучись, знаете где? Преображенское, слыхали? Да-да, на дальней окраине, у станции железной дороги. Кладбище новое, недавнее, кресты

редки. В простонародье зовут — «Безродное»; так и говорят: «К безродным свезли».

Я листок сберегаю, рукою Анны Илларионны: «Земного его жития было двадцать девять лет, два месяца и один день».

А моя рука не поднимается приписать на том листке: «Ее земного жития было...» Нет, не поднимается, все мне мерещится: вернется, приедет, совсем недалеко этот Гдовский уезд.

Я нынче с того и начал: поступила она так, как и суждено было поступить Анне Илларионне Ардашевой.

Вы знаете, есть явление, которое медики определяют «характерным для России»,— холерная эпидемия. Я мальчишкой был, но помню, хорошо помню страшный тридцать первый год. Теперь не то, конечно, но тоже радость невелика.

И еще недавно, в девяносто втором, явилась. Здесь, в Петербурге, единицы мерли, а в губернии — сотни. И Аннушка отправилась в глушь. Вот так она и на театр военных действий ринулась. В глушь, в гдовские деревни. Там и сразило. А было ей от роду тридцать семь...

Странное у меня сейчас ощущение: будто все ушли, вещи вынесли, пусто, а я остался. Рассказ мой окончен. Многое упустил, многое лишь бегло означил, да я вам заранее и честно — власть воспоминаний.

Но литератор, какое бы малое место он ни занимал, должен умереть с пером в руке. И я думаю записать все. Однако успею ли, вот вопрос.

Это почти телесное желание — успеть, ах, если бы успеть! Ведь лучшее — то, что ты еще только заду-

мая. И представьте, здесь сходство меж нами, колодниками чернильницы, и такими, как Александр Дмитрич, мучениками долга.

Но есть и несходство. Пишущий, если не зелен, сознает — достигнешь, совершишь и, увы, не скажешь, как господь бог: «Это хорошо». А вот они, такие, как Михайлов, убеждены: за поворотом дороги — вселенская гармония. И они счастливее нас.

Рассказ кончен, а книга не начата. Слабею и гасну, однако возьмусь. И все, что вы вечерами слышали, положу на бумагу — для типографского станка. Авось дозволят.

Давыдов Юрий Владимирович

Д13 ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ... Повесть об Александре Михайлове. 2-е изд. М., Политиздат, 1977.

382 с. с ил. (Плам. революционеры).

Р2+9(С)16

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *А. Г. Мартынова*
Художник *В. В. Федоров*
Художественный редактор *В. А. Тогобицкий*
Технический редактор *Л. К. Уланова*

Подписано в печать с матриц 5 января 1977 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 17,41. Учетно-изд. л. 15,77. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А01507. Заказ 84. Цена 1 р. 29 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

$Д\frac{10604-149}{079(02)-77}294-77$

В 1977 году в серии „Пламенные революционеры“ будут изданы следующие книги:

Шатирян М.
«Генерал, рожденный революцией».
Повесть об Александре Мясникяне.

Гуро И., Андреев А.
«Горизонты».
Повесть о Станиславе Косиоре.

Фельдеш П.
«Полководец улицы».
Повесть о Енё Ландлере.

Таурин Ф.
«Без страха и упрека».
Повесть о Николае Серно-Соловьевиче.

Кокин Л.
«Зову живых».
Повесть о Михаиле Петрашевском.

Ефимов И.
«Свергнуть всякое иго».
Повесть о Джоне Лилберне.



